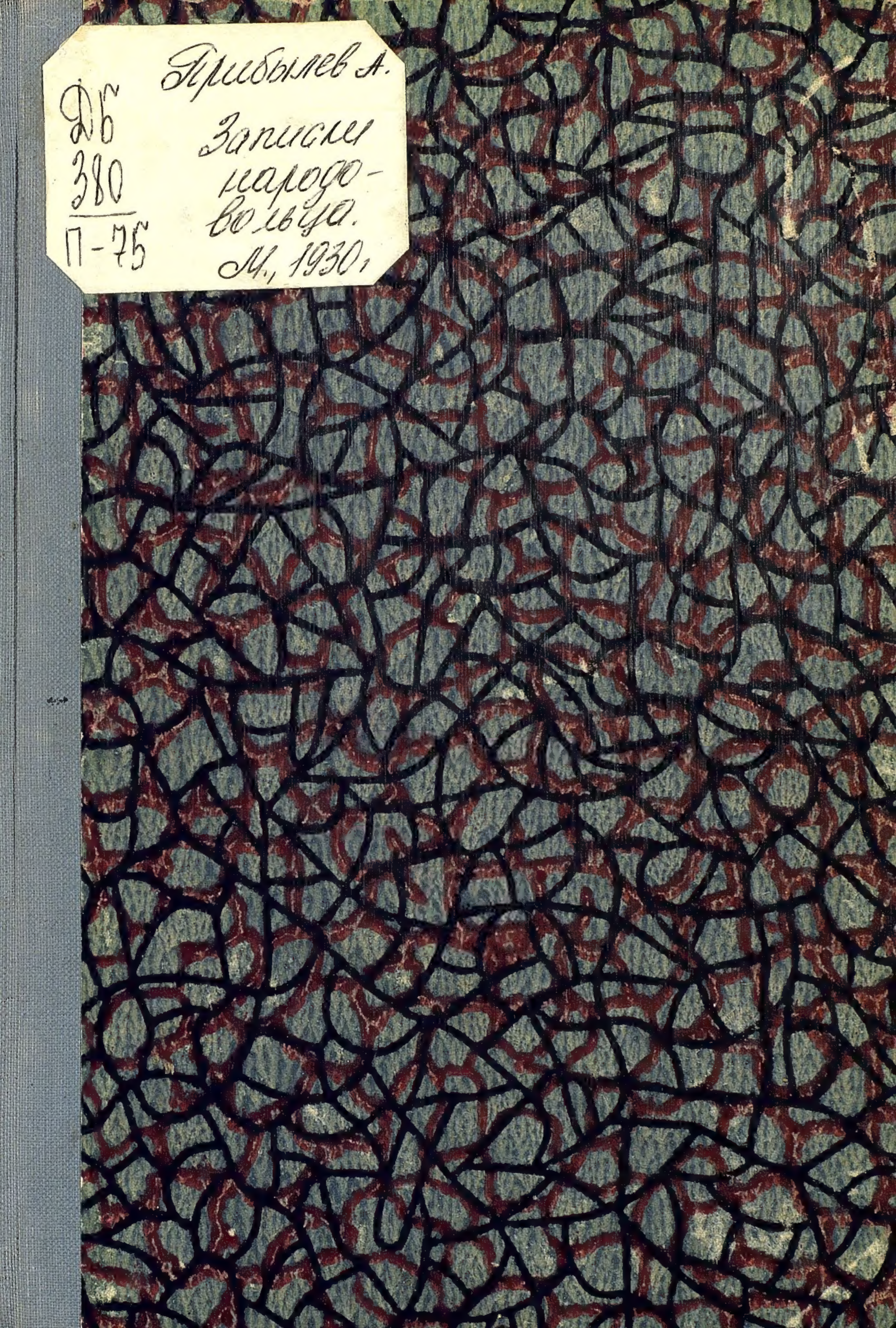
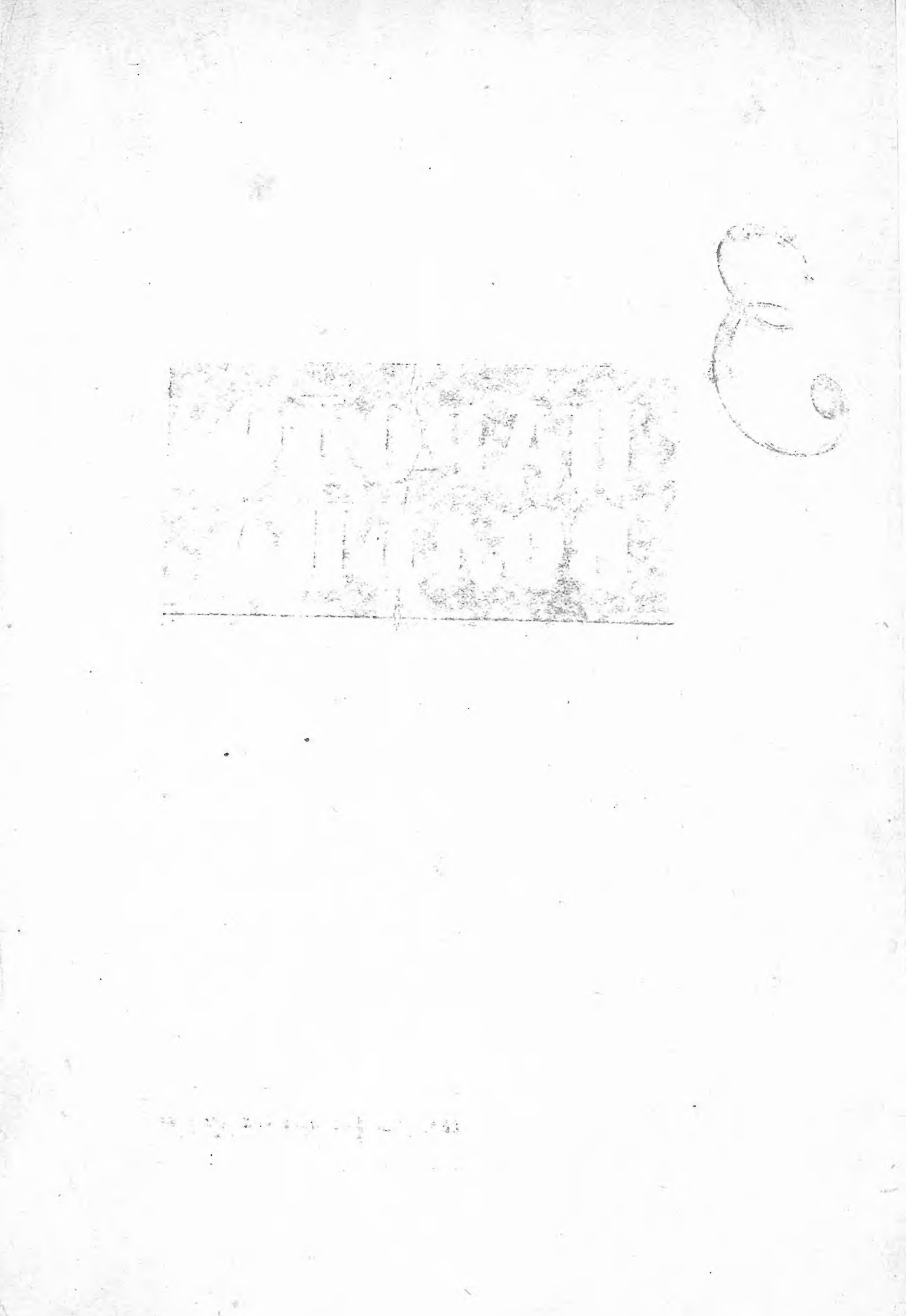

ДБ
380
П-75
Прибылев А.
Записки
народо-
вольца.
М., 1930.

А. В. ПРИБЫЛЕВ

Записки народовольца

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
19 · МОСКВА · 30




ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРОШЛОГО РОССИИ

1930

№ 6—7 (LV—LVI)

МОСКВА

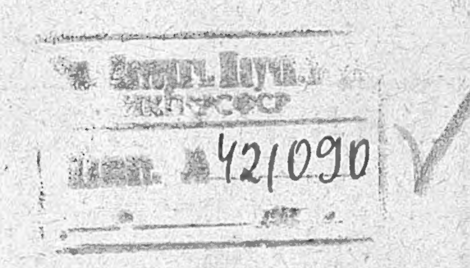
А. В. ПРИБЫЛЕВ

ЗАПИСКИ НАРОДОВОЛЬЦА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

7-я
типография Мосполиграфа
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ",
Москва, Филипповский, 13.

Главлит № А—77.936.
З. Т. 1.830 Тираж 5.100.



Ст Ат А5—148×210 мм 19 п. л.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мои записки-воспоминания охватывают народовольческий период моей жизни и последующие за ним каторгу и ссылку. Я начинаю их характеристикой революционной молодежи конца 70-х и начала 80-х годов, когда мне самому пришлось стать в ряды партии, и кончаю моим пребыванием в Сибири в качестве поселенца. Говорить о предшествующей народовольчеству эпохе я не имею возможности, так как я, хотя достаточно знакомый с этой эпохой, ею подготовленный к деятельности, участия в ней не принимал, а вошел в готовую организацию партии „Народная Воля“ и примкнул к ее работе в 1880 году. Что же касается последующей фазы моей жизни со второй ссылкой в 1909 году и эмиграцией, то говорить здесь на эту тему я считаю совершенно излишним.

Мои записки не представляют собою систематического описания моей жизни. Это—отдельные очерки, составлявшиеся в разное время и теперь собранные в одно целое, связанные друг с другом в общем хронологическом порядке. При этом некоторые части, значительно разъединенные друг от друга, пришлось связать вновь составленными кусочками, чтоб выдержать общую связь всего целого. Напр., чтобы установить последовательность между главой II („Динамитная мастерская“) и главой IV („Процесс 17-ти“), было необходимо вставить целый кусок — главу III („Жандармское управление и крепость“); переход от главы V („От Петербурга до Кары“) к главе VI („Карийская тюрьма“) потребовал также небольшого дополнения в виде введения к VI главе. Мне кажется, что эти добавления должны способствовать созданию более полного общего впечатления. Наконец, последняя, довольно обширная глава (VIII) до сих пор также не была в печати и представляет собой попытку обрисовать жизнь современной мне внетюремной ссылки. Я считал необходимым весь цикл пережитого мною заключить именно этой главой моих воспо-

минаний. Все другие главы в свое время были уже в печати и теперь появляются в значительно исправленном и дополненном виде.

Мне выпало на долю жить в период жаркого революционного движения и приходилось быть в близком общении кое с кем из лучших людей этой бурной эпохи; и потом, на каторге и поселении, перед моими глазами прошло немало замечательных лиц, отмеченных даром терпеливо переносить все страдания за свои святые и глубокие убеждения. Поэтому теперь, в дни 50-летнего юбилея партии „Народная Воля", я считаю себя вправе выступить с описанием 25 лет моей деловой народовольческой и подневольной жизни, твердо уверенный в правдивости и искренности всего излагаемого.

Как человек, сохранивший в себе заветы великого прошлого и оставшийся верным своим идеалам (говорю это без ложной скромности), я следовал в своих работах тому правилу, какое диктовало мне мое собственное чувство. Действительно, каждый раз, когда я брался за перо, я чувствовал, что кто-то вспоминает и пишет о том, что́ происходило вокруг него, что́ и кого он видел, и что этот кто-то—я сам. Это обязывало меня, и я ясно сознавал, что прежде всего я не должен погрешить против искренности и правдивости.

Теперь, на восьмом десятке моих лет, когда многое из прошлого покрылось дымкой забвения или сохранилось в памяти лишь неполно, в отрывках, мне трудно разобраться во всех фазисах и событиях далекого прошлого, но среди этих былых фазисов и событий есть еще и много таких, которые я вижу сейчас, точно они произошли не дальше вчерашнего дня. Именно об этих последних я и пишу в своих записках, пишу о том, что я помню твердо и отчетливо. Кроме того, так как все окружавшее меня тесно связано со мной самим, то и записки мои должны носить автобиографический характер; но в то же время они являются заметками, характеризующими—худо ли, хорошо ли—современную мне революционную эпоху и последовавшую за ней ссылку.

Ноябрь 1928 г.

ГЛАВА I

МОЛОДЕЖЬ НА РУБЕЖЕ СЕМИДЕСЯТЫХ И ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Повесть о моем происхождении и воспитании в самых кратких словах была бы такова. Я родился в 1857 г. в маленьком городке Зауралья, который не насчитывал в то время больше 2.000 жителей и почти треть которого были цыгане. Отец мой занимал в нем высокий пост единственного в городе протоиерея; отсюда и мое прозвище в детстве у городских ребятишек: „Саша протопопский". Мой дед — отец моего отца—старый заштатный священник, довольно-таки малограмотный. Вот и вся известная мне генеалогия моей семьи.

По совести говоря, я не мог бы поручиться, что в числе моих предков не было кого-либо от персонажей Решетникова (Пилы и Сысойки).

Ограничиваюсь сказанным о моем происхождении, перехожу к своей главной теме и постараюсь быть очень кратким.

Умолчу о детских и отроческих впечатлениях, о том, что сделало меня таковым, каков я есть. Все это было так обыкновенно, лишено чего-либо выдающегося, замечательного, что не требует пояснения. Скажу только, что, вопреки родным и отчасти начальническим настояниям, отец нашел нужным исключить меня из духовного звания и отдал учиться, не в духовное училище, а в гимназию соседнего города.

В гимназии жизнь протекала мирно до IV класса, когда поднялась целая история из-за увольнения любимого учителя, оклеветанного законоучителем в том, что он развращает свой класс. Его класс поднял знамя восстания, потребовал возвращения учителя, а когда это не удалось, сам поголовно решил выйти из гимназии и демонстративно, in corpore, сняв гимназическую форму, явился в класс в партикулярном платье с прошениями в руках.

Бунт, возмущение! К тому же проявилось в гимназии и обществе недовольство первыми шагами введения классической системы; появились на столбах и заборах „возмутительные“ прокламации, возбуждающие умы гимназистов стихотворения [1], ядовитые басни и карикатуры на начальство и особенно на священника; наехал попечитель со своим штабом, откуда-то появились жандармы, с которыми впервые пришлось познакомиться и мне.

В результате—разгром гимназии, ссылка любимого учителя [2] и кое-кого еще... и я очутился в новой, губернской гимназии...

Но этот эпизод не прошел для меня бесследно. Первое знакомство с полицейской силой породило сознание моей полной бесправности, не могло не вложить в мою душу протеста против такого произвола. С этого времени пришли мысли о непорядках современной жизни и многие другие, именуемые обычно „проклятыми вопросами“.

Приходили мысли и о средствах исправления жизненных недочетов, пока глухо, неформулированно, но настойчиво. Это вызывало особое настроение, протестующее, близкое к революционному, и с этим настроением я попал в новую гимназию.

Здесь я скоро сошелся с семинаристами, стал почитывать „Хитрую механику“, „Сказку о четырех братьях“ и др. нелегальные брошюры, а самое главное, нашел единомышленных друзей и с ними вместе стал воспринимать сильнейшие впечатления от знакомства с начавшимся революционным движением по подробным отчетам о политических процессах, начиная с процесса Нечаева. Вот люди!—восхищались мы:—они чувствуют себя правыми и сильными, и ничто не может сбить их с раз намеченной ими себе дороги! Не страшась послед-

---

[1] Вот некоторые образчики из них:

Священник должен быть примером
Любви, смиренья, простоты;
Не может быть он лицемером,
Не должен быть таким, как ты.

Или после разгрома гимназии:

Окончен суд неправый, строгий,
Суровый приговор прочтен:
Протест наш признан стачкой, бунтом,
Поступок честный осужден...

и т. д.

[2] Учитель математики В. И. Обреимов, сосланный тогда в Вятскую губ., где он вместе с Павленковым издал известную „Вятскую Незабудку“; вскоре он бежал на Кавказ и там долго участвовал в издании газеты „Обзор“, принадлежавшей литератору Николадзе. Впоследствии Обреимов легализировался в период „диктатуры сердца“ Лорис-Меликова.

ствий, они открыто и прямо исповедуют свою веру, критикуют, с грязью смешивают современный государственный порядок и яркими красками обрисовывают будущее государственное устройство, где все будут равны, не будет богатых и бедных и наступят полная свобода, равенство и братство! К этому идеалу потянулись все наши помыслы, и мы с энергией и энтузиазмом кинулись на чтение всего, что хоть сколько-нибудь могло обогатить нас знаниями в области социальных наук...

Мои новые товарищи были если не умнее, то во всяком случае много образованнее нас, гимназистов. Было ли это результатом их более отвлеченной науки — логика, философия и пр., от чего мы были так далеки, или их бурсацкая жизнь заставляла их больше работать над саморазвитием, — решить трудно. Знаю только, что на первых порах моего знакомства с ними, а именно с Александром Федоровым, с Адриановским — Homo и другими, я много проигрывал в собственных глазах, оказывался мало осведомленным сравнительно с ними в тех животрепещущих вопросах, какие неизбежно становились перед нами. Но это миновало, и я скоро почувствовал себя в их среде, как рыба в воде.

А споров бывало много, и особенно под конец нашего пребывания в наших учебных заведениях. Были и разногласия, что объяснялось различием характеров и темпераментов. Начиная с критики существующего порядка, в чем наши мнения почти не расходились, мы переходили к оценке революционной деятельности, к определению конечной цели освободительного движения и пр. Здесь начинал сказываться темперамент каждого и выявлялись индивидуальные склонности. Строгий и суровый на вид Homo, серьезно начитанный и не могущий скрыть своего добродушия, доходящего подчас до самозабвения, начинал критиковать идеи чистого народничества и тактику хождения в народ. Он был сторонником крайных мер, и если не было до сих пор изыскано иных, более сильных и верных путей к революции, он склонялся к науке и научными исследованиями пытался разрешить все назревшие вопросы. Наоборот, Золотавин, более другух подвинувшийся в развитии и самосознании, чистый лаврист, уже сейчас жаждал „итти в народ“ с целями просвещения и пропаганды и считал этот народ уже чуть не готовым социалистом.

Я же и Федоров—юноша несколько болезненный, но очень разумный, развитой и горячий энтузиаст,—мы, не довольствуясь опытами деревенщиков, искали новых путей и, не видя их

измышляли средства для победы и над самодержавием и, одновременно, над нашей всероссийской косностью и всетерпением.

— Революция может быть только народной,—говорил Золотавин,—в противном случае она никогда не будет социальной.

— Да ведь история не дает нам примеров, где бы она совершалась народом,—возражали мы с Федоровым;—участие народа, конечно, необходимо в революции, но все же нужны вожаки, нужен центр, герои, а еще больше нужна деморализация власти, нужно, чтобы она растерялась и выпустила из рук вожжи...

— Надо бросить иллюзии,—вмешивается Homo,—и оперировать фактами. Все бывшие процессы говорят ясно, что ни тактика Нечаева, ни тактика Долгушина и др. не приведут к желательным целям. Нужно или что-то новое, сильное и яркое, чтобы оно встряхнуло всю нашу косность и неповоротливость, или итти к той же цели медленным путем научного прогресса.

Но никто из нас не соглашался с последней идеей Homo; мы не могли, конечно, указать какой-либо новый путь для революции, мы только жаждали ее всеми силами души и готовились со временем стать в ее ряды. Мы были еще сырым материалом, но материалом, пригодным для дела, как глина, заготовленная скульптором, из которой со временем может вылиться какая-нибудь ценная форма... Мы учились, читали политическую экономию, изучали Французскую революцию, кое-что знали из социалистов-утопистов, знакомились и с русским освободительным движением, даже знали Маркса, если не по подлиннику, то в изложениях Иванюкова и др.,—много спорили на эти темы и все-таки были только подходящим, но еще не вполне оформившимся материалом. Нужно было еще год-два занятий, споров и вдумчивой работы над самими собою, чтобы признать свое миросозерцание сложившимся. Пока же мы воспитывали в себе определенное настроение, близкое к тому, какое охватывало тогда всю прогрессивную и отчасти уже протестующую молодежь.

В таком настроении быстро прошли гимназические годы. Закваска была получена, и с ней мы вошли в студенческую среду.

Период, пережитый русской революционной молодежью в конце семидесятых годов, следовало бы охарактеризовать какому-нибудь сильному, талантливому перу. И если я сейчас беру его темой настоящей заметки, то единственно потому,

что для меня является большим вопросом: есть ли еще кто-либо в живых из тех, кто пережил этот период так, как это пришлось пережить мне.

Но сперва несколько слов о предшествовавшем периоде.

История последних десятилетий русской жизни для лучшей части молодежи имела огромное воспитательное значение. Уроки пятидесятых и шестидесятых годов ей не были чужды, она знакомилась с ходом борьбы прогрессивных элементов с деспотическим строем и видела победу последнего над первыми. Ее отцы и старшие братья изнывали в этой борьбе, гибли под ярмом все больше и больше нарастающей реакции, и взятая ими на себя задача освобождения народа от ига деспотизма все больше и больше отступала на задний план. Когда наступили семидесятые годы, наиболее отзывчивая часть русской молодежи, постепенно настраиваясь альтруистически, критиковала современные порядки и воспитывала в себе дух протеста. Ее устремления складывались под влиянием, с одной стороны, примеров Западной Европы и проникающего оттуда духа социализма и, с другой — под влиянием русской передовой литературы, еще с шестидесятых годов высоко державшей свое знамя. И вот, сперва только протестующая против несовершенства нашего государственного строя, против тяжелой неправды его в отношении народа, эта молодежь постепенно становилась радикальнее, революционизировалась, пока не стала революционно-социалистической. Не без влияния, и очень значительного, на эту лучшую молодежь были и живые примеры гибнущих братьев. Ей были памятны погибшие учители жизни — Чернышевский, Михайлов и многие другие. Слыша о них, зачитываясь ими, они чувствовали, как буря негодования закипала в их сердцах и поднимала жажду самоотречения, самопожертвования. И постепенно эта молодежь взяла на свои плечи тяжелое бремя, упавшее с плеч ее отцов и старших братьев, и готова была отдать себя в жертву ради просвещения, а затем и освобождения народа.

> Такого в мире нет угла, где б молодежь,
> Все блага жизни презирая,
> Так честно, как у нас, так свято отдала
> Себя служенью правде строгой...
> Жизнь, чуть ли не детьми, нас прямо повела
> Тернистой подвигов дорогой...

Таково было настроение русской молодежи, когда наступили 1873—1874 годы с их небывалым в истории других стран и народов „безумством“, известным под именем „хождения в народ“. Об этом периоде русского освободительного

движения и о возникавших при этом кружках („чайковцы“, „кавказцы“ и „Земля и Воля“) писалось очень много, и повторять это здесь нет надобности. Но необходимо отметить ту преемственность, какая существовала между началом семидесятых годов и концом и началом восьмидесятых годов.

К концу семидесятых годов вся молодая Россия бродила. Период „хождения в народ“ бросил многие сотни молодых людей в казематы крепости на целые четыре года. Наступили вспышки сильных, пока единичных протестов. Соловьев стрелял в царя, Вера Засулич — в Трепова за его издевательства над осужденным Боголюбовым, там убили генерал-губернатора, здесь — шефа жандармов. Появились вооруженные сопротивления при полицейских арестах, а ответом на них — казни. Процесс за процессом следовали непрестанно, и 1879 год был особенно богат такими событиями.

Петербург, в который к тому времени перебрался и я кое с кем из моих друзей, представлял собою шумящий людской улей, жизнь в нем шла, как на вулкане, молодежь бродила, захваченная революционным энтузиазмом и жаждой приложить к делу свои руки. Эта молодежь была полна идеализма и не была лишена некоторой доли здорового романтизма, без чего жизнь была бы тускла, малокрасочна... Не вся, конечно, поголовно студенческая молодежь была охвачена такой идеей борьбы с устарелыми устоями жизни; были среди нее и кружки с иного рода интересами: иные увлекались театрами, других захватила полная обывательщина и пр., но как-то они тонули в массе ищущих новой жизни и неведомых путей к ней и какого-то неясного участия в жизни массы народной... А, быть может, и наоборот,— мы количественно тонули в среде этой обывательщины, не замечая того. Ведь мы были охвачены собственными устремлениями, и интересы других, не сходные с нашими, нам были чужды настолько, что мы не видели, не замечали их.

Молодые из нас создавали кружки самообразования, спорили, горячились, решали трудные политические вопросы, росли, мужали и подготовлялись к деятельности.

Одни усиленно занимались, много читали, чаще всего по определенным, готовым к тому времени программам, другие готовились „опроститься“, быть готовыми к вступлению в народную гущу, и для этого изучали разнообразные ремесла, чаще всего сапожное.

Те, кто были постарше, частью уже испытавшие на себе влияние предыдущих лет,— „хождения в народ“,— руководили

более молодыми, направляли их по своему усмотрению. Отсюда новые споры, беседы на животрепещущие темы, решения трудно разрешимых вопросов. А революционная литература — сперва „Земли и Воли“, потом „Народной Воли“ — подогревала и без того пылающий энтузиазм молодежи; литература легальная, часто с ее эзоповским языком, и лучшие популярные ее представители помогали тому же, и немало. Если бы посмотреть тогда на все это издали, казалось бы, кипит народ, проснулся от царившего гнета, расправляет свои скованные члены, и недалеко до полного краха царящему произволу...

При этом такая обстановка жизни не мешала течению научной деятельности в университетах и других высших школах. Но об этом я скажу несколько позднее.

Первыми шагами нашей общественной деятельности были, конечно, частые демонстрации, называвшиеся студенческими только потому, что идеи их всегда возникали в студенческой среде. Ведь эта среда была всегда наиболее отзывчивой на каждое ненормальное явление жизни, где бы оно ни проявилось, и особенно в стенах их собственных учебных заведений. Молодежь всегда живо отзывалась на эти идеи и, разумеется, всегда составляла большинство участников таких демонстраций. Уже в момент нашего приезда в Петербург, почти в этот самый день, толпы молодежи собрались перед окружным судом на углу Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Шел суд над Верой Засулич, своим выстрелом в генерала Трепова показавшей, как надо ставить вопросы, чтобы обратить внимание широкого общества на проявления грубого, безответственного произвола со стороны власть имущих. Дело кончилось оправданием В. Засулич. Устами окружного суда и, в частности, его председателя [1] общество выразило порицание не ей, а генералу Трепову, и тем самым осудило и реакционное правительство. Но дело этим не кончилось. Молодежь, и особенно присутствовавшие при этом радикальные элементы ее, чутьем понимала, что со стороны главарей III Отделения будет сделана попытка захватить неожиданно для них оправданную преступницу. И, действительно, произошла небольшая схватка, и В. Засулич была спасена. Но дело не обошлось без жертвы. Неожиданным и неизвестно откуда последовавшим выстрелом была сражена одна молодая жизнь,— был убит юноша Сидорацкий, участвовавший в похищении Засулич. Кое-кто из моих приятелей был в этой стычке, но никто не мог указать, откуда последовал выстрел, сгубивший Сидорацкого.

[1] Недавно скончавшегося А. Ф. Кони.

Не прошло и нескольких дней, как было объявлено новое выступление молодежи: предполагалась торжественная панихида по Сидорацкому, и местом сборища был указан Владимирский собор. Демонстрация прошла гладко, при выходе из церкви речей никто не произносил, понимая, что этим могло быть вызвано новое побоище, как было в 1876 году у Казанского собора. Предположение это имело основание: мне самому, случайно забежавшему в один из ближайших дворов, удалось заметить целое войско конных и пеших жандармов, ожидающих только первого слова команды, чтобы расшвырять всю собравшуюся толпу молодежи.

Медико-хирургическая академия, одно из самых свободных высших учебных заведений того времени, приютила большинство из нас. В ней жизнь била ключом, студенчество было полно энтузиазма; оно следило за чистотой нравов в своей собственной среде, и были нередки случаи, когда студент исключался из академии за какой-либо антиморальный поступок постановлением сходки всего студенчества.

А наша библиотека была так автономна, что даже начальствующие лица не имели в нее доступа. Не даром Петр Поливанов, бывший тогда студентом первого курса, указал на дверь начальнику академии Быкову, случайно забредшему в библиотеку, куда „вход посторонним воспрещен".

А в конце 1878 г.— как отзвук на борьбу южного студенчества за свои прерогативы и ради поддержки его — академия поднялась на серьезную демонстрацию, требуя полной автономии своей alma mater и широких студенческих вольностей. Огромная толпа студентов, отстранив пристава и перебравшись через разводящийся Воскресенский мост, понесла петицию к наследнику.

Не надо этому удивляться: ведь всякий наследник престола считался у нас сравнительно либеральным, пока он не делался царем...

Но наследник, будущий Александр III, обманул наши надежды, не удостоив показаться нам, и нашу петицию, с обязательством представить ее наследнику и дать нам ответ его, мы вручили градоначальнику Зурову.

А на другой день произошло невероятное событие: Зуров приехал в академию и шашками и нагайками конной полиции и казаков загнал в угол собравшуюся толпу студентов, которые в большинстве вовсе не были вчерашними демонстрантами. Нас арестовали, порядком поколотили и отвели в казармы Московского полка, где арестованные и просидели $1^1/_2$—2 недели.

Поняло ли общество нашу демонстрацию — осталось неизвестным, но сочувствием, сидя на соломе в Московских казармах, мы пользовались несомненно. Нас забрасывали доброхотными приношениями в обилии и не только из карманов товарищей студентов, но нередки были случаи, когда такое сочувствие проявляли и лица высокопоставленные или петербургская аристократия.

За демонстрациями пошли сходки, и мы, уже достаточно освоившиеся в студенческой среде, живо отзывались на каждый вопрос социально-политического, бытового или морального характера. Все это объединяло молодежь обоего пола, иногда вызывало разногласия, делило на партии, но тем больше возбуждало к самодеятельности, к спорам, в которых вырабатывалось сознательное отношение к жизни и выковывались характеры и убеждения.

Обильная революционная литература, всегда нас интересовавшая и привлекавшая к себе, в это время делила нас уже на два лагеря. 1879 год, бурный своими революционными выступлениями на юге России и на севере, был также моментом распадения „Земли и Воли" на две фракции. Различные темпераменты и характеры, в связи с выработанными уже к тому времени основными взглядами, размежевывали нашу среду на приверженцев „Черного Передела" и „Народной Воли". Героические выступления последней в конце 1879 года и ее талантливая литература в связи с программой, наиболее отвечающей пылкой, ни с чем не мирящийся юности, привлекали к себе большинство революционно настроенной молодежи. Многочисленные выступления ораторов Исполнительного Комитета в ее среде, обычно в незатейливой обстановке небольшой студенческой квартиры, сверху до низу набитой публикой, возбуждали не только интерес к революционному движению, но и вдохновляли многих на более решительные шаги.

Желябов пользовался особым, выдающимся успехом на таких собеседованнях. Его горячая речь, полная ума, логики и убежденности, оставляла после себя незабываемое впечатление; его удачные выражения долго повторялись слушателями. Все это, вместе взятое, не только возбуждало интерес в молодой публике, но и толкало ее на определенную дорогу, заставляло каждого переоценивать себя, давать себе отчет, на что и в какой мере он способен. Одни, не успевшие еще выработать в себе окончательного миросозерцания, должны были решить вопрос, должны ли они, могут ли уйти в узкую обывательщину или способны на самоотречение и могут под-

крепить собою силы действующей партии. Другие, уже с готовыми убеждениями, с готовым планом своей революционной работы, только жаждали приложения своих сил и готовились к делу. Но и те и другие прислушивались к голосам своих новых учителей, искали случая с ними повстречаться, еще их послушать, поговорить с ними, чтоб яснее и яснее сознать себя не только критически мыслящими, но и продуктивно действующими лицами.

Но и помимо этих встреч и этих собеседований, где бы ни сталкивалась молодежь друг с другом, на частных квартирах за стаканом чая, в кухмистерских за обедом, в аудиториях или на пирушках,—повсюду среди нее поднимались одни и те же вопросы, вопросы о жизни, о ее целях и обязанностях' возлагаемых на каждого, об ответственности, лежащей на каждом в виду тяжелых условий современной политической жизни общества и народа, и особенно о двух революционных направлениях, взявших на себя тяжелое решение самых насущных вопросов, и особенно борьбы с самодержавием.

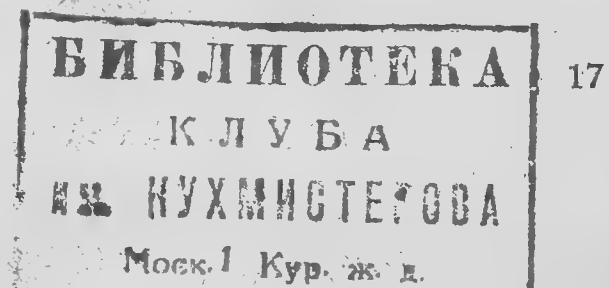
Между тем начиналась помаленьку и революционная деятельность. Пока это были первые, несмелые шаги, у многих, впрочем, ставшие и последними. Революционную литературу надо было и можно было читать, но ее же надо было и распространять. И это дело молодежь брала на себя охотно. Денежные сборы по особым листам или иным способом в пользу партий — было вторым делом ее; сюда же необходимо прибавить устройство вечеринок, конечно, платных, с той же целью, где рядом с вином и пивом, с народными и революционными песнями шли также дебаты на политические темы, где сталкивались и оттачивались различные взгляды и убеждения. Все это иногда не обходилось и без жертв: то арестуют кого-либо с литературой, и создается дело о пропаганде с целью ниспровержения существующего строя, то захватят вечеринку и всех участников ее разошлют по северным губерниям, и т. д. Вспоминается одна такая вечеринка на Подрезовой улице в квартире студента С. Иванова (будущий шлиссельбуржец). Дело происходило в конце 1879 года. Нескольким студентам, и в том числе моей землячке Улановской, я всучил билеты на этот вечер. Неблагополучно закончилось это предприятие, хотя предположенный сбор в пользу „Народной Воли“ был собран. Часа в 4 утра нагрянула полиция и заарестовала всех, кто еще оставался, увлекшись разговором, спорами, пением и танцами. Я ушел домой за час до этого погрома, утомившись сутолокой предыдущего дня. В числе

арестованных были медички Юшины, Герценштейн, студенты Анощенко, Писарев, нелегальная Воскресенская и еще человек 10, и среди них моя землячка Улановская. На другой день я был вызван на разгромленную квартиру, где застал только одного С. Иванова, ожидающего более подробного обыска и ареста. По его поручению я очистил от нелегальщины его ящик в химической лаборатории Академии, а позднее организовал сношение арестованных с волей и временно их питание. Скоро все они были разосланы по северным уездам России и только немногие из них, как Иванов, Улановская и кое-кто еще, появились впоследствии в рядах партии. Но все это не только не устрашало и не успокаивало волнующееся море возбужденной молодежи, а скорее, как бы подливая масло в огонь, еще больше возбуждало умы и толкало их на революционную дорогу.

Деятельность и значение „Черного Передела“ постепенно замирали, и параллельно росло влияние „Народной Воли“. Мы, чем могли, старались помочь партии, предоставляя себя в распоряжение членов Исполнительного Комитета, которые все больше и больше, при редких встречах, производили на нас обаятельное впечатление. Наши квартиры были предоставлены для необходимых свиданий, для укрывательства нелегальных лиц, которых становилось больше и больше, для хранения литературы и ее сортировки.

А развертывающаяся деятельность партии, первый процесс ее членов в 1880 году, сопровождавшийся казнями, вооруженное сопротивление, оказанное при аресте типографии в Саперном переулке, и пр. как бы подхлестывали молодежь, торопили ее в деле выбора каждым его дальнейшего жизненного пути. Многие почти официально вступали в ряды партии, многие подготовлялись к тому же, а пока не находили еще точек приложения своих сил. Организовались центральный и другие кружки народовольцев в университете, в Медико-хирургической академии; кружки пропагандистов в рабочей среде уже энергично действовали в различных рабочих районах города.

Понемногу стали проникать в общество сведения о небывалых, героических выступлениях партии. Прежде всего нельзя было скрыть чрезвычайного факта — взрыва царского поезда под Москвой. За ним последовали новые и новые сведения: о показаниях Гольденберга, о подготовлении покушений под Александровском, под Одессой, какие-то слухи о самом Зимнем дворце и пр. и пр.



Слухи, один неправдоподобнее другого, циркулировали в обществе и создавали Исполнительному Комитету репутацию неуловимого и всемогущего. С восторгом передавали друг другу, напр., что литература „Народной Воли“ массами развозится повсеместно самими царскими поездами, что под крылом митрополита в Александро-Невской лавре сохраняются наиболее видные документы Исполнительного Комитета, что все тайны охранной полиции всегда известны партии, и во многих случаях она может руководить ее деятельностью, направляя ее энергию по ложному пути, и т. д. Все это увеличивало значение партии в глазах молодежи, и не только революционной: само общество, в лице своих передовых членов, в этой борьбе революционеров с правительством, если не открыто, то все же довольно явно становилось в своем сочувствии на сторону первых.

Однакоже учащаяся молодежь, как бы она ни была революционна, не покидала без крайней нужды университетов. Наука в них, быть может, с несколько ослабленной энергией, подвигалась вперед. Все мелкие революционные дела не мешали слушать лекции, посещать клиники, лаборатории и пр., а эти учреждения, включая сюда и аудитории профессоров, не мешали вести беседы на обычные политические темы, узнавать друг у друга новости, обмениваться впечатлениями, получать новую литературу. Эти высшие школы, кроме того, бывали иногда ареной и политических выступлений. Они переживали бурные времена, здесь нередко происходили политические сходки, произносились пламенные речи, и отсюда часто начинались общестуденческие демонстрации, как, напр., большая демонстрация с петицией к наследнику престола, о чем сказано выше.

Между тем репрессии, обыски, гонения на студентов во всех университетских городах дошли до апогея и всегда находили отклик в среде петербургской молодежи. Она волновалась, требовала новых и новых выступлений, а это опять влекло за собой новые репрессии.

Таково было положение дел к 1881 в высших учебных заведениях, в среде студенчества, но не лучше оно было и в обществе, где усиленные полицейские репрессии сердили и волновали его представителей и понуждали их становиться на сторону не только студенческой молодежи, но и революционеров. Таким образом, одна среда поддерживала, подкрепляла другую, и последующие успехи революции в некоторой доле должны быть отнесены и на счет сочувствующего общества.

При этих условиях партия и не думала отступать, напротив, побуждаемая видимым успехом, она с большей и большей энергией напрягала свои силы; значительная часть молодежи шла за ней. Общественно-политическая атмосфера сгущалась, наэлектризовывалась больше и больше; чувствовалось, что назревает крупное событие, способное повлечь за собой серьезные последствия.

Так наступило 1 марта 1881 г.

Нужно ли говорить, какое впечатление произвело это событие на революционную молодежь? Постепенно она узнавала, что на скамье цареубийц будут сидеть многим и многим из них знакомые лица.

Характеры, таланты, влияние этих лиц были ей хорошо известны; она не сомневалась, что на предстоящем процессе, в котором неминуемы смертные казни, будут выявлены все основания действующей героической партии, и обаяние погибающих деятелей росло с каждой минутой, с каждым новым открывающимся в следствии фактом.

Не менее сильное впечатление произвело это событие и на общество, наиболее интеллигентная часть которого стояла на стороне революции.

Когда же 3 апреля на эшафот мужественно взошли четыре человека, обвеянные симпатиями молодежи и общества, нельзя было не удивляться той силе революционизирующего значения, какого эти факты достигли к этому времени. И можно было бы подвергнуть сомнению, который же из этих фактов — 1 марта или 3 апреля — подействовал сильнее на революционную молодежь и на общество[1].

Здесь я считаю себя вправе поставить точку. Но в виде общей характеристики революционной молодежи того времени (конца 70-х и начала 80-х гг.) мне хотелось бы подразделить ее на несколько категорий. К первой я отнес бы людей, всецело отдавшихся революционной народовольческой деятельности, революционеров в прямом смысле этого слова, в большинстве перешедших на нелегальное положение или близких

[1] Не надо забывать, что здесь впервые с давних времен была казнена женщина, и. напр., вот что говорил много позднее один из очевидцев казни 3 апреля 1881 г.: „Думаю, что не очень погрешу, если скажу, что эта расправа, потрясшая мои нервы до галлюцинаций, хотя и стоила мне дорого в смысле здоровья на долгие годы, но зато она дала мне великое счастие пробуждения, она натолкнула мою мысль на революционную стезю, научила глубоко ненавидеть и сделала меня революционером, до сих пор глубоко уважающим память и заветы „Народной Воли“ (А. Брейтфус. „Былое“, 1924 г., № 25, стр. 1).

к тому, уже работавших и состоящих на работе или ожидающих таковой, оставивших всякое попечение о науке и другой карьере для себя.

Вторую категорию составили бы люди, вполне революционно настроенные, при первом же призыве готовые броситься в революцию, как солдат при звуке рожка бросается к ружью, но признающих, что во всеоружии законченного образования и знаний они были бы много полезнее для революции, чем люди, не закончившие своего образования. К ним я мог бы причислить кое-кого из своих товарищей, упустивших время, успевших покончить с образованием, когда деятельность уже пошла на уклон, а они остались за бортом революции.

Наконец, третью категорию можно было бы назвать потенциальными революционерами, еще не вполне сознавшими свои силы и свое настроение или не покончившими еще с бродящими в их головах старыми идеями „Черного Передела" или, наконец, еще слишком молодых. Они выступили несколько позднее.

И если бы меня спросили, какое бы место я отвел для себя при таком распределении молодежи того времени, я бы сказал, что мы с женой чувствовали себя стоящими на рубеже двух первых категорий: революционного устремления и решимости у нас было много, образование наполовину уже пришло к концу, и представители Исполнительного Комитета, имевшие со мной дело, считали и то и другое вполне достаточным. Таким образом, меньше чем через год после описанного, т.-е. в 1882 г., и для меня прозвучал призывный сигнал, пришло и мое время.

ГЛАВА II

ДИНАМИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПАРТИИ „НАРОДНАЯ ВОЛЯ“ В 1882 ГОДУ

1. В начале 1882 года.

Ничем не отличалась весна 1882 года от обыкновенной петербургской весны, с вечно нахмуренным небом, с моросящим, как сквозь сито, дождем, с воздухом, напитанным сырой мглой тумана... С этой серой мглистой петербургской весной вполне гармонировало внутреннее состояние жизни не только Петербурга, но и всей России: „диктатура сердца“ отжила свой короткий век, новое царствование открылось ужасающей для того времени реакцией, казавшейся беспросветной и нескончаемой, жизнь съежилась, замерла, энтузиазм, питавший наиболее деятельные элементы, уступал место бессилию, истощению...

Жестокая расправа с политическими каторжанами на Каре (11 мая), подготовляющийся большой процесс на юге — „еврейский букет“, по квалификации его создателя Стрельникова,— большой провал 82 г. в Петербурге, как крупная неудача одной из последних попыток Исполнительного Комитета, и последующая грандиозная измена С. Дегаева докончили существование Исполнительного Комитета партии „Народная Воля“ в первой его формации. Революционная жизнь замирала, реакция торжествовала, о новом дыхании весны думать не приходилось. Наступало затишье, безвременье, как оказалось, длившееся десятки лет.

Но взбудораженная рядом живых и деятельных годов неустанной работы и жестокой борьбы, революционная молодежь не успокаивалась, кидалась на работу, в борьбу, на

жертвы. Кое-где горючие элементы вспыхивали яркой искрой (например, дела Санковского, Поливанова и др.); они не могли заглохнуть и потухнуть незаметно, эти натуры горели слишком ярко, чтобы простым тлением сойти со сцены. Кое-где бывали и массовые вспышки, как результат неправильно сложившихся общественных отношений (стачки на фабриках и заводах и др.).

Исполнительный Комитет партии не складывал оружия; после 1 марта, перенеся центр своей деятельности в Москву, он пополнил его кадры новыми лицами и организовал новые предприятия на Юге (усиление военно-офицерской организации, казнь Стрельникова) и в Петербурге, куда он откомандировал двух своих агентов для нового нападения на крупного, энергичного и вредного представителя охранки — Судейкина. В то же время он не оставлял своей организационной работы, руководя ею из Москвы, где была типография, паспортное бюро, впервые народившаяся организация Красного Креста и пр.

Именно в эту туманную весну 82 года в Петербурге мы оставались в небольшом количестве, временно без связей и без руководства. Благодаря гибели и аресту многих активных деятелей и благодаря отъезду из Петербурга других, что требовалось для их безопасности, мы — революционная молодежь — были оторваны от центра и вынуждены были терпеливо ожидать призыва на работу. Пока же каждый из нас продолжал заниматься тем делом, на каком захватил нас переживаемый период. Большинство было занято организационной работой среди интеллигентной молодежи.

Что представляла собой к этому времени народовольческая революционная молодежь? Восприняв целиком задания, программу и тактику „Народной Воли“, мы не переставали быть народолюбцами, не утратили в себе того чувства долга перед забитым, униженным и страдающим народом, какой был присущ поколению 70-х годов. Мы только ушли в „политику“, переменили взгляды на старую тактику, оказавшуюся несвоевременной, отказались от нее в силу полученного опыта, но наше общее миропонимание от того не изменилось. Народ, уже понятый нами, но не понявший нас в периоде близкого общения с ним (хождение в народ), был нам так же дорог, так же привлекал наши симпатии, и стремление притти к нему на помощь, освободить его, оставалось в нас столь же сильным, как это было и в 70-х годах. Но мы изверились в тактику этих лет, нашли иные пути, ведущие к той же освободительной цели, бросились в политику, ставили задачей уничто-

жение самодержавия, завоевание политических свобод, передачу власти в руки трудящихся и пр. К народу же во всей его массе — к рабочим и крестьянам — наше отношение нисколько не изменилось.

В этом смысле тогдашняя революционная молодежь оставалась „народнической“, каковой и была до конца деятельности партии „Народная Воля“. Если некоторая часть ее и шла исключительно в террор, жертвовала собой ради торжества идеи своей партии, она все же не отрекалась от „народничества“, как не переставала быть всегда „социалистической“, несмотря на то, что сообразно с ее темпераментом уходила в „политику“ и террор.

Но переживаемая разруха, все более крепнущая реакция, гибель многих близких и дорогих людей и такой недавний пример энергичной деятельности партии, увенчавшийся небывалым успехом (1 марта 1881 г.), воочию говорили нам о наступлении, наконец, и для многих из нас момента войти в практическое дело. Настроение нарастало, являлась жажда работы, чем более опасной и ответственной, тем лучше, хотелось принять участие в борьбе, не прочь мы были и от необходимой жертвы.

В силу некоторых условий, частью личного характера, свое непосредственное участие в революционной работе того времени я мыслил как участие в ее техническом отделе. Моя краткая предыдущая деятельность — попытки пропаганды и особенно работа среди интеллигентной молодежи, организация кружков и пр. — удовлетворить меня не могла, а широкий размах боевой работы манил к себе своей жизненностью и необходимостью непосредственного приложения. Мое будущее участие именно в технической работе, какова бы ни была ее тяжесть, отчасти и было уже предопределено заранее в моих переговорах с представителями Исполнительного Комитета, с Колоткевичем, особенно с Савелием Златопольским и другими менее влиятельными, почему я и не был удивлен предложением, которое явилось вызовом меня на активное революционное дело.

2. Н. М. Салова, А. П. Корба. — Условия вступления в дело.

В середине или в конце марта через Христину Гринберг, с которой я часто виделся и которая одна из нелегальных лиц оставалась в Петербурге в это время, я получил предложение зайти в определенный час к Н. М. Са-

ловой. С Саловой я был знаком уже давно; она была слушательницей фельдшерской школы при Георгиевской общине и занимала там пост представителя „Народной Воли“, так же точно, как другая слушательница той же школы — М. К. Решко была представительницей остатков „Черного Передела“. Обе они были яркими фигурами тогдашней революционной молодежи и являлись в этой довольно многолюдной школе центрами обеих существовавших тогда фракций революционной партии. Н. М. Салова была очень серьезной молодой девушкой, внушавшей к себе невольное уважение, так как каждый приходящий с ней в соприкосновение видел в ней решительное революционное настроение и горячую преданность делу, какую она проявляла в своей организационной деятельности среди женской учащейся молодежи.

Хотя я и давно уже был с нею знаком, однако чисто деловых отношений между нами не было, и полученное мною предложение зайти к ней в определенный час носило уже характер начала какого-либо серьезного дела.

Я не знал, с кем и по какому поводу я буду видеться у Саловой. — „Есть дело“, — сказала Христина, и этого было достаточно, это уже говорило мне о том, что очередь дошла и до меня, и это вполне гармонировало с моим настроением. Оказалось, что командированные Исполнительным Комитетом А. П. Корба и М. Ф. Грачевский уже приехали в Петербург. Мое первое свидание у Саловой было с Корба, именовавшейся тогда Варварой Петровной. В это первое свидание и в последующие на улицах Петербургской Стороны, на островах, на взморье для меня вполне выяснилось предложение Исполнительного Комитета и роль, какую я должен был взять на себя.

Исполнительный Комитет решил устроить в Петербурге мастерскую взрывчатых веществ, заготовить впрок сколько возможно динамита и гремучего студня и один или два снаряда. Главная же цель такой мастерской была учебно-техническая. Все видные опытные техники партии, за исключением Грачевского, погибли, и перед Исполнительным Комитетом встала задача подготовить заблаговременно новых техников и найти для того соответствующих людей. Выбор по указанной выше причине пал на меня, и я охотно с ним согласился. Во время наших свиданий и на прогулках с А. П. Корба я детально знакомился с характером предстоящего дела, с задачами и условиями предполагаемой работы и отчасти с теми целями, которые при этом имелись в виду. Мы беседовали о положении партии, о ее предположениях и ее возможностях;

говорили о тех перспективах, на какие можно было рассчитывать при повторении крупного центрального акта, и о величайшей трудности его повторения. Мы столковались, но мне было поставлено два необычных условия, как sine qua non намеченной работы. Во-первых, решено было для вящшей конспирации устроиться на конспиративной квартире с подлинным, не поддельным, документом, который притом говорил бы о сколько-нибудь определенном общественном положении хозяина квартиры. Этому условию я мог удовлетворить, взявши документы из академии, где я числился студентом, а вместе с ними и мой диплом ветеринарного врача; такое общественное положение было сочтено достаточной гарантией для отвлечения от меня, как хозяина квартиры, внимания излишне пытливых и придирчивых агентов охраны. Другое условие, предложенное мне, заключалось в следующем. Уже намеченная хозяйка будущей мастерской оказалась в таком семейном положении, что считала себя вправе отдаться революционным предприятиям лишь под чужой фамилией, чтобы не компрометировать своих престарелых родителей и избавить их от тяжелых переживаний на тот случай, если бы она была арестована. Она убеждена, что ее старики не перенесли бы факта обнаружения участия в мастерской динамита их дочери, носящей их фамилию, и потому она предлагает вступить в фиктивный брак с будущим хозяином квартиры, кто бы он ни был, в свою очередь давая все гарантии его свободы в будущем, если для того явится необходимость. Партия, дорожа намеченной хозяйкой и зная ее выдающиеся качества, признала справедливость ее требований, каковые Варварой Петровной и были предоставлены моему решению и согласию. Оба эти условия не могли не заставить меня несколько задуматься об их последствиях, и я просил Варвару Петровну дать мне на это небольшой срок.

В сущности говоря ни то, ни другое условие принципиально не было для меня неприемлемым. Выход из академии не играл для меня никакой роли; если даже через год я оказался бы свободным, я отнюдь не терял права на продолжение своего образования; предлагаемый же мне фиктивный брак, при полнейшей свободе моего чувства в данное время, только с одной стороны был мне не по сердцу: перед лицом родных моей будущей жены я должен был volens-nolens разыгрывать комедию, а в конечном счете явиться перед ними каким-то волком в овечьей шкуре. И когда я после высказывал опасение в этом именно смысле, то та же Х. Гринберг, смеясь, говорила мне:

„Чудак! страшится такой простой вещи и не боится возможной веревочки“.

Дело было, конечно, не в боязни, не в страхе, а в том чувстве стеснения перед родными моей будущей жены, какое я должен был испытать как при неизбежном знакомстве моем с ними в качестве претендента на ее руку, так и при взгляде их на меня как на причину гибели молодого, талантливого существа, если бы нас с нею постигла катастрофа.

Все остальные условия я принимал с легким сердцем, как солдат, готовый к бою, не спрашивающий, куда поведут его. Было достаточно уверенности, что предстоящее дело вполне совпадает с моими желаниями и моим настроением, а постановления партии, положения которой я вполне разделял, были для меня законом. Я не старался узнать иные цели нашего предприятия, кроме тех, которые мне были указаны, хотя было ясно, что помимо учебно-технических задач здесь преследуется кое-что и более конкретное. Но А. П. Корба на первых порах ни слова не говорила о главной цели предприятия, в которое мы вступали, я же не считал себя вправе обнаруживать неуместное любопытство, и эти отношения обоюдно были оценены вполне правильно, а вопрос выяснился для нас, и довольно скоро, сам собой.

И на моем последнем свидании с Корба я на все дал полное свое согласие и к определенному сроку обещал быть совершенно готовым. Наши свидания прекратились, и я увидал А. П. в следующий раз уже на суде.

Мне оставалось выдержать еще одно испытание у организатора, частью исполнителя предприятия, словом, у Грачевского, о котором я много слыхал, как о „технике“, сотруднике Кибальчича и пр., но с которым до сих пор не встречался. От впечатления, какое получит от меня Грачевский, зависит мое вступление в дело, и потому понятно мое нетерпение, с каким я ожидал свидания и знакомства с ним.

3. М. Ф. Грачевский.—Первые шпионы.—Цели мастерской.

В случайно хороший, теплый апрельский день мы отправились с Христиной по Ждановке ко взморью. Пройдя с версту по набережной, я увидал на самом берегу у воды чисто одетого, в высоком цилиндре, еще молодого человека; мельком, еще издали, взглянув на нас, он продолжал возиться с яликом, устанавливал руль и весла и сталкивал ялик в воду.

Когда мы подошли уже вплотную, он быстро подал нам руку, снял цилиндр, обтер потный лоб и коротко сказал: „Садитесь“. По первому же движению весел я понял, что Грачевский мастер грести, любит воду и лодку и наслаждается нашей прогулкой. Христина села у руля, а я занял самое выгодное для наблюдения положение, усевшись на лавочке как раз против Грачевского. Он скоро сбросил с себя цилиндр, расстегнул сюртук, и я имел полную возможность изучать это энергичное и живое лицо. Ловкая и сильная мускулистая фигура с правильными и размеренными жестами, уверенность и сила в движениях, довольно высокий, стройный рост, цепкие и мозолистые, не боящиеся труда руки, энергичное, здоровое, сильно загорелое, как бы слегка обожженное порохом лицо с очень живыми, острыми, темнокарими, пытливыми и даже строгими глазами под широким лбом — таково было первое впечатление, произведенное на меня Грачевским. Его лицо портила подкрашенная в темный цвет короткая и слегка вьющаяся шевелюра и совершенно не идущая к этой энергичной фигуре, тоже подкрашенная маленькая эспаньолка под нижней губой. Одежда и внешний вид, начиная с эспаньолки, цилиндра, белого жилета и кончая небрежно накинутым на руку пальто, перчатками и изящной палкой, — все было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление фата, бездельного фланера по Невскому, но в то же время мало соответствовало резким движениям, проницательным и умным глазам и мозолистым рукам Грачевского.

Гораздо позднее я узнал биографию Михаила Федоровича частью из его собственных уст, частью из других источников. Слесарь на железной дороге, народный учитель, радикал, комбинирующий народное образование с пропагандой революционных идей, участник „большого“ процесса пропаганды 193-х лиц, причем он вынес $3\frac{1}{2}$-годовое одиночное заключение; опять слесарь или машинист на железной дороге, ссыльный в глухом углу Архангельской губерни, нелегальный после побега из Архангельска, вставший в ряды Исполнительного Комитета и взявший на себя тяжелый труд партийного техника вместе с Кибальчичем и Исаевым, — Грачевский до конца своей безрадостной жизни был стойким борцом с ненавистным режимом абсолютизма, что и запечатлел своей смертью. Он, как факел, сжег себя в застенках Шлиссельбургской крепости, протестуя против до нелепости строгого режима для заключенных, и никто не расскажет о трагизме последних лет его жизни и об ужасе этой одинокой в стане врагов его смерти.

Молчаливо хранят эти тайны только стены его мрачной камеры, эти единственные свидетели пережитых им страданий и дум!..

Но не бесследно прошла и эта его беспримерно тяжелая смерть: она послужила поворотным пунктом в содержании заключенных крепости, так как даже самодержавное правительство Александра III ужаснулось решимости Грачевского, и режим содержания заключенных с этого момента стал постепенно ослабевать. Быть может, только ужасной добровольной смерти Грачевского мы обязаны тем, что смогли вынести все многолетние ужасы „государевых" застенков наши шлиссельбургские узники, вышедшие на волю после революции 1905 г.

Вот краткая характеристика Грачевского, вылившаяся из-под пера его товарища по работе и по Шлиссельбургу[1].

„Из всех крупных народовольцев к Грачевскому, быть может, более всего приложимо название „фанатик". Это была индивидуальность сильная, самобытная и вместе с тем замкнутая в резко очерченное русло. Его железная воля, раз поставив себе цель, преследовала ее неуклонно, с упорством, которое граничило с упрямством. Никогда не считался он с препятствиями, не признавал возможности отступления... Если когда-нибудь в его душе и были колебания или сомнения, они никогда не выносились наружу. Два раза в жизни — в трагический период перед арестом и в тюрьме перед жестоким концом — дальновидный ум мог говорить ему: „Остановись!", но остановиться он не мог и не хотел и холодно смотрел в глаза гибели и смерти. Для публики, для товарищей он был всегда один и тот же: вооруженный с головы до ног, непреклонный революционный деятель, и в этом смысле во всем движении трудно найти человека более прямолинейного и жизнь более цельную, чем его жизнь. Так иногда видишь в природе могучую глыбу гранита, которого не коснулась рука художника, и он лежит в поле во всей первобытной простоте и силе..."

И я добавлю, что отдавши для торжества революционной идеи всю свою жизнь без остатка, игнорируя собственное здоровье, считая фатально неизбежными для революционера все муки, моральные и физические, Грачевский, соответственно этому, совершенно лишил себя и личной жизни, отказался от естественной потребности всякого человека, за сутолкой повседневной работы — борьбы, найти хотя бы временное отдох-

[1] В. Н. Фигнер. — Собрание сочинений, т. IV, стр. 66—67.

новение в единении с другим любящим существом. И эта черта проходила красной нитью через всю жизнь Михаила Федоровича. Между тем этот, по внешности суровый и строгий к себе и другим человек был в глубине души мягок и любвеобилен. На родине у него оставалась старушка мать, и он вспоминал ее с большой сердечной болью, хотя и очень редко решался с кем-нибудь говорить о ней, но, когда говорил, было видно, насколько глубоко чувствует он неизбежную и, конечно, вечную разлуку с ней. Товарищеское чувство в Грачевском было развито настолько сильно, что слезы навертывались у него на глазах, когда речь заходила о наиболее близких к нему его погибших сотрудниках недавнего прошлого. Наконец, и гибель вместе с ним его молодых помощников самого последнего времени, причину чего он приписывал себе, уже на суде в его горячем последнем слове вызвала такое волнение в нем, что он едва мог сдержать рыдания, что до глубины души трогало и волновало его сопроцессников...

При последующих ежедневных встречах было нетрудно познать эту прямолинейную, несложную, но в то же время своей простотой и безыскусственностью влекущую к себе натуру. Грачевский не был речист. В обыкновенных беседах, за столом, он не был блестящим собеседником, брызжущим фонтаном острот и привлекающим к себе внимание окружающих, это был простой товарищ, чаще всего ограничивающийся деловыми разговорами и лишь изредка вступающий на равных правах со всеми в обыденную непретенциозную беседу; тут больше всего сказывалась простая, безыскусственная натура Грачевского, отвлекшегося от деловых соображений и отдавшегося кратковременному отдыху среди равных, среди товарищей. Но чаще всего приходилось видеть его озабоченным и серьезным, несколько холодным деятелем, что объяснялось общим положением дела, где ему пришлось играть выдающуюся роль и инициатора и организатора.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Сидя в лодке, мы перекидывались отдельными словами, обменивались замечаниями, словом — знакомились. Путешествие однако не было продолжительным, и по выходе из лодки мы попрощались с Христиной и вдвоем отправились на пароход, чтобы перебраться в город. Финский пароход, полный пассажиров, был непригоден для разговоров, и мы молча оглядывали наших соседей. Двое из них обратили на себя мое внимание. Это были, на мой взгляд, явно переодетые жандармы, пристально всматривающиеся в нас; мешком сидящие на них пиджаки,

туго стянутый, по-военному, ворот сорочки, высокие сапоги, которым словно нехватает шпор, общая повадка, обнаруживающая привычку к мундиру, и, главное, украдкой бросаемые на нас взгляды и виновато, поспешно отводящие их в сторону, как только я обращал на них внимание, — все сильно бросалось в глаза и говорило за то, что я не ошибаюсь. Но Грачевский успокоил меня, заметив, что этого быть не может, что сам он еще так недавно в Петербурге, что не мог подхватить шпионов, наконец, что он примет надлежащие меры.

Теперь, как и немедленно после ареста, для меня было вполне ясно, что это были первые шпионы, следившие за Грачевским и от него перешедшие ко мне; это были ласточки того шпионажа Судейкина, которым он сумел опутать, как паутиной, все дело 82 года.

Мы расстались с Грачевским только вечером, предварительно переговорив о всем необходимом. Впечатление, полученное мною от Грачевского, уже указано в приведенной выше его характеристике; и я, повидимому, производил на него впечатление благоприятное. Как техник по преимуществу, он искал людей, способных к техническим работам, любящих эту работу, и усматривал во мне эти качества при нашем обмене мнений. В этом мне пришлось убедиться позднее, когда серьезное, ответственное исполнение он оставлял на мое единоличное ведение. Успех предстоящей нам работы он мыслил в условиях проявления работниками не одной только исполнительности, но и инициативности, некоторой изобретательности, своего рода творчества. Только тогда можно будет рассчитывать, по его мнению, на результаты от мастерской в учебно-техническом смысле, как ее главной цели; другая же, побочная цель ее заключается в изготовлении снаряда по образцу тех, какие изготовлялись Кибальчичем для 1 марта, с небольшими изменениями. Снаряд этот будет пущен в дело против слишком деятельного, беззастенчивого и свирепого представителя охранного отделения—Судейкина. Таково было постановление Исполнительного Комитета.

4. Р. Л. Гросман и ее родные. — Выход из академии. — Свадьба с Розой Львовной. — Вторые шпионы.

В этой беседе с Грачевским для меня выяснилась вся та обстановка нашего предприятия, какую я должен был по его указаниям создать для наибольшего успеха дела. Тут же он

назвал мне хозяйку будущей нашей квартиры, мою будущую жену; к ней, не теряя времени, я должен был отправиться завтра же, чтобы скорее оформить наши отношения перед лицом ее родных. Это была Роза Львовна Гросман, с которой я встречался много раз ранее и которая всегда производила на меня неизгладимое впечатление и привлекала к себе все мои симпатии. Достаточно хорошо зная ее настроение и несколько знакомый с ее характером, я уже наперед предвидел наилучшие условия всей обстановки нашей будущей работы. Оставалось только получше разыграть свою роль, роль уже давнего претендента на ее руку перед ее родными, от которых до поры до времени это решение якобы скрывалось.

При первой же встрече с нею на ее квартире мы подробно переговорили о предстоящей нам задаче и выяснили наше обоюдное поведение в дальнейшем. В ближайшие дни мне пришлось познакомиться со всеми ее родными, уже как ее жениху, и разыгрывать эту роль вплоть до нашего отъезда из Петербурга.

Привычки Розы Львовны были таковы, что ее личные привязанности всегда оставались тайной для окружающих. Было ли это предусмотрено ею заблаговременно и на всякий случай, или действительно обуславливалось ее характером— безразлично. Но в данном случае нам это обстоятельство сильно помогло. Родным Розы Львовны, действительно, не бросалось в глаза то обстоятельство, что ее будущий муж явился так неожиданно, как будто свалился с неба. Они, зная характер и привычки своей сестры, не были шокированы этим фактом и довольно легко примирились с ним, даже и тогда, когда мы объявили о чрезвычайной поспешности нашего брака.

Таким образом, законное желание Розы было выполнено, и никто из окружающих нас лиц не догадался тогда о временной фиктивности нашего брака, и теперь я позволяю себе говорить об этом впервые, так как заинтересованных в этом деле лиц в живых уже не осталось никого.

Но я забежал несколько вперед. На следующий же день после свидания с Грачевским я приступил к подготовительным работам: прежде всего, я должен был ликвидировать свои отношения к академии, другими словами выйти из состава ее студентов и получить свой диплом; затем, было необходимо совершенно прервать свои отношения с товарищеской средой, объяснив это какой-нибудь вероятной причиной—отъездом или чем-либо в этом роде. После же всего этого я должен был

перебраться на другую квартиру, подальше от старой, и приступить к знакомству с родными моей будущей жены.

Все это быстро и без помех было выполнено, и только наша свадьба потребовала значительного времени благодаря бесчисленному множеству формальностей, да с трудом давалось еще подыскание пригодной для будущей мастерской квартиры, районом для которой был выбран нами сообща Васильевский Остров.

Свадьба сама по себе не представляла трудности, но этому должно было предшествовать крещение Розы, переход ее в православие. Это-то обстоятельство главным образом и осложняло все дело. Со стороны ее родных никаких препятствий быть не могло: они были слишком интеллигентные люди, чтоб обращать внимане на формальную сторону в деле исповедания веры членов своей семьи. Затруднением являлась та проволочка, которая требовалась каждый раз от людей, переходящих в православие, а нам было необходимо закончить все возможно быстрее.

Кто-то указал нам на священника, нуть ли не настоятеля адмиралтейской церкви, как на очень сговорчивого, не очень требовательного и даже недорогого. Первый визит к нему нас значительно ободрил, так как священник этот оказался довольно покладистым. Для Розы он поставил условием, чтобы она к общему, уже имеющемуся у нее знакомству с православием присоединила еще знание наизусть символа веры и какой-то еще молитвы, а от меня потребовалось еще согласие несуществующего у меня начальства. Как я ни убеждал священника, что я совершенно свободный человек и достаточно совершеннолетний, чтобы иметь право располагать собою в деле женитьбы, как хочу, все-таки я вынужден был сходить в военно-санитарное управление за такой справкой. Она и была мне выдана как свободному от обязательной военной службы, что и удовлетворило священника. В следующее наше посещение Роза подверглась устному с его стороны экзамену. Непривычной к славянскому языку, ей было трудно выучить дословно так называемый символ веры („Верую"), и она проговорила эту молитву своими словами. К нашему удивлению, священнику это даже понравилось, он почуял в этом, очевидно, что смысл молитвы был понят по существу, а не вызубрен только дословно, как это бывает часто с малоинтеллигентными людьми, и ограничился еще немногими общими вопросами, на что и получил вполне удовлетворительные ответы. Был назначен день крестин, а затем на другой день и момент венчания. И то и другое обошлось

без всяких инцидентов, хотя обоим нам пришлось изрядно поволноваться при первом обряде, так как священник ни за что не соглашался обойтись „без купели“, т. е. полного погружения в воду крестившейся, хотя даже по закону иногда в этих случаях можно было ограничиться простым окроплением водой. Акт венчания прошел легче и проще.

После небольшого завтрака в квартире Розы Львовны и ее сестер, 2 мая, мы, уже как муж и жена, выехали в Ямбург, чтобы вернуться оттуда на другой день и таким образом замести следы нашего пребывания в Петербурге для всех родных и знакомых. — Вернувшись, мы остановились в Серапинской гостинице по Забалканскому проспекту, куда на следующий же день пришел к нам Грачевский, хорошо зная, что мы совершенно свободны от выслеживания, и следовательно, посещение нас для него безопасно. Однако же и здесь произошел эпизод, наводивший тогда на некоторые размышления, но вполне оцененный только впоследствии. Однажды, случайно выйдя из комнаты в то время, когда там сидел только-что пришедший Грачевский, я увидел околоточного надзирателя, разговаривавшего с коридорным и пристально всматривавшегося в меня и оглядывавшегося на дверь нашей комнаты. Опять Грачевский не придал значения этому факту и не подозревал, что он уже выслежен. Нам оставалось последовать его примеру и совершенно отказаться от каких-либо подозрений. Но, сопоставляя этот факт с описанной ранее встречей со шпионами на пароходе при переезде через Неву, невольно приходишь к заключению, что с самого зарождения нашего предприятия за нами всеми, начиная от Грачевского, уже существовала слежка и уже вся деятельность петербурской группы партии в 82 году проходила под неусыпным взором Судейкина. Вместе с тем эти факты характеризуют Грачевского того времени, Грачевского измученного, усталого, больного, бывшего уже не в силах комбинировать и оценивать мелкие факты, которые так легко оценивались им раньше в здоровом и свежем состоянии его духа. Измученность и усталость Грачевского вполне понятна, если принять во внимане тяжелый предшествовавший период его жизни, начиная с $3^1/_2$ лет одиночного заключения, последующей ссылки, побега с нее и кончая кипучей, неустанной деятельностью за весь период героической работы Исполнительного Комитета и страшной гибелью большинства его ближайших товарищей-сотрудников.

Не могу не указать кстати и еще на один аналогичный факт, показывающий также на существующую за нами слежку. За

неделю раньше я присмотрел пригодную для нас квартиру с обстановкой; жильцы ее должны были за это время уже выехать. Каково же было мое удивление, когда дворник дома заявил мне, что хозяин его без всякой видимой причины сдать мне эту квартиру не желает, несмотря на то, что ранее выражал на это свое полное согласие. В беседе со мной по этому поводу несколько сконфуженный хозяин осведомился о моей профессии и заявил, что в числе его квартирантов уже есть ветеринарные врачи и потому сдать мне квартиру он не может. Мое заявление, что я ищу квартиру, а не службу у него, не имело значения, и мы холодно расстались. Получился некоторый осадок, какая-то загадка, объяснить которую было трудно. В глубине души я подумал, что мой хозяин осведомлен о наших намерениях доброжелательной к нему администрацией, но эти намерения пока ведь не выливались ни в какую реальную форму и были лишь в голове 3—4 лиц. Эти последние только пожали изумленно плечами и, как и мы, предали этот эпизод забвению. Но я не могу не сопоставить этого эпизода с двумя описанными выше, как доказательство уже тогда существовавшего за нами надзора.

Хозяин этой странной квартиры был профессор-архитектор с фамилией, если не ошибаюсь, Бочаров.

5. Квартира и ее обстановка.—Лаборатория.—Неудачные сотрудники.—М. А. Юшкова — наша кухарка.

Трудная задача выпала на нашу долю — подыскать квартиру, удовлетворяющую всем требованиям конспирации. Всем вспоминалась Баска (А. В. Якимова), отличавшаяся в этом отношении идеальными способностями, каким-то специфическим чутьем: одного ее взгляда было достаточно, чтобы оценить все достоинства и недостатки помещения для конспиративной квартиры, по какой-то странной интуиции она шла искать таковую именно в те кварталы, где они находились, и никогда не ошибалась. Но Баски уже не было, приходилось ограничиваться своими силами.

Наконец, квартира найдена со всеми необходимыми качествами, обставлена, сделаны все необходимые для обихода закупки; она и ее хозяева имеют вполне независимый вид и довольство чиновников средней руки и, по нашему мнению, ничем не обращают на себя внимания окружающих.

Третий этаж дома № 24 по 11-й линии Васильевского Острова был очень удобен для наших целей: парадный вход без

швейцара, черный ход, разделяющий комнаты от кухни, три комнаты, выходящие окнами на улицу, и одна во двор, ванна и водопровод — все, что необходимо для всякой лаборатории, было в нашей квартире налицо. Только одна круглая железная печь несколько смущала нас, так как одной своей половиной входила в соседнюю квартиру, что давало повод думать о возможности слышать наши разговоры по соседству; но и это не очень нас беспокоило, потому что печка эта была расположена вдали от главных комнат, где предполагалось производить работы. Но при найме квартиры на это было обращено внимание, и дворнику было поручено подыскать мастера для переговоров о переделке печи. Тот же дворник подыскал для нас полотеров и уговорился с ними о цене и порядке работы.

Оставалось оборудовать лабораторию, к чему мы и приступили немедленно. По указанию Грачевского я купил несколько штук теса и нужное количество войлока и половой клеенки. Тесины были уложены на полу в том месте, где предполагалась работа с кислотами, чтобы не портить паркета, и весь пол комнаты, наиболее изолированной и предназначенной для лаборатории, был покрыт сперва войлоком и поверх его клеенкой; этим имелось в виду заглушить шаги работающих, особенно в ночное время, когда шум шагов мог беспокоить жильцов нижнего этажа и тем самым возбудить нежелательные подозрения. Далее, я купил цинковый лист и жесть, а также паяльник и кое-что необходимое для слесарных работ; наконец, мною было приобретено все, что было нужно на первый раз для химической части лаборатории: посуда, термометры, весы, кислоты, глицерин, все реактивы и пр.

Оставался открытым вопрос о наших сотрудниках. Они уже были намечены Грачевским, но нам были еще неизвестны. Кроме того, требовались также лица, как пособники; они должны были делать массовые закупки кислот и глицерина и передавать нам через тех, кто имел доступ в нашу квартиру. Самим нам было разрешено только при спешной нужде приобретать материалы в магазинах, чтобы не навлечь подозрения на нашу мастерскую. В поисках этих пособников мы отправились однажды с Грачевским к знакомым ему студентам, кажется, Института гражданских инженеров. Жили они в Измайловском полку. Подходя к их квартире, Грачевский сказал мне: „Назовем вас перед ними Степаном Петровичем“. В обыкновенной студенческой комнате нас встретили три студента. После обычных приветствий и безразличных разговоров Грачевский обратился, наконец, к одному из них, повидимому, к хозяину,

и предложил ему побывать в нескольких аптекарских магазинах, купить там понемногу глицерина и крепких кислот, чтобы узнать, как будут относиться к этим покупкам продавцы, не выразят ли они при этом удивления или подозрения. Надо было видеть, какое впечатление произвело это на бедного, уже бородатого юношу: он смутился, задрожал и чуть не выронил стакана из рук. Видя это, его товарищ, более владеющий собой, предложил вместо него свои услуги, но успевший несколько оправиться хозяин настоял на своем праве проделать этот первый опыт. „Дрянь стали люди,—сказал мне по выходе на улицу Грачевский,—на них нельзя положиться". С этим пришлось согласиться и мне, но все же на условленном месте и в определенный час я получил от нашего бородатого юноши сделанные им покупки и осведомился, что магазины не обнаруживали при этом ни удивления, ни подозрения. Тем не менее Грачевский отказался от услуг этих помощников.

Выбор его пал на других лиц, и, как теперь стало известно, это были члены так назыв. „подготовительной группы партии „Народная Воля" —Ф. Ф. Ардентов и В. А. Бодаев, как это явствует из статьи последнего [1]:

„Они закупали в аптекарских магазинах огромные бутыли азотной и серной кислот и передавали их на условленном месте лицам для доставки их в мастерскую, напр., Клименко".

На свою новую квартиру мы вселились 7 мая, и на другой же день явилась к нам наша будущая „одна прислуга". Я увидал очень просто, по-деревенски одетую девушку, с головой, повязанной платком, и с неизменными семечками в руках. Я тотчас же узнал мою хорошую знакомую Марию Александровну Юшкову, слушательницу фельдшерских курсов. „Я — Маша Савина, — сказала она, улыбаясь, — нанялась к вам в прислуги".— „Добро пожаловать!"—приветствовали мы ее, и тотчас же у нас завязался дружеский разговор на тему о предстоящих каждому ролях. Прежде чем окончательно упрочиться у нас, Мария Александровна должна была где-нибудь прописать данный ей Грачевским новый паспорт, чтобы у нас он был уже испытанным и верным. С этой целью Мария Александровна, как бы с вокзала железной дороги, на один день, якобы до приискания места, остановилась в одном из ближайших к вокзалу постоялых дворов и поселилась у нас уже после прописки ее паспорта в участке.

---

[1] „Народовольцы 80-х и 90-х годов". Издание О-ва политкаторжан и ссыльно- поселенцев. М., 1929. Статья В. А. Бодаева, стр 18.

Милая хохлушка, веселая певунья, Мария Александровна выполняла у нас роль кухарки и была как нельзя лучше пригодна для этой цели. С утра вместе с Розой Львовной они ходили на базар за провизией, и после того большую часть дня она оставалась в кухне, занятая приготовлением обеда, уборкой посуды, помещения и пр.

Освободившись от этих обязанностей, она, в чем могла, помогала в наших работах, а в совершенно свободное время что-нибудь шила или вышивала, сидя у общего стола, и пела, как бы мурлыкала, свои малороссийские напевы. Она обладала великолепным слухом, прекрасной музыкальной памятью и милым, приятным, хотя и не очень сильным голосом. Бесчисленное множество песенок не сходило с ее уст, и в кухне за кухонной работой и даже за работой в нашей лаборатории мы всегда слышали ее тихое мурлыканье, нередко доставлявшее нам удовольствие. Я хорошо знал ее раньше и всегда удивлялся ее спокойному, уравновешенному характеру. Это была типичная хохлушка с белокурыми волосами, большими светло-голубыми глазами и простым миловидным лицом. Однако же за все время нашего знакомства я не усматривал в ней решимости и готовности пойти на рискованное, революционное дело, хотя радикальный образ ее мыслей для меня не был секретом. Я видел в ней только преданную своей науке девушку, флегматичную по натуре, как и полагается быть истой хохлушке, и способную лишь на подсобные роли в симпатичном ей и дорогом освободительном движении. Тем больше я был обрадован, увидавши ее в нашей мастерской решительной и готовой на всякое ответственное дело, в чем она и проявила много мужества, нравственной силы и самопожертвования.

На долю Марии Александровны все же выпала тяжелая и неблагодарная работа, в некоторых отношениях часто доводившая ее до отчаяния. Одно уже продолжительное пребывание в одиночестве на кухне за неприятным делом могло осточертеть общительному, как она, человеку. Немалое неудовольствие доставляла ей также добыча льда, часто необходимого нам для работ. Для этого она ходила в лавки, где можно было купить лед; при спешности она доставала его от дворников из домового погреба, и все это сопровождалось часто большими неприятностями, так как каждый раз ей приходилось объяснять, что лед этот необходим для заболевшей барыни; а это в свою очередь обращало внимание на нашу квартиру, где предполагали у барыни какое-нибудь серьезное, а может быть, и заразное заболевание. Во всех этих случаях

Марии Александровне приходилось лавировать в своих разговорах с дворниками, с лавочниками, а часто и с квартирантами нашего дома, чтобы успокоить, уверить их, что болезнь нашей барыни не опасная, что она просто капризничает и балуется, и что ее гоняют по пустякам, и что ей от того прямо житья нет... Но ко всему этому примешивалось еще одно, гораздо более неприятное обстоятельство. Один из младших помощников нашего дворника, ежедневно приносивший на кухню дрова, воспылал нежной страстью к Марии Александровне и очень часто засиживался у нее в кухне, вопреки своим обязанностям. Понятно, как это тяготило нашу „одну прислугу", вынужденную выслушивать его любезности и в то же время выдерживать свою роль. Более энергические выпады своего кавалера Мария Александровна парировала всегда ссылкой на барыню, которой она пожалуется; это останавливало молодого повесу на полдороге, и Мария Александровна благополучно от него исчезала. Но однажды страшно взволнованная, гневная и побледневшая, со слезами на глазах, она вбежала в комнаты с криком: „Я не могу больше, я не могу!" Очевидно, ухаживатель из дворницкой позволил себе слишком много, и Розе Львовне с трудом удалось успокоить взбешенную Марию Александровну. После этого у нее с ее ухаживателем произошел разрыв, и он, видимо, отказался от своих притязаний, получив надлежащий отпор. Судьба не улыбалась Марии Александровне и впоследствии: по суду она вышла на поселение в Тобольскую губернию, где и постигла ее и ее мужа безвременная кончина в конце 90-х или начале 900-х годов.

6. М. Ф. Клименко.—Слесарное дело.—Начало работ.

Вскоре после появления у нас Юшковой Грачевский привел к нам нового товарища, который и стал нашим главным сотрудником, не покидавшим нас до конца. Это был Михаил Филимонович Клименко, осужденный на поселение киевским военным судом в 80-м году и только-что благополучно бежавший из ссылки. Это был молодой человек 26 лет, бодрого, веселого нрава, с простым уживчивым характером и выдающеюся настойчивостью в работе. Для нас он был незаменимым товарищем не только по делу и работе, но и вообще в жизни, внося значительный интерес к своей личности в наше однотонное, изолированное существование. Клименко, как и мы, вынужден был не только ограничить, но и пре-

рвать свои отношения со всем окружающим, что требовалось правилами конспирации, и потому, приходя к нам на работу оставался с нами целые дни.

Перечисленные лица составляли всю рабочую группу нашего предприятия, причем главная часть работы падала на мужчин, но и женщины принимали в ней деятельное участие, поскольку им позволяло свободное время. Говоря вообще, каждый из нас стремился ухватить работы побольше, сделать все, что полагалось, как можно скорее, чтобы приняться за новое дело, не упуская старого, и в этом соревновании были одинаково настойчивы как мужчины, так и женщины.

Когда все устройство квартиры и лаборатории было закончено, Грачевский принес к нам все сохранившиеся запасы динамита, гремучего студня, гремучей ртути и пироксилина; кроме того, он доставил нам кое-какую литеретуру по пиротехнике и предложил мне ее проштудировать, прежде чем приступить к производству динамита непосредственно.

Еще до прибытия наших сотрудников Грачевский задал мне первую работу. Он указал мне все приемы слесарно-паяльного искусства, начертил план будущего снаряда, указал его преимущества и предоставил меня в дальнейшем моей собственной инициативе. Я немедленно принялся за эту новую для меня и потому интересную работу, и в ближайшие дни план Грачевского был осуществлен, и оболочка снаряда готова, что вызвало молчаливое одобрение Грачевского.

Снаряд будет иметь плоскую форму, слегка изогнутую по своей поперечной оси; его размеры приблизительно 25 *см* высоты, 16 *см* ширины и 6—7 *см* толщины; изогнутость снаряда даст возможность незаметно нести его подвешенным на груди под верхним платьем, для чего он снабжен специальным крючком. Работа с ним кончилась скорее, чем предполагал Грачевский, и потому надо было сейчас же приступить к изготовлению динамита для его наполнения, так как в запасе был только один гремучий студень в недостаточном количестве и черный динамит, непригодный для данного случая. Для этого были уже налицо все ингредиенты, а равно все приборы и необходимая посуда. Кое-какое знакомство теоретически было уже приобретено частью из руководств, частью из словесных указаний Грачевского, и еще до прихода Клименко я уже приступил к приготовлению нитроглицерина. Понемногу работа закипела при помощи наших женщин и под непосредственным руководством Грачевского. А когда появился на сцене Клименко, эта работа развернулась еще больше, и к изготовлению

снаряда присоединились все другие опыты из области пиротехники вообще... Во всех случаях мы пользовались практическими указаниями нашего руководителя и прибегали к его помощи всякий раз, как встречались с каким-либо затруднением.

Кустарное производство взрывчатых веществ было довольно затруднительно и чрезвычайно опасно. Оно требовало пристального, неослабевающего внимания, так как каждый раз могло грозить серьезными последствиями, иногда тяжелой катастрофой. Пока в квартире еще не накопилось большого количества взрывчатых веществ, серьезных последствий от ошибок или неосторожности еще не было,—мог произойти частичный взрыв небольшой части нитроглицерина, что было бы крайне неприятно, могло провалить все предприятие, но не вызвало бы тяжелой катастрофы. Но с переносом на нашу квартиру старых запасов взрывчатых веществ, оставшихся еще от 1 марта, с добавкою того, что было изготовлено нами, осторожность при работе нужно было довести до maximum'а, тем больше, что нам приходилось пользоваться самыми элементарными приспособлениями и приборами, не всегда обеспечивающими безопасность.

Работы начались с приготовления нитроглицерина. Первоначально смешивались между собой крепкие азотная и серная кислоты в надлежащих количествах; смесь охлаждалась до комнатной температуры, для чего или пользовались обкладыванием сосуда льдом, или просто ожидали ее естественного охлаждения. Затем в эту смесь кислот, во избежание сильного и быстрого повышения температуры, осторожно, по каплям и под контролем термометра приливался чистый глицерин, который и осаждался потом на дне сосуда в виде нитроглицерина. Так как повышение температуры при этой операции, часто внезапное, могло воспламенить уже образующийся нитроглицерин, необходимо было делать это осторожно, не спускать глаз с термометра, часто охлаждать смесь, обкладывая сосуды льдом, и терпеливо ожидать падения температуры до допустимого градуса. Когда в смеси нитроглицерин, как более тяжелое тело, оседал на дно сосудов, кислоты с него сливались, и нитроглицерин промывался водой до тех пор, пока он не давал нейтральной реакции по лакмусу. Эта продолжительная процедура, кроме неприятностей в виде атмосферы, насыщенной парами кислоты, и последующих головных болей, была чрезвычайно опасна: нитроглицерин мог легко взорваться не только от повышения температуры, но и от удара, падения и пр. Эта опасность удваивалась при последующей работе — просушивании, фильтрации и смешении его с индифферентыми

веществами (инфузорная земля, сурьма, кремнезем и пр.), чтобы получить динамит, вещество гораздо менее подвижное, а потому менее опасное, чем нитроглицерин. Это последнее производилось самым примитивным способом—небольшой деревянной лопаточкой и непосредственно руками. В дальнейшем надо было следить за нейтральностью и того и другого вещества, так как не вполне достаточная промывка нитроглицерина могла повлечь за собой новое окисление его и динамита, а следовательно, и самопроизвольный их взрыв.

Кроме этой основной работы нами было проделано много опытов в небольших масштабах с целью обучить будущих техников приготовлению гремучего студня, как менее опасного и более сильного, чем динамит, взрывчатого вещества, гремучей ртути и стопина. Обезжиренная гигроскопическая вата обрабатывалась азотной кислотой, от чего получался пироксилин, который и надо было растворить в нитроглицерине, чтобы получить гремучий студень. Процедуры этого приготовления были очень сложны и так же опасны, как и работы с динамитом. Но особую опасность представляло собой приготовление гремучей ртути, вещества, чрезвычайно легко взрывающегося от небольшого сравнительно удара и, главное, возбуждающего взрыв по соседству во всех других взрывчатых веществах, почему он и является необходимым элементом всякого запала, особенно при употреблении гремучего студня, который можно взорвать только при посредстве гремучей ртути.

При отсутствии охлаждающих и согревающих аппаратов наша кустарная мастерская была вынуждена в случаях необходимости прибегать к простейшим средствам: мы охлаждали, обкладывая сосуды льдом, а подогревали прямо на спиртовых лампочках, что само собой было далеко небезопасно.

7. Снаряд.—Несколько опасных эпизодов.—Заряжение снаряда.

Что касается до изготовленного нами снаряда, то схема его была такова: две запальные стеклянные трубки, наполненные крепкой серной кислотой и запаянные на обоих концах, с надетыми на них свинцовыми грузилами, обматывались нитями, густо обсыпанными стопином (смесь бертолетовой соли с сахаром и пр.); концы этих нитей закладывались в особый металлический пистон с гремучей ртутью, помещенный в центре снаряда в массе гремучего студня, которым, равно как и динамитом, наполнялись все пустоты снаряда. При переломе

стеклянных трубочек от тяжести грузил воспламенялся стопин (от соприкосновения с серной кислотой), и моментально передавал взрыв гремучей ртути, а через него и студню с динамитом.

Наш снаряд отличался от снарядов Кибальчича только своей изогнутой плоской формой, что обусловило вертикальное положение двух запальных трубочек, а не перекрещивающееся, как было у Кибальчича.

Расчет при этом был основан на том, что при ударе брошенного снаряда о твердое тело его стеклянные трубки переламывались; для этого свинцовые грузила по своей тяжести подбирались точно к толщине стеклянных трубок, а это достигалось тем, что такие трубки с грузилами разной тяжести в пустом снаряде бросались с высоты, пока не находилось желаемое соответствие между теми и другими, т.-е. пока стеклянные трубочки не переламывались очень легко.

Я предлагал Грачевскому небольшое усовершенствование запала, а именно всего одну, а не две трубочки, но зато соответственно изогнутую под прямыми углами, что обеспечивало бы перелом ее в каком бы положении ни упал снаряд. Но Грачевский не мог согласиться на это в виду недостатка времени, так как такое видоизменение потребовало бы продолжительного исследования.

Я не имею в виду описывать здесь более детально весь ход наших работ и, приближаясь к концу моего повествования, припомню лишь некоторые эпизоды нашей совместной жизни и работы.

Так, в одном случае промывка нитроглицерина, порученная Розе Львовне и Марии Александровне (Клименко в этот момент отсутствовал, а мы с Грачевским были заняты слесарной работой на кухне), шла не совсем благополучно. Процесс этот обычно производился в ванной комнате, где были два крана для теплой и холодной воды в любом количестве. Ванна наполовину или больше наполнялась водой, в нее спускались все кислоты, размешивались и в таком разведенном состоянии спускались по сточным трубам. Это повторялось несколько раз, при чем нитроглицерин оставался на дне сосудов, стоящих в ванне. На этот раз случилось так, что наши промывальщицы открыли оба крана и не заметили, что из одного из них идет горячая вода, нагревшаяся от кухонной топки. Благодаря этому и в связи с поднятием температуры от смешения кислот с водою, температура в ванне поднялась много выше допустимого градуса и угрожала взрывом нитроглицерина, что было бы равносильно катастрофе, так как в это время в квартире в

разных местах было уже около двух пудов, если не больше, взрывчатых веществ. Заметив, наконец, это, промывальщицы растерялись и, чтоб спасти положение, вызвали нас из кухни. Грачевский послал меня, и, придя в ванную комнату, я скоро понял, в чем дело, закрыл кран с горячей водой, начал выпускать воду из ванны и в сосуды с нитроглицерином набросал весь лед, какой только был у нас в запасе. Это скоро понизило температуру, и мы вздохнули свободнее, избежав несомненно серьезной опасности. Этот случай лишний раз указал нам, насколько было необходимо при нашей работе использовать все наше внимание и всю предусмотрительность.

В другой раз я был изумлен и испуган неожиданными результатами предпринятого мною опыта. По указанию Грачевского я должен был приготовить небольшое количество гремучей ртути. По неопытности я взял слишком большое количество сравнительно с приготовленной посудой раствора ртути и кислот. Притом же Михаил Федорович не предупредил меня о выделении при этой операции огромного количества удушливых газов, и я соединил свои растворы слишком быстро. В результате вся комната сразу наполнилась белыми парами, жидкости из стаканов разлились по столу, продолжая выделять из себя безостановочно все новые и новые клубы тех же паров; дышать стало невозможно, и я быстро раскрыл окна; но тут меня ожидала новая неприятность: белые пары с такой стремительностью стали вырываться в открытые окна целыми облаками, что легко могли обратить на себя внимание посторонних глаз. Я выскочил на улицу, чтобы посмотреть, насколько эта картина бросается в глаза прохожим и не произвела ли она уже какой-либо сенсации. К счастью, оказалось, что улица была совершенно пуста и, повидимому, никто не видал или не обратил внимания на неожиданный результат моего неудачного опыта. Из окон нашей лаборатории продолжали еще выходить белые облачка, но уже в значительно меньшем количестве; в квартире верхнего этажа окна были закрыты, и, следовательно, там наши удушливые газы также не были замечены и не могли туда проникнуть. Понемногу мы с Розой, с которой вдвоем только и были дома, успокоились и, поделившись пережитым волнением с Грачевским по его приходе, решили в следующих мало знакомых опытах быть осторожнее и пользоваться более детально указаниями нашего руководителя.

К концу мая месяца все мы стали замечать особенную озабоченность Грачевского: казалось, его гнетет какая-то неотвязная мысль; он стал еще менее разговорчив, тороплив и, кроме

того, на наш взгляд, он был серьезно болен; его руки временами дрожали, лицо покрывалось каплями пота, иногда, крайне утомленный, он как бы впадал в забытье. Тяжело было смотреть на этого сильного и стойкого человека, уже перенесшего такие бурные перипетии жизни, какие выпали на его долю, и сейчас молчаливо переносящего несомненно тяжелое заболевание. Но никто из нас и никогда не слыхал от него ни малейшей жалобы, а естественное желание с нашей стороны выказать ему сочувствие, если не помочь ему, отклонялось им систематически. Как раз в это время он был озабочен окончанием порученного ему Исполнительным Комитетом дела. В самом деле, работы лаборатории подходили к концу, оставалось только из заготовленного нитроглицерина сделать динамит, что не представляло затруднений и не требовало много времени; три готовые техника уже были налицо, и только оболочка снаряда все еще оставалась пуста, хотя материал для нее был уже наготове, да Судейкин продолжал еще жить и делать свое вредное дело. Михаил Федорович был озабочен выбором лица, которому можно было бы поручить исполнение приговора Комитета. Таких лиц было немного, и выбор Грачевского ни в каком случае нельзя было назвать удачным, как это будет видно из последующего.

Приблизительно 1 июня Грачевский поручил мне последнюю слесарную работу — крышку к снаряду с гнездами для стеклянных трубочек, играющих роль запала, и изготовление должной тяжести грузил, чтобы они изломали трубки при падении. Когда все это было готово, Грачевский самолично, не доверяя никому из нас, еще мало опытных техников, приступил к наполнению снаряда сперва гремучим студнем, а затем сухим динамитом, заполняя последним все пустые пространства, оставшиеся от первого. Работа эта была в высшей степени опасна. Стеклянные трубки, наполненные серной кислотой и обернутые стопином на нитках и в порошке вместе с грузилами на них, должны были быть вставлены в гнезда на дне снаряда прежде всего; притом же все время дальнейшей процедуры их нужно было держать в вертикальном положении, чтоб потом они не отошли от гнезд в крышке. Нужно было каждую секунду наблюдать, чтобы они не нагнулись в сторону, что легко могло их переломить, отчего неизбежно произошел бы взрыв; между тем упругий, как желатин или резина, гремучий студень никак не укладывался ровно, и поневоле его приходилось уминать руками, что было явной угрозой для целости запальных трубок.

Вся картина этого момента живо встает в моей памяти сейчас, как-будто все это происходило не дальше как вчера, а не 48 лет тому назад. Роза Львовна и Мария Александровна сидели в свободных позах на диване под большой картиной Зичи „Демон и Тамара“ и вели непринужденный разговор с Клименко или равнодушно посматривали на работу Грачевского; Клименко неподалеку от них сидел на стуле и развлекал наших дам; на мою долю выпала еще небольшая работа, и я, сидя за столом у окна, выковыривал из старого запала гремучую ртуть, которой нехватало для нашего снаряда; иногда мне приходил в это время в голову эпизод с Исаевым и его оторванными пальцами как раз при такой же точно работе; это соображение заставляло меня удвоить осторожность. Но центральной фигурой этой картины был сам Грачевский. Он сидел как раз против Розы и Юшковой у стены и сосредоточенно, молча делал свое дело; с его нахмуренного лица градом катился пот от тех усилий, какие ему приходилось преодолевать; не произнося ни слова, он то и дело брал что-либо из материалов, заранее приготовленных и принесенных из лаборатории (дело происходило в нашей общей зале — столовой) и тщательно, с сосредоточенным вниманием укладывал в снаряд. Эта работа тянулась более часа с непрестанным, пристальным вниманием Грачевского, с беспечным, хотя и не безучастным отношением к ней со стороны всех нас, как будто дело шло об обычных несложных и не очень опасных манипуляциях нашего обыкновенного рабочего дня.

Наконец, снаряд готов, к его крючку привязан шнур, заранее приготовленный, и он может быть пущен в дело. Грачевский встал со своего стула, расправил уставшую спину и сказал: „Готово, поздравляю!“ Но при этом он не преминул указать, насколько опасна была эта конченная теперь работа, в которой малейшее неосторожное движение могло вызвать тяжелую катастрофу. Нельзя было не удивляться полному спокойствию этого неутомимого, сильного и до последней капли крови преданного своему делу человека!

8. Неудача Грачевского. — Вещий сон. — Арест.

Вместе с нами немного подкрепив свои силы, Михаил Федорович забрал с собой готовый снаряд и уехал. На следующий день нужно было ожидать предполагаемого акта и действия нашего снаряда. Каково же было наше удивление, когда на следующий день, вместо ожидаемых слухов и толков, у нас

снова появился Грачевский, принесший с собой обратно и наш снаряд. Оказалось, что лицо, которому его должно было вручить, на заранее условленное место не явилось, чем и заставило Грачевского признать неудачу его предприятия. Лицо это, по собственному его признанию, была Пелагея Осмоловская, еще будучи в Москве, вступившая в сношения с Судейкиным, якобы с целью предать его затем в руки партии. Одно это обстоятельство должно бы было предостеречь Грачевского от выбора именно этого лица, несмотря на указания в том же смысле из других источников, но Грачевский так торопился привести к концу порученное ему дело, так был истомлен непосильной работой, так болен физически, что остановился на Осмоловской, не сомневаясь в ее верности и порядочности.

Тяжело было смотреть на разочарованного, почти убитого неудачей Грачевского, и надо было много усилий, чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от гнетущей мысли. Грачевский ушел, и в следующий раз мы встретились с ним уже на суде.

Только-что описанное происходило 4 июня. Нам оставалось в этот день закончить еще начатое в последние дни приготовление нитроглицерина. Нужно было отделить его от кислот и тщательно промыть, что производилось, как всегда, в ванной комнате. Этим усиленно были заняты мы с Клименко и закончили всю работу часам к 6—7 вечера. Следующий день, воскресенье, мы с женой решили посвятить посещению ее родных, как бы приехавши для этого свиданья из Ямбурга. Весь вечер у нас был свободен, и все мы вместе с Клименко решили мирно провести его за чайным столом. Но скоро я почувствовал страшную головную боль. Дело в том, что, работая с нитроглицерином, приходится очень часто прикасаться к нему руками, а иногда и прямо смачивать в нем пальцы. Это влечет за собой быстрое всасывание этого нервного яда, и как результат — сильные головные боли. Боли эти я испытывал почти каждый день, но никогда они не достигали такой силы, как в этот последний раз. Мне пришлось лечь в постель, и я тотчас же уснул и видел странный сон.

Мне снилось, что с черного хода к нам зашло несколько посторонних лиц и произвело какой-то непонятный переполох. Я как будто пытался их тщетно успокоить до тех пор, пока с парадного хода не раздался звонок, а следом за ним не ввалилась куча неизвестных людей, быстро рассыпавшихся по всей нашей квартире.

Мой сон, повидимому, только на меня произвел кое-какое впечатление, да и то недолговременное. Но несколько позднее пришлось признать, что он был, что называется, сном в руку.

Теперь выяснилось, что в течение трех месяцев все мы были под неуклонным надзором Судейкина и его клевретов, под надзором, установленным до тех пор небывалым способом. За нами не ходили шпионы, не подсматривали, за немногими исключениями, за каждым нашим шагом. Нет, все шпионы в костюмах околоточных надзирателей были расставлены на перекрестках и замечали каждого из нас, проходившего мимо них. Они отмечали в своих книжках, кто из нас и в каком направлении отправлялся, когда и с кем виделся и пр. При этом для каждого из нас было установлено у них особое наименование; напр., нас они знали как „василеостровских хозяев", Грачевского называли „фонарный", так как он жил на Фонарном переулке, Корба — „дровяная барышня" — она жила на Дровяной ул., и т. д. Такой надзор, не бросавшийся в глаза выслеживаемому, давал полную картину наших действий Судейкину. Но все это стало известно потом, после ареста, тогда же мы ходили впотьмах, уверенные, что о нашей конспиративной деятельности никто не догадывается.

Наступило утро 5 июня. Клименко накануне, часов около 12 ночи, ушел от нас, захвативши с собой письмо Юшковой, чтобы бросить его в почтовый ящик почти напротив нашей квартиры. У этого ящика он и был арестован. С утра мы с женой начали подготовляться к путешествию на Знаменскую улицу к родным. Полотеры явились еще с 9 часов утра и начали натирать полы во всех комнатах, кроме лаборатории, которая на этот случай плотно запиралась. Нечего и говорить, что полотеры эти, рекомендованные и приведенные к нам дворником, оказались тоже шпионами.

Только-что мы надели на себя верхнее платье, как с черного хода пришел старший дворник и сказал, что в кухне ожидает печник, с которым мы желали поговорить о переделке нашей печи, выходившей, как было сказано, наполовину в соседнюю квартиру.

Бросалась в глаза чрезвычайная бледность дворника, его некоторое волнение, что однакоже могло быть и следствием какой-нибудь болезни. Нам не оставалось ничего более, как переговорить с печником и как можно скорее от него отделаться. Пришел очень высокий и плотный, даже красивый человек, спросил, что мы желали бы сделать с печкой, на которую я ему указал, быстро повернулся и, сказав, что надо

осмотреть другие печи, прошел в другие комнаты. Я вспомнил, что в ванной комнате у нас оставлено все, что было сделано накануне, и боясь, чтоб печнику не вздумалось осмотреть и там печку, я быстро подошел к ее двери и стал ее запирать на замок.

В этот момент я почувствовал, что кто-то сзади схватил меня за руки и крепко держит. Слегка обернувшись, я увидел что это тот же quasi-печник. Решительно не предполагая ничего дурного даже в этот момент и думая, что человек этот по меньшей мере сошел с ума, я недоуменно повернул к нему голову с вопросом: „Что все это означает?“ — „Ничего, маленький арест!“ — отвечал он, и для меня все стало ясно. Через минуту он крикнул, обращаясь к полотерам и городовым: „Держите баб!“

Немедленно с черного хода появилось несколько человек жандармов, и вместе с полотерами они быстро схватили и держали за руки всех нас. Далеко, в глубине комнат — в нашей столовой, я видел Марию Александровну с широко раскрытыми, изумленными глазами на бледном лице в руках двух жандармов, и в дверях той же комнаты — Розу, как бы удерживаемую двумя дюжими парнями в ее порыве броситься в комнату, где сохранялись запасы динамита, нитроглицерина в большой бутыли и готовые снаряды. У нее было намерение продвинуться в эту комнату и разбить по крайней мере бутыль с нитроглицерином. По понятной причине ей этого не удалось. Теперь уже можно было впустить через парадную дверь в помещение весь полицейский генералитет, включая сюда и обычного эксперта по взрывчатым веществам — генерала Федорова. До этого момента весь генералитет, очевидно, стоял на лестнице; теперь же вся эта толпа после громкого дверного звонка ввалилась в нашу квартиру и рассыпалась по ней.

Итак, мой вещий сон накануне этого дня осуществился целиком.

Во все это время я стоял подле ванной комнаты с крепко скрученными руками между двумя жандармами. Вскоре после вторжения толпы в нашу квартиру меня с большими предосторожностями, со сжатыми, как в тисках, руками, свели вниз и усадили в карету. Выходя из квартиры, я успел крикнуть только два слова: „Прощай, Роза!“

Вслед за мной тем же порядком были отправлены и Роза с Юшковой.

В течение ночи были арестованы все причастные к нашему делу: Клименко, как сказано выше, у почтового ящика против

наших окон; Грачевский накануне вечером вышел из мастерской довольно рано, так как работы были кончены, а за новые решено было приняться через день-два отдыха, и ночью был арестован на своей квартире; Корба и Гринберг также были арестованы в эту ночь на их квартирах. Только нас они оставили до утра, предвидя серьезную опасность ночного ареста.

Всего в эту ночь было арестовано свыше 120 человек.

Так окончилось последнее предприятие Исполнительного Комитета партии „Народная Воля“ в Петербурге в 1882 году, наделавшее в свое время много шума и возбудившее еще больше неосновательных слухов. Говорилось о подготовлении взрыва всего дома с целью вооруженного сопротивления, о том, что вся квартира опутана проводами, соединенными с губительным материалом для взрыва на расстоянии, что заготовлено много бомб в разнообразных формах, и что достаточно нажать любую кнопку в квартире, чтобы взлетел на воздух и дом и квартира со всеми находящимися в ней чинами охраны, и много других сказок.

Впечатление действительной опасности всего этого эпизода пережил, кажется, один только человек — жилец того же дома, старый холостяк-чиновник, занимавший квартиру как раз над нашей мастерской. Он сейчас же после ареста, узнав, на каком вулкане, не подозревая того, он жил, немедленно съехал на другую квартиру, подальше от старой.

ГЛАВА III

ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КРЕПОСТЬ

1. В жандармском управлении.—Допросы.—Прокурор Добржинский.—Министр внутренних дел Д. Толстой.

Наша карета быстро примчала нас на угол Гороховой ул., где помещалось жандармское управление. За все это время дюжие руки жандармов не отпускали меня, быть может, предполагая, что мои карманы набиты динамитом. Затем меня ввели, все также крепко держа за руки, в большую канцелярскую комнату, тщательно обыскали и только теперь, убедившись, что со мной нет снаряда или револьвера, отпустили мои руки. Появились новые четыре жандарма с шашками наголо, и посреди них я торжественно прошел в предназначенную мне камеру.

Для нас было ясно, что наша песенка спета. Оставалось только недоумевать, что послужило поводом к нашему провалу, и в этом отношении мысль настойчиво останавливалась на тех трех моментах замеченной мной ранее слежки за Грачевским, о которых я говорил выше. Да приходилось еще глубоко сожалеть, что Грачевский с готовым снарядом не нашел на условленном месте Осмоловской, и акт, к которому мы готовились столько времени, не состоялся. Ведь положение было бы совсем иное, не случись этого, так как наш арест уже не мог бы помочь делу Судейкина, и ему не пришлось бы ожидать Конашевича и Стародворского.

Дальше следовали предварительные допросы, причем моими следователями были прокурор Добржинский и жандармский полковник Иванов. Они убеждали меня говорить всю правду, а мне решительно нечего было скрывать от них. Я рассказал им, как я почти единолично оборудовал нашу мастерскую, как

застилал пол нашей лаборатории, как приготовлял динамит и снаряд, и утверждал, что цель лаборатории была исключительно учебно-техническая. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз меня влекли четыре жандарма с оголенными шашками то к Добржинскому, то к Иванову, и каждый раз я возвращался в свою камеру с недоумением — чего они так долго не кончают с нашим, таким, очевидно, простым для следователей делом.

Я чувствовал, что где-нибудь неподалеку от меня, быть может, рядом со мной сидит Роза или Маша Юшкова, быть может, Грачевский, Клименко. Мне все казалось, что арест ограничился этой нашей группой и только. Я прислушивался к разговорам и шагам в коридоре, но услышать что-нибудь, так жадно ожидаемое, не пришлось. Очевидно, и их всех держали так же строго изолированно, как и меня.

На одном из допросов Добржинский показал мне массу фотографических карточек и предложил их пересмотреть.

— Вероятно, вы найдете здесь кого-либо из ваших знакомых, — говорил он и пристально всматривался в мое лицо.

Чувствуя это вполне определенно, я подобрал все свои силы, чтоб ни единым движением моего лица не указать Добржинскому, что встретил карточку кого-либо из известных мне лиц. И я знал, что мне это удалось в совершенстве. Я перебирал карточки в своих руках и только тут понял, какой грандиозный провал нашей организации учинил сорвавшийся с нашей бомбы Судейкин. Карточки Розы, Юшковой, Клименко, даже моя собственная, — это все уже не удивляло, но вот и Грачевский, и Корба, и Буцевич, и Луговский, и много, много других. На карточке Тихоцкого в костюме гусарского офицера я остановился и кинул Добржинскому:

— И гусарский офицер тут!

— Да, — отвечал он, — а вы его не знали?

Я отрицательно качнул головой. Карточка А. П. Корба с нарочито опущенными глазами привлекла мое внимание; мне хотелось всмотреться в это еще недавно знакомое лицо, и, чтоб обмануть Добржинского, я как можно равнодушнее сказал что-то насчет ее опущенных глаз.

— Не захотела смотреть прямо, — заявил Добржинский и дал мне возможность подольше вглядываться в фотографии ее и других.

— Так никого не узнаете? — спросил меня Добржинский, забирая все карточки.

— Напротив, — отвечал, — я знаю многих: вот моя жена, вот наша прислуга, Клименко, Грачевский. Больше мне никто неизвестен. С этими словами я вернулся в свою камеру.

Наконец, на один из последних допросов здесь меня привели совместно к Добржинскому и Иванову. Моя участь отчасти уже была предрешена, было составлено постановление следственной комиссии о привлечении меня к суду по 249 ст. и о заключении в крепость. Это постановление было мне предъявлено, в чем я должен был расписаться. Оно меня отнюдь не удивило, я был к нему уже достаточно подготовлен и потому отнесся к нему очень спокойно. Не заметив, чтоб факт этот произвел на меня какое-нибудь впечатление, Иванов спросил меня:

— Да вы знаете ли, что это за статья, по которой вас привлекают, и чем она грозит?

— Да, — отвечал я, — это смертная казнь.

Мои следователи пожали плечами и отпустили меня.

Прежде, чем рассказывать дальше, я остановлюсь на одном эпизоде, имевшем место в этот же период моего пребывания в жандармском управлении. Моя небольшая камера имела, как полагается, в дверях необходимый „глазок" для наблюдения за заключенным (так наз. „Иуда"). Особенно в первые дни после ареста к этому глазку постоянно кто-нибудь подходил помимо часового, обязанного часто в него заглядывать. Иногда подходило несколько человек, нередко слышно было, как обменивались эти люди нелестными впечатлениями от моей особы и т. д. Но однажды дверь моей камеры внезапно отворилась, и с возгласом: „Встаньте, милостивый государь!" — ко мне вошел, почти ворвался прокурор судебной палаты Муравьев во главе целой свиты, сопровождавшей какую-то высокопоставленную особу. О значении и имени этой особы тогда я не мог иметь никакого понятия, благодаря полной безгласности конвоя. Но потом много позднее, я узнал, что имел дело с недавно перед тем назначенным после гр. Игнатьева министром внутренних дел, известным ретроградом Д. А. Толстым; в этом убедили меня описания этого вельможи (кое-кому приходилось видеть его лично) и его портреты, попавшие мне в руки много времени спустя. Единственный вопрос, обращенный ко мне этим министром, был для меня совершенно неожиданным и казался совершенно ненужным, праздным. Очевидно, министру не о чем было со мной говорить, и он пришел сюда просто посмотреть на меня, как на какую-то диковину, так же точно, как смотрели на меня

разные любопытные люди, быть может, канцеляристы жандармского управления, в глазок моей двери. Любопытство, законное одинаково как для писца в канцелярии, так и для министра внутренних дел.

— Вы практиковали? — спросил он меня, у которого забрали конспиративную квартиру, на оборудование каковой надо было много времени, а я почти только-что окончил курс...

— Нет, — отвечал я, и на этом кончился наш короткий разговор.

Но впечатление на меня это посещение произвело очень неприятное. Не весело было находиться в положенйии какого-то диковинного зверя, запертого в клетку, на которого заглядываются праздно любопытствующие прохожие. Мне не удалось установить, заходил ли министр к кому-либо еще из заключенных в камеры жандармского управления, и я склонен был думать, что эта часть выпала исключительно мне одному. Словом, я был очень доволен, когда мне объявили, что я препровождаюсь в Петропавловскую крепость.

2. В крепости.—Жандарм Домашнев.—Приемка.—Обыск.

В один теплый, веселый солнечный летний день меня вывели на двор жандармского управления, снова усадили в карету рядом с жандармским офицером Домашневым, отныне ставшим надолго моим единственным знакомым, много раз ездившим со мною вперед и назад, и отправили в крепость. Я радовался свежему воздуху и с интересом оглядывал знакомые места города, по которым катилась наша карета с жандармом на козлах, как явным указанием, кого и куда препровождают. Офицер Домашнев, довольно добродушный старичок, оказался разговорчивым спутником. Он не препятствовал мне свободно смотреть в окна кареты на пробегающие перед моими глазами дома и улицы, на ясное небо, с редко пробегающими по нему облачками, на зеленую листву деревьев. Он же рассказал мне, какое преувеличенное впечатление в городе произвел арест нашей мастерской, как боялись приступить к нему, ожидая от нас сопротивления, какое огромное количество взрывчатых веществ было найдено у нас, как на взморье на дне реки все это было взорвано и как много при этом было оглушено рыбы.

— И как вам не страшно было заниматься таким опасным делом? — удивлялся Домашнев и тут-то и рассказал мне о чи-

новнике, жившем этажом выше нас и съехавшем с квартиры тотчас после нашего ареста.

Вообще, Домашнев как этот раз, так и в последующие при наших поездках, развлекал меня своими добродушными разговорами, а подчас неожиданно для себя сообщал мне кое-что и интересное.

Вот и Троицкий мост, а за ним и ворота крепости, всегда возбуждавшей в нас значительный и вполне понятный интерес. Но я заметил, что на этот раз Троицкий мост стоит не на своем обычном месте и ведет не на Малую Дворянскую улицу, а через Неву прямо к каким-то воротам крепости, выходящим на реку. Я издали осматривал мрачные окна крепостных ворот, расположенные в глубоких нишах крепостной стены и снабженные крепкими железными решетками. Я спрашивал себя — не это ли те казематы, в которых сидят наши товарищи, и не предстоит ли мне поселиться надолго у одного из таких окон. Но наша карета из ворот повернула налево и погрузилась в какие-то узкие переулки подле стены крепости, пока мы не доехали до решетчатого железного забора, средняя часть которого представляла собой ворота, запертые крепким, тяжелым замком.

Карета остановилась, мы с Домашневым вышли из нее, и почти тотчас же двери крепости раскрылись перед нами. Это был вход в Трубецкой бастион, так хорошо знакомый всем политическим заключенным, начиная с 70-х годов, а может быть, и раньше. Мы проходим мрачную комнату — кордегардию, наполненную конвойными солдатами; здесь одни меня, как вещь, сдают, другие принимают, и я чувствую, что больше я себе не принадлежу, что со мной могут сделать все, что захотят.

Довольно сумрачный, высокий офицер — смотритель бастиона Лесник, — приказывает отвести меня в камеру. Мы поднимаемся по лестнице и, пройдя два коридора в сопровождении жандармов и присяжного, останавливаемся перед одной из многочисленных, как две капли воды похожих друг на друга, дверей. Она с грохотом отворяется, и меня вводят в камеру, довольно большую, довольно темную, с высоко расположенным окном, со сводчатым потолком, с прикованными к полу кроватью и столом. Мне приказывают раздеться, что я делаю неохотно и не торопясь, все еще полагая, что и здесь останусь в своем платье. Но меня раздевают донага и подвергают тщательному обыску все мое тело. Ни одна часть, ни одно место его не остаются без осмотра, и грязные паль-

цы почти лезут мне прямо в лицо. Ничего отвратительнее этого я не испытывал до сих пор, никакие мои протесты и требования быть поприличнее ни к чему не ведут, — приходится подчиниться принятым здесь обычаям. Наконец, мне подают казенное белье, туфли и халат, и я остаюсь один в камере, предоставленный своим ощущениям.

3. Допросы. — Смотритель Лесник. — Свидание с женой. — Самочувствие.

Так началось мое почти годовое пребывание в Трубецком бастионе Петропавловской крепости — нудное, однообразное, молчаливое, без каких-либо внешних впечатлений, если не считать очень редкие выезды с офицером Домашневым на допросы в жандармское управление. Только через месяц или два после начала этого заключения я получил письмо от Розы Львовны и мог со своей стороны послать ей ответ. Это было для меня несказанной радостью как сейчас, так и в последующее время, скрашивающей мое однообразное существование.

Несколько стычек со смотрителем Лесником часто нервировали меня. Причиной их было или лишение меня книг по какому-либо ничтожному поводу в роде попытки перестукивания, или его грубые претензии и придирки из-за моих писем, которые ему казались ненужными или слишком обширными, и т. д. Но все это оканчивалось благополучно, и только один раз в виде репрессии он перевел меня в камеру нижнего этажа, сырую и темную, но и то сравнительно ненадолго.

Часть наших допросов и очных ставок производились в стенах крепости, наверху Екатерининской куртины, сколько можно сейчас сообразить. Так, однажды меня привели в большую невысокую комнату, окна которой выходили прямо на Неву против Зимнего дворца. Вскоре после того, как я пришел сюда, противоположная дверь открылась, и через нее ввалилась толпа, человек 20, околоточных надзирателей, пристально в меня вглядывающихся. Кто-то из присутствующего начальства спросил их, знают ли они меня, и все они единогласно заявили: „Да, это василеостровский хозяин!“ — Я понял, что это не были подлинные околоточные надзиратели; это были простые шпионы, нарядившиеся в полицейскую форму, чтоб легче было следить за нами, не бегая по нашим следам, а только отмечая в своих книжках каждый наш шаг и каждое движение. То была недурная выдумка Судейкина...

Несколько новых поездок на допросы к Добржинскому не могли прибавить ничего нового к моим первым показаниям, но на одном из таких допросов, приблизительно через 6—7 месяцев, я неожиданно получил свидание с Розой. Надо было видеть нашу обоюдную радость, и тщательно наблюдавший за нами Добржинский, вероятно, в предположении фиктивности нашего брака, должен был разочароваться. Еще долго после этого свидания я не мог успокоиться, и только новые письма жены привели меня в нормальное состояние.

Не помню, в какой период моего пребывания в Трубецком бастионе, к моему удивлению, меня вызвали на свидание с моим старшим братом, к этому времени заканчивавшим свою диссертацию на доктора медицины. Меня удивило это обстоятельство потому, что я никак не предполагал такой решимости и смелости у брата, обремененного семьей, по возрасту годившегося мне в отцы и очень мало меня знавшего. Впоследствии это объяснилось энергичным настоянием родных моей жены, всячески старавшихся мне доказать, что я не заброшен и не забыт всеми в моем узилище. Но свидание это произвело на меня очень тягостное впечатление, так как брат, видимо, был страшно потрясен и впечатлениями крепостной обстановки, и строгостями, сопровождавшими наше свидание, и видом окруженного жандармами заключенного. В результате мне же и пришлось успокаивать расстроенного брата и убеждать его, что я чувствую себя хорошо во всех отношениях.

За этими небольшими и редкими исключениями, однообразное пребывание в крепости тянулось день за днем без малейших изменений. Мои попытки к перестукиванию не увенчались успехом. С одной стороны, у меня соседа не было вовсе, а с другой, левой стороны сидел фейерверкер Иванов, с которым близкого знакомства у меня не состоялось, вероятно, из-за моей неловкости или из-за его подозрительности. Произошло это следующим образом. Вскоре после водворения в мою камеру я услыхал слева призывный стук, на который тотчас и отозвался. У нас произошел с Ивановым следующий диалог:

— Кто вы?

Соответственный ответ с той и другой стороны.

— За что арестован?— спрашивает Иванов.

Без обиняков и откровенно сообщаю: „за динамит“ и слышу в ответ что-то в роде: „эгэ-гэ!“— знаю, мол, вашего брата, и знакомство прервалось надолго, в сущности навсегда, ибо я был обижен и не стучал более, да и он, очевидно,

серьезно меня заподозрив, не возобновлял стука. Только впоследствии мы стали ежедневно утром здороваться с ним кратким приветом не словами, а какой-то музыкальной фразой, стуком, как на барабане. Так продолжалось до конца моего пребывания в крепости.

А время тянулось, отсчитываемое мною по надоедливому бою курантов Петропавловского собора, дни проходили за днями, и наше следствие, видимо, приближалось к концу. Я очень желал, чтобы этот момент наступил скорее, и не только потому, что хотелось узнать все подробности нашего дела в освещении обвинительной власти, причины ареста и пр., но и потому, что я стал себя чувствовать несовсем хорошо. Мой сон значительно нарушился, и подчас целые ночи я проводил без сна с открытыми глазами, прислушиваясь к таинственным шумам крепости. Помимо надоедливых курантов, я слышал временами то заглушенный крик ребенка, то тяжелые кошмары воображаемых соседей где-то далеко за стеной, то биение собственного сердца, громко отдававшееся в мрачной тишине моего одиночества. Сводчатый потолок камеры как бы всей тяжестью надвигался на меня, все меньше и меньше оставляя мне свободного пространства для движения и дыхания. Но полное сознание самого себя вполне никогда меня не покидало, а с величайшим трудом испрошенный прием брома у доктора Вильмса исправлял мое здоровье опять надолго.

4. Конец крепости. — Обвинительный акт. — Защитник.

Однажды я был вызван в ту же просторную залу, где меня предъявляли толпе околоточных-шпионов; на этот раз я нашел здесь целый ареопаг сановников, украшенных звездами и орденами. Тут мне объявили об окончании следствия по нашему делу, о предании меня суду и вручили мне обвинительный акт. Это меня очень порадовало, так как приближало меня к концу, все равно, дурному или хорошему. Я сразу почувствовал себя бодрым и свежим, воспрянул духом в надежде скорого свидания с близкими людьми и товарищами, у меня возрос интерес к предстоящему процессу и пр. К тому же, вскоре после изучения мною обвинительного акта, меня вызвали для знакомства и свидания с моим защитником. Таковым оказался известный в свое время профессор и адвокат В. Д. Спасович. Разговор у меня с ним не был продолжительным, но я никогда не забуду, как в простых, кратких

и теплых словах он старался меня ободрить, влить в меня побольше энергии и пр. Я был очень тронут его участием, хотя и совершенно не нуждался в ободрении и не испытывал недостатка бодрости и энергии.

В разговоре наедине со Спасовичем я попытался узнать, кто будет защищать других подсудимых, особенно Богдановича-Кобозева. Казалось, что защита именно его будет очень трудна и в то же время настолько интересна, что взяться за нее сможет только какое-нибудь светило адвокатуры. Но Спасович не мог сообщить мне ничего определенного, так как сам он только накануне узнал, что вступает в защиту на нашем процессе, и пока только очень поверхностно успел перелистать наше дело. Однако же, по его словам, в городе ходит слух, что в качестве защитника Богдановича предлагает свои услуги некто Николадзе. Я кое-что слыхал о Николадзе, как о литераторе-публицисте, но ничего не слышал о нем, как об адвокате. И Спасович, пожимая плечами, добавил, что Николадзе до сих пор ничем себя не проявил, кроме разве недавно напечатанной им статьи о Гамбетте, вызвавшей некоторый шум в печати; и он думает, что со стороны Николадзе это простая погоня за популярностью.

Все это привело меня в прекрасное настроение, и я желал только скорейшего начала суда и наискорейшего выхода из ненавистной крепости. Чтобы приблизить этот момент, особенно после свидания с матерью и сестрою Розы, навестившими меня в крепости, я надумал написать заявление прокурору судебной палаты с просьбой перед судом перевести меня в Дом предварительного заключения как можно раньше, мотивируя это желанием отдохнуть, прийти в себя перед началом процесса. Отчасти это было, кажется, принято во внимание, так как действительно я был вывезен из крепости в первой партии, следовательно, одним из первых.

Этот день — 24 марта — наконец наступил, и я с большим удовольствием оставил стены Трубецкого бастиона и, как оказалось, навсегда.

Режим Дома предварительного заключения, куда меня теперь поместили, был диаметрально противоположен крепостному; изоляция камер здесь была далеко несовершенна, и заключенные могли если не видеться между собой, что тоже иногда бывало, то, по крайней мере, свободно беседовать, не очень нарушая установленные для тюрьмы правила. Кроме того, нам, подсудимым, были предоставлены некоторые льготы, каковыми мы и пользовались во всей полноте. Так, нас не

стесняли в свиданиях, у меня были таковые и с Розой, и с ее родными, вместе и порознь, очень редко, правда, и с моим братом, еще остававшимся в Петербурге, и пр. Разумеется, это до такой степени сближало нас с жизнью на воле, что мы,— могу это сказать, по крайней мере, о себе,— забывали, что сидим в тюрьме в преддверии, вероятно, нелегкой кары для каждого из нас. Так быстро и почти незаметно прошли эти несколько дней, которые оставались нам до вызова на суд 28 марта 1883 года.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕСС СЕМНАДЦАТИ В 1883 ГОДУ

1. Дом предварительного заключения.—Значение процесса в ряду других процессов и его оценка.

— Пожалуйте!— сказал надзиратель Дома предварительного заключения, открыв дверь в мою камеру 4-й галлереи этой образцовой тюрьмы.

Нам всем уже было известно, что Особое присутствие Правительствующего сената скоро приступит к разбору нашего дела. Несколько дней тому назад всех нас, кроме женщин и Стефановича, привезли из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения, корпус которого был смежным с корпусом суда, и рассадили по разным камерам и галлереям. Здесь издавна существовал обычай переводить на время политического процесса всех его участников поближе к коридорам, ведущим в суд; при этом имелись в виду и большие удобства при постоянных передвижениях из тюрьмы в суд и обратно разом такого большого количества заключенных, и наименьший шум, обращающий на себя внимание и, естественно, возбуждающий товарищей подсудимых, и большая легкость сношений защиты со своими клиентами, и пр., а всем этим требованиям наиболее удовлетворял, конечно, ряд камер нижнего этажа Дома предварительного заключения.

Эта еще новая тогда тюрьма, построенная по западноевропейскому образцу, на меня, как, вероятно, и на других заключенных, производила впечатление гостиницы после девятимесячного пребывания в сырых и темных казематах Петропавловской крепости. Не даром малолетняя девочка, дочка нашего товарища по процессу Буцевича, когда приводили ее на свидание к отцу, говорила ему:

— В какой гадкой гостинице живешь ты, папа!

Бедному ребенку казалось плохой гостиницей то, что для ее отца было местом отдыха после крепостного сидения и что притом было для него последним отдыхом, как это оказалось впоследствии...

Раньше я говорил уже, что эти дни, оставшиеся до начала суда, изобиловали свиданиями обвиняемых с родными: очевидно, администрация сама бессознательно желала чем-нибудь скрасить их для заключенных, не без основания предполагая, что для большинства эти дни были последними днями пребывания в „первобытном“ (без лишения гражданских прав) состоянии, с некоторой возможностью общения с близкими людьми, а для некоторых — и последними днями жизни...

Имею основание делать такое предположение потому, что неоднократно и от самих представителей власти, и от близких людей на свиданиях, в свою очередь обменивавшихся впечатлениями о процессе с власть имеющими, слышал мнение, составившееся о подсудимых на основании знакомства с ними по делу и лично. Эта своего рода рекомендация процесса заключалась в том, что главное впечатление, производимое обвиняемыми, было впечатление людей с душой и сердцем, к которым ни в каком случае нельзя применить эпитетов кровожадности и зверства, какими обвинение пыталось наделить участников предшествовавших террористических процессов.

Говорили, что первый процесс (первомартовцев) отличался строгой выдержанностью типа террориста, пользующегося судом, как трибуной, чтобы осведомить общество возможно шире с альфой и омегой своего направления; представители его поражали своей убежденностью; процесс дал теоретиков партии „Народная Воля“, теоретиков террора в лице Желябова, Перовской, Кибальчича. Второй процесс („процесс 20-ти“) в 1882 г. выдвинул по преимуществу теоретиков и практиков партийной программы и организации в лице Ал. Михайлова и др.; третий же процесс („процесс 17-ти“), не блистая талантами теоретической обосновки и партийной организации, равно как и не имея задач, стоявших перед первомартовцами, знакомил публику, поскольку она имела возможность знакомиться с подсудимыми по сведениям, проникающим в нее через суд, защиту и родственников обвиняемых, с представителями террора как с людьми вообще (с террористом-человеком). Таково было общее мнение, глухо доходившее и до объектов его.

Не мне судить, насколько справедлива такая репутация процесса вообще, но должен сказать, что многое могло говорить в пользу такой его оценки.

Начать с того, что здесь был огромный процент женщин, подчас, помимо их воли, вносящих известную степень чувства и душевной мягкости в их отношения к окружающему; в самом деле, на 10 мужчин тут было 7 женщин, тогда как на предыдущем „процессе 20-ти" их было всего 3. Затем, настроение некоторых из подсудимых, как Корба и особенно Грачевского, было таково, что также располагало их, и без того людей в высшей степени сердечных, к особой душевной мягкости; причина такого настроения объясняется их страстным желанием, сколько возможно, понизить ответственность их более молодых товарищей, о чем эти последние не подозревали тогда. Наконец, обширный круг родных и знакомых некоторых из подсудимых, как Прибылева, Корба и Буцевич, сумел заинтересовать общество участниками этого процесса не только как представителями крайнего разрушительного направления, но и как людьми в широком смысле этого слова; с другой стороны, тем же порядком и с той же точки зрения неизбежно должны были познакомиться с ними и предержащие власти: и общество, и власти привыкли смотреть на подсудимых без особо предвзятой точки зрения, и, не усматривая со стороны их агрессивных попыток на следствии и суде, видели в них обыкновенных, даже очень симпатичных людей, волею исторических судеб попавших на скамью подсудимых. Кроме того, Юрий Богданович — участник подкопа на Малой Садовой, хозяин знаменитой сырной лавки Кобозевых — придавал своеобразный колорит всему процессу, возбуждая интерес и внимание общества и отвечая на них присущей ему корректностью поведения, мягкостью своего характера и всегда окружающими его симпатиями со стороны лиц, входящих с ним в сношения.

Наконец, своеобразный интерес возбуждал еще один наш сопроцессник — Я. В. Стефанович. В 1877 г. он был организатором, при посредстве подложной золотой царской грамоты, известного чигиринского восстания, после чего до суда успел скрыться из тюрьмы при помощи подставного тюремного надзирателя (М. Ф. Фроленко) и до последнего времени стоял в рядах партии „Черный Передел". Его недавнее появление среди народовольцев для мало посвященной партийной публики должно было вызвать толки, не всегда клонящиеся в его пользу. Теперь его участие в процессе на суде

возбуждало значительный интерес — как старого бунтаря со своеобразным закалом и тактикой, не разделяемой современной революционной средой, и как недавнего пришельца в „Нар. Волю“, как будто из другого мира, бывшего ее врага и противника. К тому же всем нам тотчас же стало известно, что все месяцы предварительного заключения он содержался не в Петропавловской крепости, как другие, а при каких-то особых условиях, при Департаменте полиции.

Но важнее всего, конечно, то, что процесс 17-ти был поставлен в разбираемом отношении в исключительное положение. С одной стороны, идея террора и программа партии были достаточно выяснены на предыдущих процессах, почему главари процесса 17-ти могли касаться их в гораздо меньшей степени; с другой стороны, процесс этот не мог выставить выдающихся ораторов, которые бы легко справились с этой задачей. Таким образом на долю участников процесса 1 марта и „20-ти“ в 1882 г. выпало скрыть, замаскировать все свои душевные качества, всю силу их любви к человечеству, всю степень самопожертвования, какими обычно отличались видные революционеры того времени, и выступить перед обществом с грозной проповедью террора, оправдать его в самом крайнем его проявлении. Задача неблагодарная для деятелей этих процессов, но выполненная ими блистательно, с полным самозабвением. В совершенно противоположных, но и несравненно более выгодных для себя условиях оказались участники процесса 17-ти. Они могли быть самими собою несравненно больше, чем это можно было сделать их товарищам в предыдущих процессах. И в этом лежит корень впечатления, производимого ими на окружающих. Как бы то ни было, вырисовавшийся таким образом характер подсудимых — главных лиц всей судебной драмы, проходящей перед глазами русского общества — обусловливал и их поведение на суде, которое в общем было вполне корректно, даже мягко, и поражало отсутствием всякого задора и, мне хочется сказать, как бы носило на себе отпечаток тона знаменитого письма Исполнительного Комитета к императору Александру III после 1 марта 1881 г.

К сожалению, не совсем так было понято дело товарищами на воле, и особенно за границей, как стало нам известно много позднее. В вышедшем после нашего процесса первом номере „Вестника Народной Воли“ был брошен упрек главным подсудимым процесса 17-ти в „неискренности и политиканстве“, хотя и в „интересах общественной пользы“. Насколько была

неправа при этом редакция „Вестника“, прекрасно разобрано и доказано в заметке одной из подсудимых на страницах „Былого“[1]. К ней следует только добавить, что одновременно с подсудимыми в тюрьме содержались и другие заключенные, к которым, быть может, должен был быть обращен вышеуказанный упрек. И в самом деле, сидевшая в это время в Доме предварительного заключения О. Любатович, напр., по ее собственным словам, входила в какие-то переговоры с власть имущими[2] об условиях временного прекращения центрального террора. И упрек „Вестника“, таким образом, был обращен не по надлежащему адресу и совершенно напрасно порочил наших сопроцессников, своей тяжелой судьбой и скорой смертью, как увидим ниже, доказавших верность своим убеждениям[3].

---

[1] „Былое“ за 1906, № 12, стр. 249. „По поводу процесса 17-ти лиц“ А. П. Корба и в ее книге: „Нар. Воля“, изд. 1926 г., стр. 12. В первом случае редакция сопроводила статью еще своим очень интересным предисловием перед напечатанием речей подсудимых, в котором заявляет, что источником этой заметки является Дегаев, ездивший тогда за границу и сообщивший в редакцию сведения в том освещении, какое было желательно для Судейкина.

[2] О. Любатович. „Далекое и недавнее“.— Былое.

[3] Здесь хотелось бы сделать несколько выдержек из одного письма, по цензурным условиям не попавшего на страницы „Былого“ в 1906 и 1907 гг.

„Как ни чудовищна мысль, что существует какое-то зловещее предубеждение против процесса 17-ти, приходится браться за перо, чтобы обелить память людей, сложивших свою голову за дорогое всем нам дело, за приближение революции в России“. Начав так свое письмо, неизвестный автор далее кратко выясняет условия, в каких проходил процесс, и следующим образом характеризует подсудимых: „кого же имеет в виду пущенная на ветер клевета?“ — спрашивает он и отвечает: „Богдановича-Кобозева, много раз глядевшего смерти в глаза; Грачевского, впоследствии сжегшего себя заживо в Шлиссельбургской крепости, чтобы улучшить положение своих товарищей; Теллалова, речи которого зажигали энтузиазмом сердца молодежи; Буцевича, пожертвовавшего блестящей карьерой, чтобы стать народовольцем; С. Златопольского, неустанного работника революции“ и т. д. И автор так заканчивает свое письмо:

„Товарищи! Политические процессы в России проходят тайно, при закрытых дверях. Так судили обвиняемых по процессу 17-ти, и вы поверили непонятной клевете, пущенной бог знает кем! Если бы вы были сами свидетелями процесса, вы бы восхищались мужеством, убежденностью и стойкостью 17-ти человек; прощаясь с осужденными, вы оплакивали бы их гибель, как делали это немногие видевшие подсудимых в эти дни, и вместе с защитником подсудимых вы сказали бы им: — Ваш процесс имеет громадную нравственную силу, и значение его трудно измерить! С своей стороны я убежден, что осужденные по процессу 17-ти принадлежат к числу тех людей, с исчезновением которых „в России исчезает совесть“, как выражались в России в половине 80-х годов“.

2. Посещение подсудимых защитой и прокуратурой. — Значение суда для подсудимых. — Внимание и попечение родных.

Друг о друге мы знали мало в дни, предшествовавшие суду; только женщины были в более счастливых условиях, так как могли сноситься между собою путем летучей почты; режим их содержания был несколько слабее. Впрочем, и нам удавалось узнать кое-что друг о друге благодаря значительным послаблениям обычных тюремных строгостей, что объяснялось тоже приближением суда.

В камеры часто заходили побеседовать с обвиняемыми и защитники, и чины тюремного ведомства, и сама прокуратура даже, в лице, напр., тов. прокурора при Доме предварительного заключения, барона Рауша. Помню, как однажды внезапно отворилась дверь моей камеры, и в нее прошел, окруженный соответственной свитой, сам прокурор судебной палаты, будущий министр юстиции — Муравьев. Не знаю, что побудило его посетить меня в моем уединении, и мне не удалось установить, посещал ли он также других товарищей или сделал это исключение только для моей особы. Как бы то ни было, для меня было ясно, что прокурор судебной палаты или делает это, исполняя свою обязанность, как шаблон, или его загнало в наши камеры праздное любопытство. Это было очевидно уже по одному тому, что, как оказалось, ему ничего от меня не нужно было. Он обратился ко мне с фразой и предложением, показавшимися мне совершенно ненужными.

„Прошу вас, — сказал он, — употребить все меры к тому, чтобы на суде не было слез. Лучше я разрешу столько свиданий, сколько вы хотите, но необходимо, чтобы суд прошел без такого рода сцен“.

Я пожал плечами и дал понять прокурору, что меня удивляет его предположение, что, кажется, я плакать не собираюсь и что дело, надеюсь, пройдет гладко, без каких-либо экстраординарных мер. Фраза, очевидно, относилась к родным, часть женского элемента которых усиленно хлопотала о разрешении присутствовать на заседаниях суда, где можно было ожидать довольно трагических сцен.

С прокурором судебной палаты мы все же были старые знакомые. Впервые я видел его, когда просил разрешения на свидание с одним из товарищей, случайно, — как Эзоп, шедший в баню и попавший в „классический“ участок, — оказавшимся в Доме предварительного заключения. Это было в 1881 году.

Второй раз я видел его, когда он приводил в мою камеру немедленно после нашего ареста министра внутренних дел Толстого, видимо, очень любопытствовавшего посмотреть на нас, как это рассказано мною раньше.

Самый процесс представлял для нас огромный интерес. Я нисколько не ошибусь, если скажу, что большинство его участников жило только надеждой скорее появиться на скамье подсудимых. Не говоря уже о том, что многие должны были интересоваться окончательным выяснением своей доли, для каждого создавалось такое положение, что период суда должен быть наилучшим периодом всей оставшейся ему жизни, для многих — интереснейшим моментом из всего, что осталось еще пережить.

Лично мне как-то не приходилось уделять много времени на думы о предстоящей участи. Не то, чтобы я отклонял от себе мысль о смерти, которая, разумеется, не могла быть мне в моем положении желательной, и не то, чтобы я серьезно верил, что в данный момент избегну таковой... нет — просто как-то не хотелось думать о том, что будет в более или менее близком будущем, что отвратить было не в моих силах, и все внимание сосредоточивалось на текущих моментах. Когда мой защитник, посещая меня и не слыша с моей стороны вопросов, относящихся к предстоящей мне участи, сам заговаривал, что я не так засел, как тот или другой из моих товарищей по делу, очевидно, желая показать этим, что на мою долю должна выпасть меньшая степень взыскания, я как-то пропускал это соображение мимо ушей и быстро переводил разговор на другие темы, более меня интересовавшие. Но мало-по-малу для меня все же стало очевидным, что мне грозит, быть может, наименьшая кара среди всех участников процесса, и потому мысль о тех, кому не избежать сурового приговора, все больше и больше укреплялась в голове, и становилось больно и как-то стыдно, что, находясь в данный момент в одинаковых условиях, я не буду иметь чести итти с ними до конца и вынужден отдалиться от них, так сказать, вправо.

Хотелось бы сделать их менее виновными, хотелось, чтобы они стали в такое положение, в каком были мы, чтобы им не грозил, по крайней мере, смертный приговор... Но сделать это было не в наших силах, и душа не переставала болеть за тех, участь которых была предрешена и представлялась ужасною... Душевное настроение временами делалось мрачным, тогда его не в силах был разогнать интерес к предстоящему

появлению на суде. Такое настроение поддерживалось, вероятно, и тяжестью предшествовавшего тюремного содержания (а оно могло быть и еще хуже!), которое многим заключенным уже тогда подорвало силы и здоровье, о чем в общих чертах друг о друге мы были осведомлены...

Наши родные и знакомые с воли не переставали оказывать нам всевозможные знаки внимания, и это трогало нас до глубины души. Чего-чего не приносили они нам, чем не баловали заключенных! Казалось, не было, не могло существовать препятствий к исполнению малейшего, едва выраженного нами желания. Приходилось быть осторожным на свидании и следить за собой, чтобы не прорвалось какое-нибудь неловкое слово, которое бы можно истолковать как желание, а тогда каково бы оно ни было, оно будет приведено в исполнение. Но, к сожалению, даже и в этом отношении не все мы были в одинаковых условиях. Кое-кто из нас и вовсе не имел близких людей, которые могли бы о них позаботиться и иногда побаловать их, что всегда необыкновенно ценится заключенными и доставляет им много невинного удовольствия и радости. Как могли, мы исправляли эту несправедливость в неравномерности распределения благ и завели для этой цели внутренние передачи, поскольку позволял это тюремный режим.

Итак, немногие дни, оставшиеся нам до начала суда, прошли незаметно, быстро, наполненные свиданиями, разговорами, расспросами о ходе жизни за последние месяцы и даже за целый год, когда все мы были оторваны от нее так основательно. А жизнь за это время шла своим чередом, совершался обычный круговорот событий крупных и мелких, в котором мы уже не могли участвовать и о котором узнавали с огромным интересом, как о чем-то от нас далеком, бесконечно далеком

3. Начало и обстановка суда.—Истомленный вид подсудимых.—Грачевский и его навязчивая идея.—Общение подсудимых.

Наступил, наконец, и день суда. Это было 28 марта 1883 г. С утра загромыхали двери соседних камер. Этот шум то приближался, то удалялся. Очевидно, подсудимых выводили не по порядку камер, а по какому-то особенному выбору. Дошла очередь и до меня. Опять любезное приглашение — „Пожалуйте!“,— и я отправился в сопровождении двух надзирателей.

В среднем нижнем коридоре Дома предварительного заключения, между мужским и женским отделениями, каждый из нас находил неожиданную по оживлению картину. Вдоль всего коридора расставлены жандармы в полном вооружении, с шашками наголо, между ними подсудимые; каждый из этих последних находился между жандармами справа и слева.

Я видел тут незнакомых еще мне москвичей: Калюжного, Теллалова, Борейшу и др. и наших петербургских деятелей: Златопольского, Грачевского, Богдановича и т. д. По коридору свободно ходили только чины тюремной администрации, офицер, командовавший жандармами, и несколько защитников, участвовавших в процессе и спустившихся из залы суда, чтобы еще раз повидаться перед разбором дела со своими клиентами.

Из них я невольно обратил внимание на молодого, очень подвижного, с небольшой черноватой бородой человека, сочувственно посматривавшего на подсудимых, как бы желавшего их ободрить. То был, как я узнал вскоре, симпатичный Ев. Ив. Кедрин, бывший защитником А. Д. Михайлова в предыдущем процессе и защищавший теперь Буцевича; был тут же Холева, совсем молодой человек с видом студента, и высокий с импозантной фигурой, бритый Карабчевский, будущая знаменитость в Петербурге.

Разговоров, кроме мелких, отрывочных фраз, не было; очевидно, по обычаям тюрьмы этого не полагалось. Следом за мной из женского отделения были выведены моя жена, Гринберг, Корба, и каждая была поставлена на соответственное место между двух жандармов. Скоро раздалась команда: „Направо кругом!“ — и вся колонна стражи сделала полоборота направо, лицом к двери, ведущей в глубь здания. Нам оставалось последовать их примеру. Офицер нашел необходимым сделать громкое предупреждение конвою, в действительности, имевшее в виду подсудимых:

„Заложить патроны, держать оружие на-готове!“ — кажется, сказал он, обращаясь к своей команде.

— Ого! — раздалось со стороны конвоируемых. Было ясно, что предупреждение дошло по своему адресу.

„Шагом марш!“ — и процессия двинулась длинной, извивающейся лентой по узким, часто темным коридорам, то поднимаясь, то иногда спускаясь на несколько ступенек. Во главе ее шла Корба, а замыкал ее Борейша. Подсудимые были расставлены в таком порядке, в каком им предназначено было сидеть на скамьях, при чем сперва заполнялась нижняя скамья

а затем верхняя. Часть конвоировавших жандармов расположилась сбоку скамей.

Порядок, в котором разместили подсудимых в первый день, сохранялся до конца суда, вплоть до прочтения приговора в окончательной форме. На (первой) нижней скамье, считая от стола Присутствия, сидели: Корба, Лисовская, Смирницкая, Гринберг, Прибылева, я и Буцевич; на (второй верхней) скамье порядок был следующий: Богданович, Грачевский, Ивановская, Златопольский, Стефанович, Теллалов, Калюжный, Клименко, Юшкова и Борейша. Впереди подсудимых расположились их защитники: Стасов, Еше, Королев, Андреевский, Грацианский, Александров, Кедрин, Карабчевский, Холева, Спасович и Гросман[1]. Сенаторы, составлявшие суд, с первоприсутствующим Синеоковым-Андриевским во главе, сидели за левой половиной, а сословные представители за правой, ближайшей к подсудимым половиною стола Присутствия; здесь же на конце приютился секретарь суда, а против подсудимых и защиты через всю залу за отдельным столом восседал грозный прокурор Желиховский, уже знаменитый обвинитель по процессу 193-х, и его помощник, товарищ прокурора Островский. Перед столом Присутствия на отдельном небольшом столике лежали все вещественные доказательства, которых было не бог весть как много, а сзади Присутствия на особых креслах восседали заинтересованные ходом дела высшие чины юстиции — тогдашний министр Набоков, прокурор палаты Муравьев и пр. Если к сказанному прибавить, что скамьи, предназначенные для публики, были почти совершенно пусты и кой-где сидели лишь лица, так или иначе причастные к судебному миру — судебные пристава, полиция, чины охраны и пр. (исключение было сделано для матерей Буцевича и Прибылевой, которые, действительно, присутствовали на многих заседаниях), то описание внешней обстановки суда, вероятно, одинаковой для всех процессов этого рода, будет исчерпано.

Мрачная торжественность, написанная на лицах „высокого" суда, призванного произнести непререкаемый и суровый приговор, заранее предрешенный; несколько деланная суровость и враждебность лиц прокуратуры, озабоченной предстоящей

---

[1] Стасов — защитник Грачевского, Полетаев — Клименко, Еше — Корба, Королев и Александров — Богдановича (речь произносил первый, так как Александов был занят другим процессом), Андреевский — Калюжного, Грацианский — Златопольского и Гринберг, Кедрин — Буцевича и Стефановича, Карабчевский — Юшковой, Холева — Ивановской, Спасович — Прибылевых, Гросман, брат подсудимой,— Прибылевой. Теллалов, Лисовская, Смирницкая и Борейша были без защитников.

задачей обвинить во что бы то ни стало, и полное равнодушие, маска бессердечия, индиферентизма, я сказал бы, животная тупость выражения лиц, непричастных к делу (чинов полиции, охраны и лиц за столом Присутствия), — плохо гармонировали с оживленными, веселыми, обрадованными свиданием с товирищами лицами подсудимых. Лица подсудимых хранили, правда, черты болезненности и истощения — результат физических и нравственных лишений за время предварительного заключения, но они были жизнерадостны, и сказывающееся в этом душевное состояние, видимо, передавалось защите, которая, несомненно, вся относилась к подсудимым вполне сочувственно.

А многие из последних производили тягостное впечатление. Златопольский, прежде всегда живой, здоровый и сильный, поражал необычайной для него полнотой, одутловатостью и бледностью лица, что заставляло предполагать начало ненормальности работы сердца; его голос сделался необыкновенно тихим, едва слышным и в то же время хриплым, резким. Клименко, много перенесший уже на своем непродолжительном веку, сохранивший и здесь остатки своей спокойной жизнерадостности, которой отличался и подкупал еще так недавно, накануне ареста, теперь был страшно истощен, сильно похудел и, видимо, много страдал. Бедняга Клименко, благодаря своей приобретенной в крепости болезни (дизентерия), был вынужден пропускать заседания суда, что, конечно, для него было очень тяжело. Своей худобой и истощением поражало большинство подсудимых — и особенно Богданович, Калюжный, Борейша, Теллалов, Смирницкая, Лисовская. На лице Грачевского, кроме того, была написана мука душевная, тяжесть которой в таких сильных характером и волей людях тем больнее поражает окружающих. Он страдал, приписывая себе одному гибель своих более молодых товарищей, судьбою которых и был озабочен.

Как мы узнали много позднее, Грачевский прибегал ко всевозможным мерам для того, чтобы сколько-нибудь облегчить положение своих молодых сотрудников, смягчить грозящую им кару. С этой целью он условливался с А. П. Корба вести защиту таким образом, чтобы по возможности вся ответственность за последнее дело (мастерская взрывчатых веществ) пала на его голову; от защитников, своего и Прибылевых, он требовал не защиты его самого, а возможного облегчения участи товарищей, связанных с ним в самое последнее время.

Как свидетельствует А. П. Корба, при первой встрече ее с Грачевским (еще в коридорах тюрьмы) она спросила его,

не думает ли он, что провал 5 июня был результатом предательства N N. На это Грачевский ответил ей, что теперь не время думать об этом, а надо употребить все меры к спасению наших молодых товарищей.

Если принять во внимание, как тяжело переживал Грачевский гибель своих друзей, как тепло, сердечно, почти до боли вспоминал он тех, кто погиб уже из стоявших ранее на одном с ним посту, можно представить себе, каких душевных мук стоило ему теперь сознание предстоящей недавним молодым товарищам гибели, что, конечно, вполне ошибочно он приписывал своей вине. Тем тяжелее было видеть, что теперешнее состояние Грачевского было контрастом с тем сильным, мужественным и стойким Грачевским, каким он был тоже еще так недавно, перед арестом. Женщины сохранились лучше, — они содержались в Доме предварительного заключения. Не производил особо болезненного впечатления Стефанович, который свое предварительное заключение, как сказано выше, отбывал при Департаменте полиции.

Немедленно по приводе в залу суда начались разговоры подсудимых и знакомства между теми, кто впервые встретился здесь (москвичи — петербуржцы). Потребность обменяться мыслями с товарищами-братьями не только по предстоящей участи, но особенно по убеждениям и единомыслию, вслед за продолжительным одиночным заключением была настолько велика и естественна, что было бы странно, если бы она не проявилась, даже вопрёки прямому запрещению суда, даже с риском на репрессии. Это, очевидно, понимала судебная администрация и, сколько помню, ни разу формально не ставила препятствия такому естественному и неизбежному общению подсудимых, сидящих бок-о-бок друг с другом. Только один раз за все дни суда было выражено желание, чтобы подсудимые разговаривали меньше, так как это мешало самому производству дела, но и это заявление было сделано не официально, а или через посредство защиты, или иным каким-то путем. Этим разговорам, этому общению, обмену мыслями все предавались так страстно, что нередко пропускали очень важные моменты делопроизводства, чего иногда было уже невозможно и поправить. К тому же все подсудимые (кроме Грачевского и Клименко) были совершенные новички в судебных разбирательствах, не знали, что и в какие моменты полагалось заявлять суду, не умели использовать данные судебного производства в интересах ли защиты или в интересах большего освещения партийной и своей собственной индивидуальности.

Так, в последние дни процесса нередко спрашивали друг друга, почему не сказано то или другое, не очерчена та или другая сторона деятельности или факта. Но необходимо добавить также, что этим недочетам много помогало и общее равнодушие к окончательному решению суда, которое казалось и предрешенным, и неизбежным...

Усиленные беседы вполголоса начались с первого момента вступления в зал судебного заседания. Чтение обвинительного акта, уже известного нам во всех деталях, давало возможность переговариваться беспрерывно; дальнейший ход разбирательства прерывал разговоры только в интересные для всех моменты — во время речей и объяснений подсудимых, речей защиты, почему-либо интересных допросов свидетелей, экспертов и пр., — и, само собой разумеется, эти разговоры заметно утихли к последним моментам процесса, занятым „последним словом“ подсудимых и ожиданием вердикта суда.

4. Клименко и его предупреждение. — Защитник Александров и прокурор. — Калюжный и его характеристика.

Дни суда были богаты инцидентами, привлекавшими к себе всеобщее внимание. Одни из них отличались своею серьезностью, даже не были лишены некоторого трагизма, иные были комичны. Так, на второй день суда Клименко обратился поочередно ко всем товарищам с предупреждением, что ему, как бежавшему из Сибири, и уже ранее того лишенному „всех прав состояния“[1], кроме общего приговора, будет назначено наказание плетьми, но что эта прибавка к приговору есть простая формальность и потому он просит товарищей не придавать ей никакого значения и по поводу ее не волноваться и не беспокоиться. Это предупреждение было принято с суровым молчанием, но можно себе представить, какое впечатление могло произвести оно! Это было напоминание, что скоро, очень скоро каждый из подсудимых окажется лишенным своей воли и же-

---

[1] Клименко судился в 1880 г. в Киеве, по приговору военно-окружного суда был сослан с лишением прав на поселение, откуда бежал в 1881 году. Явившись в распоряжение Исполнительного Комитета, он первоначально был отправлен в Одессу почти одновременно с Халтуриным и Желваковым для организации покушения на прокурора Стрельникова. Это задание Клименко выполнил с успехом (помогал при покупке лошади и дрожек, подыскивал квартиру, снаряжал Халтурина и пр.) и затем, выехав в Петербург, был прикомандирован к мастерской взрывчатых веществ и снарядов, где и работал вместе с другими вплоть до ареста.

лания, будет на положении простой вещи и даже хуже,—в положении вьючного и безответного животного, которое все чувствует и которое могут погонять, бить и даже наказывать плетьми и розгой! Ведь никто из нас не был знаком сколько-нибудь детально с положением, к которому все мы шли неизбежно, и конечно, чрезвычайно многое, связанное с „лишением прав“, должно было нас поразить, как оно и оказалось впоследствии. Да, это предупреждение Клименко произвело удручающее впечатление, и нельзя сказать, чтобы оно было излишне, некстати!..

Среди свидетелей был некто Родзевич. Он, кажется, был выставлен обвинением для доказательства виновности Лисовской.

Это был молодой человек, с крайне несимпатичными навыкате глазами и с печатью Каина на лице и на всей приниженной и боязливой фигуре. Было известно, что Родзевич когда-то, еще не так давно, участвовал в мелких революционных кружках Западного края, но что в настоящее время он чуть ли не состоит на жалованьи у Охранного отделения. Поэтому было естественно, что жандармское управление, а за ним и наш „высокий“ суд, видимо, старались затемнить его биографию, несмотря на усилия Лисовской обнаружить ее во всей прелести, с целью указать, какими свидетелями не брезгует обвинение. Буцевич несколько знал Родзевича, и ему захотелось помочь Лисовской. С этой целью он вмешался в допрос свидетеля и рассказал, что Родзевич, как ему положительно известно, жил у своего дяди, пастора, на полном готовом содержании, ни в чем, следовательно, не нуждаясь, и в то же время не гнушался пользоваться, как неимущий, деньгами из грошовых сумм революционного кружка, в котором числился членом. Буцевич, сам идеально чистый человек, полагал, очевидно, что такая характеристика свидетеля совершенно уронит достоверность его показаний в глазах суда; но суд не понял чистоты намерений Буцевича и с недоумением спрашивал его, зачем он это говорит. Буцевич первоначально затруднялся ответом, но потом громко заявил, что говорит это в интересах истины. Это оригинальное qui pro quo на секунду развеселило всех.

Среди наших защитников был Александров, получивший известность защитой Веры Засулич после ее выстрела в генерала Трепова, когда она была судом оправдана. Александров был некогда сам прокурором, сменившим роль обвинителя на роль защитника, и потому, быть может, хорошо зная прокуратуру, не отличался особым уважением к ее представителям. Однажды в процессе пререканий прокурора и защиты по поводу

ссылки на одно из старых показаний кого-то из свидетелей, нежелательных для защиты, председатель обратился к прокурору Желиховскому, имеет ли он что-нибудь против отклонения этих показаний. Прокурор вынужден был заявить, что он ничего не имеет против этого. На это Александров довольно громко, но как бы в сторону сказал:

— Еще бы имел что-нибудь этот мерзавец!

Нам казалось, что суд и сам прокурор должны были слышать эту резкую реплику, но никто не поднял голоса по этому поводу, и все прошло благополучно, отчасти позабавив нас.

В числе свидетелей обвинения был хозяин моей студенческой квартиры, Аркадий Петрович (к сожалению, не помню его фамилию). Очевидно, он должен был доказать суду, что нередко видал у меня в квартире кое-кого из подсудимых и особенно часто Хр. Гринберг. Для суда, видимо, не очень было важно, чтоб этот факт был подтвержден и чтобы свидетель был допрошен; поэтому прокурор не выразил желания вводить его в залу суда. Но мне и Гринберг очень хотелось увидеть доброго Аркадия Петровича, с которым оба мы были некогда большими друзьями, и мы условились настоять на его допросе. Не знаю, доставили ли мы этим удовольствие нашему свидетелю, но он своей знакомой нам фигурой и доброй сочувственной полуулыбкой живо напомнил нам уже отошедшие вглубь и канувшие в вечность добрые и еще не старые времена, чем доставил нам много удовольствия. Его допрос был короток, он, действительно, установил наше знакомство, и мы тут же, немедленно, оба подтвердили, что этого обоюдного знакомства отрицать и не думали.

Калюжный с присущей ему живостью и никогда его не оставлявшим юмором рассказывал, как он от скуки пытался „отвести“ от суда одного из сенаторов, и как был рад, когда нашел, наконец, в списке сенаторов имя, дававшее для этого хоть тень основания. Это был сенатор Жерве. Калюжный тотчас же настрочил отвод на том основании, что Жерве был попечителем Харьковского округа, когда Калюжный, будучи харьковским студентом, был исключен и выслан за студенческие беспорядки. Ясно, что Жерве не может быть беспристрастным к подсудимому, некогда высланному им студенту. Причина отвода была все-таки признана недостаточной, о чем он и получил скоро официальное уведомление, но инцидент дал некоторую пищу живому и гибкому уму Калюжного, вынужденному оставаться в принудительном бездействии одиночки. Калюжный некогда был в административной ссылке, бежал оттуда вместе

с Смирницкой, был сподвижником Богдановича в его объезде Сибири для организации Красного Креста, для освобождения заключенных и устройства побегов и одновременно с ним был арестован в Москве. Это был нервный, подвижной, жизнерадостный и крайне милый, симпатичный человек, весь как бы сотканный из благороднейших стремлений и горячих, самоотверженных порывов. До конца своей жизни он оставался убежденным и последовательным в своих основных воззрениях альтруистом и революционером в лучшем смысле этого слова. Не будучи теоретиком-оратором, он на суде предоставил теоретизировать своим старшим товарищам и сам ограничился лишь несколькими словами, характеризующими причины, так часто вырабатывающие революционеров из среды молодежи, имевшей несчастие подпасть под удары сурового режима беспардоннейшего произвола. Мне довелось присутствовать при последних минутах жизни этого дорогого товарища, и память о нем сохранится у меня навсегда и не умрет в душе всех, когда-либо знавших его... Он погиб самовольно, борясь и протестуя против произвола, продолжавшего его преследовать в стенах каторжной тюрьмы, почти накануне его освобождения. Он погиб в той карийской драме, которая совместно с ним унесла в могилу и его сестру — молодую несчастную девушку Марию Калюжную, и его жену — Надежду Смирницкую.

5. Буцевич, его показания и его характеристика. — Характеристика Грачевского и его рукопись о взрывчатых веществах.

Буцевич, бывший моим соседом слева, часто и много разговаривал с нами, был очень весел, шутил и смеялся в первые дни, повидимому, совершенно не предполагал, что вердикт суда будет к нему так жестоко несправедлив. Он рассказывал, между прочим, при каких обстоятельствах ему пришлось дать показание, по его мнению, наиболее для него тягостное. Существенных, настоящих улик, кроме подозреваемых сношений с Грачевским, против него не было, и Буцевич был уверен вначале, по его словам, что его не могли даже привлечь к суду. Но принадлежность к партии он все же не отрицал. На одном из допросов к нему пришел прокурор палаты Муравьев; снимавший допрос с Буцевича жандармский полковник передал лист прокурору, который по прочтении его обратился к Буцевичу с таким вопросом: „Каким образом случилось, что вы, нося мундир государя, изменили ему и вступили в заговор

против него?“ Буцевич частью был захвачен врасплох, частью рассердился, справедливо усмотрев особую ядовитость в предложенном вопросе; полагая притом, что ведет с прокурором простой частный разговор, а не подвергается допросу, отвечал: „Я готов был служить государю и служил ему до тех пор, пока его интересы не расходились с интересами народа, служить которому я всегда считал моим первым и прямым долгом; когда же я увидел и убедился, что интересы царя и народа разошлись, я счел себя обязанным перейти на сторону последнего“.

„Запишите эти слова в ваши показания“, — мягко сказал прокурор.

Буцевич не нашел для себя возможным отказаться от только-что произнесенных слов, его в высокой степени чистая и прямая натура не терпела разногласий слова и дела, и сказанная фраза без колебаний была занесена в допросный лист и скреплена подписью автора. Трудно думать, конечно, чтобы это обстоятельство было роковым или сколько-нибудь решающим судьбу Буцевича, но сам он придавал этому факту известное значение, хотя в действительности был очень далек от угрожающего ему приговора. Но в действительности дело, конечно, было не так просто — и решающим для него моментом была не эта обмолвка перед прокурором Муравьевым.

Ко времени нашего суда уже вполне успела развернуться предательская роль Дегаева, арестованного в январе этого же года и тотчас же освобожденного. Дегаев, как член военной организации, конечно, детально знал всю деятельность Буцевича и не преминул осведомить о ней, кого следует. Опираясь на показания Дегаева и отнюдь не желая чем-нибудь обнаружить его, как предателя, охрана и следствие и не пытались много говорить с Буцевичем и уличать его, а просто решили с ним покончить. Буцевичу же действительно могло показаться, особенно в начале процесса, что серьезных улик против него у охраны нет, почему он и мог думать, что дело его не так ужасно. Позднее, к концу процесса, он уже начал усматривать очень многое, что грозило ему серьезно. Но сейчас, в начале процесса, он даже шутливо сопоставлял его и мой предполагаемые приговоры, предупреждал меня, что я даже и каторги не увижу, как своих ушей, но что он с моей женой, несомненно, поживут еще, хотя и в далеких краях. „Ну что ж,— говорил он ей,—самое большее, что мне могут дать, это лет 8, а вам, как женщине, и того менее, и в результате еще много жизни впереди, хотя и в Сибири“.

Буцевич был одним из лучших друзей Суханова, судившегося и расстрелянного за год до нашего процесса, и именно Суханов ввел его в центральный кружок военно-офицерской организации „Народной Воли“, а впоследствии, незадолго до ареста, он был принят и в члены Исполнительного Комитета.

И Буцевич в партии высоко и прочно держал знамя, вложенное в его руку Сухановым, до тех пор, пока не изнемог под тяжестью преследований, так обильно и так щедро выпадающих на долю всех друзей и деятелей освободительного движения нашей многострадальной родины...

Он кончил морскую академию и был одно время прикомандирован к ведомству путей сообщения; за это время он успел окончить курс института путейцев и всего лишь за две недели до ареста подал прошение об отставке от военной службы, с целью укрепиться в звании и службе инженера. Сделай он это раньше, он был бы всего лейтенантом в отставке во время ареста, и бюрократизм суда не имел бы почвы обрушиться на него со всей суровостью приговора, в конце концов сведшего его в могилу, какой обычно прилагается к людям военного звания на политических процессах.

Грачевский был одним из видных представителей Исполнительного Комитета не столько в области теоретической разработки вопросов, сколько в сфере применения теории к практике [1]. Он отличался также определенностью своего направления, ясностью сознания поставленных перед ним партией задач, искренностью и беззаветной преданностью делу грядущего освобождения обездоленных масс. Грачевский был одним из первых, в практическом уме которого возникла идея террора, и с этой идеей он бежал из Пинеги и Архангельска, чтобы развить ее и поддержать в сформировавшемся уже к тому времени Исполнительном Комитете. Он был практик до мозга костей. Техник по образованию, он естественно взял на себя в партии определенную, чисто техническую роль и всегда был правой рукой Кибальчича, помогая ему, приводя в исполнение его научные и теоретические указания. Судьбе было угодно к концу его деятельности выдвинуть его на роль организатора, когда ряды партии значительно поредели и ее корифеи погибли... Недюжинные способности Грачевского позволили бы ему и здесь проявить себя с надлежащей пользою, но на его беду к этому времени в нем сказалась естественная усталость после столь продолжи-

[1] Несмотря на то, что выше, в главе о динамитной мастерской, мною уже была сделана попытка характеризовать М. Ф. Грачевского, я нахожу нужным дополнить ее здесь еще несколькими штрихами.

тельной неутомимой работы, закончившейся катастрофой 1881 года; к этому присоединилось еще чисто случайное заболевание. Все это вместе сломило даже такого выносливого и сильного человека, как Грачевский, и он на момент утратил способность правильно ориентироваться.

Прямой и сильный характер Грачевского доставил ему в партии уверенное и солидное положение, и всей своей жизнью, даже самой трагической смертью своей он доказал беззаветную преданность общему делу и силою своего характера вполне оправдал возлагавшиеся на него партией надежды.

Под суровой внешностью стойкого революционера-террориста, однакоже, скрывались неисчислимые богатства душевной красоты и сердечное отношение к людям. Считая себя виновником провала в 82 году, Грачевский пережил тяжелую душевную драму как за 9 месяцев предварительного заключения, так и во время суда. Его речь, его последнее слово носили на себе отпечаток той душевной муки, которую должен был испытывать этот необыкновенно сильный характером человек, приписывая себе гибель ряда молодых людей. Старушка мать моей жены, для которой, быть может, была ясна драма, переживаемая Грачевским, и которая, во всяком случае, видела его попытки сколько-нибудь облегчить участь ее любимой дочери ценою самообвинения, просила меня передать ему горячий привет, выражающий ее как бы материнское к нему отношение. Грачевский был глубоко тронут этим приветом и не нашел сразу на него надлежащего ответа. Только на другой день он растроганным голосом просил меня передать ей, что часто смотрит на нее во время судопроизводства и видит в ней его собственную старушку мать, которую ему не суждено больше обнять ни разу в жизни...[1]

[1] Михаил Грачевский первоначально был сельским учителем, а затем служил машинистом на одной из юго-восточных железных дорог; захваченный общим движением 70-х годов, он был арестован и привлечен к процессу 193-х. Оправданный по суду после очень продолжительного предварительного одиночного заключения, он отправился на юг, отчасти для того, чтобы поправить свое расстроенное здоровье, отчасти для подыскания себе вновь какой-либо службы. Последнее ему удалось, но через несколько месяцев без всякого повода он вновь был арестован и отправлен в административную ссылку в Пинегу, Архангельской губернии. Отсюда он бежал, преодолев все трудности перехода в осеннюю дождливую погоду через леса и тундры Архангельской губернии, и вновь был схвачен при переправе через Сев. Двину и препровожден в г. Архангельск. Здесь немного не доезжая до города, ему опять удалось уйти, обманув бдительность своей стражи, и на этот раз вполне удачно. Переждав некоторое время в самом Архангельске, Грачевский наконец благополучно добрался до Петербурга, нашел своих старых товарищей по делу и немедленно вступил в ряды активных революционеров

По окончании процесса, а также и во время его, подсудимые пользовались свиданиями с защитниками для передачи писем на волю. Этим же путем была послана на волю рукопись Грачевского, к сожалению, до настоящего времени нигде не обнаруженная. Краткие сведения об этой рукописи сохранились только в препроводительном при ней письме одной из подсудимых, из которого хоть отчасти можно усмотреть, о чем там шла речь. В этом письме сказано следующее:

„Вот что пишет Грач. о своей рукописи: Это не просто лекция, а вместе с тем и история всех наших работ по технике взрывчатых веществ и метательных снарядов, с добавлением целых двух проектов нового устройства запалов и снарядов, фиг. 7, 8 и 12. Я уверен в полной их пригодности, они значительно упрощают дело. Я посвящаю этот последний свой труд А. П. Корба и В. Н. Филипповой. Я желал бы, чтобы рукопись была напечатана после редакции Платона [1] с некоторыми изменениями, говорящими о лице и месте появления ее на свет".

6. Ход процесса: обвинения в ряде террористических фактов вплоть до 1 марта; дело Стефановича; о динамитной мастерской.—Шпионаж Судейкина.—Неудача Грачевского.

Процесс быстро приближался к концу. С обычным опросом подсудимых было покончено скоро; не затянули дела и допросы свидителей, экспертов и пр. Ни на следствии, ни здесь на суде подсудимые не отрицали действительных, правдивых фактов своего участия в разнообразных делах и восставали только против явно ложных и провокаторских попыток прокуратуры, нагромождавшей улики на уликах для вящшего обвинения. Обвинения были разнообразны. Все обвинялись как члены партии „Народной Воли", некоторые как члены ее Исполнительного Комитета; над многими тяготели обвинения в непосредственном участии в ряде террористических актов, имевших определенную цель—цареубийство. Самое старое дело относилось еще к 1877 году—дело Стефановича, как организатора чигиринских крестьян при посредстве пресловутой золотой грамоты, и самое недавнее дело—дело динамитной мастерской на Васильевском Острове в 1882 году, организованной Грачевским и Корба. Это последнее дело, объединившее собою 6—7 подсудимых, и по своему характеру и по своей сравнительной новизне

[1] Тихомирова.

заняло немалую долю судопроизводства. На суде в конце концов не выяснилась цель, с какою создавалась мастерская, хотя нельзя сказать, чтобы усилия Грачевского и Корба привели суд к убеждению, что он имел дело только с *учебной* мастерской, у которой не было никакого определенного объекта ее деятельности. Несмотря на всю горячность, с какою Грачевский пытался убедить суд, что это дело всей своей тяжестью должно лечь только на его плечи, так как он один был и инициатором, и исполнителем предприятия, и что работавшие в мастерской делали это лишь с учебными целями, не имея в виду какого-либо определенного факта, суд, повторяю, не казался убежденным в этой мысли и смотрел на дело более реально и, конечно, более правильно. Утверждениям Грачевского особенно противоречила оказавшаяся налицо в мастерской совершенно снаряженная, готовая к употреблению нового образца бомба. Тем не менее на суде ни разу не было упомянуто лицо, для которого она на самом деле готовилась.

Выслеживая мастерскую, Судейкин, конечно, попал в цель удачно, но все же он надеялся при этом выиграть гораздо больше, чем выиграл на самом деле. Он полагал, что захватит здесь все ядро русской революции, и раскинул свои сети возможно шире. Аресту мастерской, что составляло лишь один эпизод из общего провала 82 года, он придавал преувеличенное значение, как это ясно из тех предосторожностей, какие он принял при этом. Соответственно тому же, и общая молва придала этому эпизоду неподобающую окраску. Говорили о захвате решительно всех вожаков партии, об исключительной опасности, сопровождавшей арест мастерской, о найденных здесь бомбах в причудливой форме шляп, о множестве проводов для взрывов на расстоянии и пр. В действительности дело происходило много проще.

Исполнительный Комитет, решив совершить казнь над Судейкиным, через Грачевского предложил Прибылевым основать конспиративную квартиру для приготовления динамита и снаряда с этой специальной целью и, попутно, для приготовления взрывчатых веществ на запас; при этом, правда, имелось в виду также создать техников, недостаток которых в партии к тому времени ощущался очень заметно, и, таким образом, утверждение Грачевского на суде, что квартира имела назначение *учебной* мастерской, не было лишено некоторого справедливого основания. Действительно мастерская, снабженная всем необходимым, включая сюда лабораторную посуду, реактивы, учебники и пр., за $1^1/_2$ месяца своего существования

смогла приготовить достаточное количество динамита и запасного нитроглицерина, который оставалось только смешать с индиферентным веществом, проделала все опыты изготовления гремучего студня, гремучей ртути и пр., изготовила их в необходимом на первый раз количестве и сделала совершенно новый, оригинального образца снаряд, вполне готовый к употреблению. Знаменитому шпиону Судейкину, сжигаемому тайным тщеславием и, быть может, уже тогда мечтавшему начать свою большую игру с революционерами и с русским правительством, таким образом была объявлена беспощадная война, и в этой войне победил Судейкин. Дело взяла на себя некая Осмоловская, хорошо знакомая с Судейкиным. Знакомство это произошло не случайно, а обычным порядком, после ареста Осмоловской по какому-то случаю, но продолжалось и после ее освобождения. Об этом знакомстве знал Исполнительный Комитет и решил им воспользоваться для убийства Судейкина как главного российского шпиона. На это Осмоловская не только дала свое согласие, но и предложила себя в качестве исполнительницы предприятия. Трудно сказать теперь, что руководило Осмоловской в ее намерениях: было ли у нее желание разыграть роль погибшего Клеточникова, к чему у отдельных партийных лиц несомненно было стремление и что наталкивало их в поисках достойных для такой огромной роли лиц на таких людей, как, напр., Вл. Дегаев (младший брат известного предателя и шпиона) и сама Осмоловская [1]; или у нее было действительно обдуманное и сознательное стремление пожертвовать собой ради ликвидации Судейкина, после того как первое ее предложение не удалось,— во всяком случае, и тут и там сказывалась, конечно, известная степень дезорганизации партии, ее бессилие перед лицом страшной репрессии после 81 года, когда она была обескровлена беспримерным кровопусканием, гибелью большинства сильных и незаменимых деятелей. Оставшиеся еще в живых, не складывавшие оружия, но сильно утомленные работники, как Златопольский, Грачевский и др., не могли продолжать дело с былым напряжением, энергией и осмотрительностью, которые служили

[1] Осмоловская была сослана административно в Сибирь, где вышла замуж за некоего Поляка, игравшего, кажется, очень незавидную роль по одному из южных процессов, также отправленного в 83 г. в ссылку, и вместе с ним выехала из Сибири, когда они оба получили возможность вернуться в Россию. Впоследствии они разошлись, и семья, повидимому, осталась на руках Осмоловской. В своей статье „Воспоминания о Судейкине („Наша страна“ 1907 г.) Осмоловская подробно описывает эпизод, связанный отчасти с нашим делом.

залогом успеха каждого предприятия. Утомленный Грачевский, начиная дело против Судейкина, врага опытного, окрыленного надеждами, внушенными ему тщеславием, еще больше поднявшего голову в виду заметной для него слабости партии, не мог противопоставить новым приемам борьбы должной осмотрительности, скоро попал в ловушку, ловко ему расставленную, и увлек за собою все, что было с ним связано.

Судейкин обставил шпионаж неожиданным для революционеров способом. Откуда получила охрана сведения о пребывании в Петербурге членов Исполнительного Комитета, осталось неизвестным. Обвинительный акт говорит об этом очень глухо, и уже одно это обстоятельство указывает, что у охраны к тому времени были определенные сведения и, по всей вероятности, из определенного источника. Было ли это результатом шпионского или предательского доноса или простой болтовни—покрыто мраком неизвестности. Как бы то ни было, узнав об этом, Судейкин оставил намеченных лиц на свободе и, ловко следя за ними, скоро узнал все их связи.

Предусмотреть этот ход Судейкина было не легко, а утомление Грачевского и его болезненное состояние в эти месяцы только способствовали успеху Судейкина. Осмоловская, которая вызвалась взять на себя дело выслеживания Судейкина, запутавшись в сетях, расставленных ей этим ловким шпионом, в самую критическую минуту отказалась от выполнения взятой на себя задачи под более или менее благовидным предлогом [1].

Больной, утомленный Грачевский, не оправдавшая доверия партии Осмоловская и опытный, ловкий, с новыми способами слежки Судейкин — таково было соотношение сил перед погромом летом 82 года.

Отказ Осмоловской был сигналом к этому полному разгрому, и на другой же день, после того как Грачевский, самолично возивший снаряд, привез его обратно в мастерскую, сам Грачевский, Корба, Буцевич, Гринберг, Клименко и целый

[1] В назначенный час ее не оказалось на указанном месте, и момент был утерян. Впоследствии Осмоловская утверждала, что она была на своем посту все время и тщетно ожидала прибытия снаряда. На самом же деле она или перепутала указанное место, или, раздумав, не явилась на него вовсе. Последнее вероятнее, так как определенное место для встречи было выбрано Грачевским не единолично, а совместно с другим лицом, и ему ошибиться было трудно, тогда как Осмоловская, если б даже и ошиблась первоначально, должна была бы при наступлении момента встречи вспомнить об указанном месте и пойти туда тотчас же, чего она не сделала; отсюда можно заключить, что к этому моменту, взвесив все обстоятельства дела, она решила от взятого на себя обязательства уклониться.

ряд связанных с ними лиц были арестованы. Это было в ночь с 4 на 5 июня. Мастерская со всеми ее обитателями взята утром часов в 10 на следующий день; Судейкин, очевидно, опасаясь приступить к этому аресту ночью, решил утром применить здесь целый ряд предосторожностей (см. главу „Динамитная мастерская“).

7. Ход процесса. Речи прокуроров, речи защитников: Кедрина Карабчевского, Королева, Спасовича.—Богданович и его характеристика.

Судопроизводство шло своим чередом. Мало-по-малу окончились как допросы свидетелей, так и показания экспертов, и стороны приступили к судоговорению.

Поход против подсудимых открыл товарищ прокурора Островский, передавший затем слово принципалу Желиховскому. Речи обоих прокуроров не отличались талантливостью. Это были шаблонные обвинительные речи, нагромождавшие одно обвинение на другое относительно каждого подсудимого, речи, поставившие себе заранее цель как можно больше сконцентрировать улик, сгустить темные краски на каждом отдельном лице, представить каждого подсудимого в возможно мрачном свете. Обычная картина обвинения, которое строит все свое здание лишь на фактах внешнего проявления личностей, не вдается в оценку внутренних причин их поступков, не разбирается в фазисах психологического развития, не углубляется мысленно ни в философию их мировоззрения, ни в те социально-политические условия жизни, которые пораждают столь сильных и огромных по своему значению в будущем лиц, каковы главные подсудимые всех террористических процессов.

Эта последняя задача была делом отчасти защиты и, главным образом, самих подсудимых.

Однакоже, первая, т.-е. защита, только поверхностно знакомая с личностями, никогда не жившая в их среде и их жизнью, хотя идейно и сочувствующая им, бывает всегда связана официальностью своего положения, в некотором роде зависимостью от суда, и потому не может стать на совершенно объективную точку зрения. Ей больше всего приходится довольствоваться характеристиками подсудимых в ответ на характеристики, создаваемые обвинением, и частью опровержением фактических неточностей.

Другое дело — подсудимые, стоящие лицом к лицу с своим исконным врагом, от которого нельзя ждать, не говорю уже,

пощады, но даже справедливой, объективной оценкя фактов. Подсудимые в этом положении вынуждены взять на себя всю тяжесть задачи, посредством враждебного им суда оповестить urbi et orbi как об основах их миропонимания, так и о тех путях, какие они считают единственно пригодными и возможными для достижения своей конечной цели — торжества социализма.

Из речей защитников необходимо отметить некоторые.

Кедрин одновременно вел защиту Буцевича и Стефановича и потому произнес две речи, диаметрально противоположные по впечатлению, произведенному ими на слушателей. Его первая речь была в своем роде поэма в защиту молодой погибающей жизни, и он не пожалел красок, чтобы охарактеризовать своего клиента, с которым он успел основательно познакомиться за время процесса, с самой лучшей стороны, так старательно затушеванной и замолчанной обвинением. Не даром и Буцевич по окончании этой речи, в течение которой он бледнел и краснел, заявил своим соседям, что гораздо охотнее выслушал бы две или три обвинительные речи, чем одну такую речь защиты. Наоборот, вторая речь Кедрина была сухим перечнем фактических опровержений обвинения и на слушателей скорее производила впечатление вынужденной защиты, не опирающейся на внутреннее убеждение оратора, и как бы указывала на отсутствие у него больших симпатий к клиенту. Характеризуя общее направление Стефановича, он всецело приравнивал его к социалистам-реформаторам в западно-европейском смысле этого слова, ничего не имеющим общего с „народовольчеством". Не даром после этой речи защитника некоторые из подсудимых громко обратились к Стефановичу с прямым требованием высказаться и опровергнуть мнение о нем защиты, что он в своем последнем слове и пытался сделать.

Положение Королева было очень трудно. Его клиент Богданович занимал на суде настолько определенную позицию, что защите собственно оставалось только внести несколько фактических поправок к обвинению. Притом эти поправки были так незначительны по сравнению с главными фактами, не отрицавшимися подсудимым, что останавливаться на них прямо не стоило.

Юрий Николаевич Богданович-Кобозев был слишком крупной фигурой нашего процесса уже по одному тому, что если б он был арестован немедленно после 1 марта 1881 г., он должен был бы разделить участь Желябова, Перовской и др.

Однакоже его революционная карьера не была так значительна, как у этих лиц. В террористических предприятиях „Народной Воли" до 1 марта он не принимал участия и все время вращался в народнической среде, посвятив себя пропаганде в крестьянстве. В поселениях „Земли и Воли" он часто занимал место волостного писаря и своей умелой и серьезной деятельностью каждый раз завоевывал репутацию бескорыстного заступника интересов народа. И перед 1 марта 81 г. он жил в Екатеринбурге, где устраивал побег Бардиной, откуда был вызван на пост хозяина сырной лавки по совету В. Н. Фигнер. Юрий Николаевич Богданович был как нельзя больше пригоден для этой роли. Он соединял в себе бесповоротную решительность и мужество с находчивостью и хладнокровием, какие именно были нужны в предприятиях этого рода. Это он и доказал блестяще своим поведением в критический момент обыска его сырной лавки почти накануне акта 1 марта. После этого, уехав из Петербурга, он организовал Красный Крест помощи заключенным, ссыльным и их побегам, с какой целью объехал Урал и большую часть Сибири. По словам ближайших товарищей Богдановича, это была обаятельная личность, полная добродушия и чистоты души, не лишенная подчас живого юмора. Все знавшие его хоть сколько-нибудь подпадали под влияние этой непосредственной, открытой, живой, веселой и сильной натуры и, раз узнавши, не могли не запомнить и не полюбить его навсегда.

Теперь, после опасной и деятельной жизни последних двух лет, когда он предстал перед судом, ему не могло и притти в голову отрицать слишком явные факты, а его защите оставалось следовать его примеру.

И Королев ограничился общей характеристикой своего клиента на основании личного с ним знакомства за время процесса, и эта характеристика, конечно, была диаметрально противоположна той, какую о нем составило себе и в какой пыталось убедить суд обвинение.

Карабчевский в красивой речи в защиту Юшковой, единственный из всех защитников, нашел возможным просить для своей клиентки полного оправдания.

Речь нашего защитника, Владимира Даниловича Спасовича, сохранилась в подлиннике и им самим воспроизведена в печати[1]. Как всякая речь этого оригинального оратора, она но-

[1] „Семь судебных речей по уголовным делам В. Д. Спасовича". Берлинское издание 1900 г.

сила на себе отпечаток несомненного ума и таланта, но в то же время не была лишена некоторой, я бы сказал, жестокости по отношению к лицам, не являющимся его клиентами; если бы не знать вполне определенно, что некоторая часть нападок Спасовича на Грачевского была инспирирована самим Грачевским, можно было бы подумать, что Спасович сознательно топит Грачевского. Очевидно, этот прием несколько смягчал, уравновешивал то мучительное душевное состояние Грачевского, о котором я говорил выше. Узнать обо всем этом мне пришлось много позже. Другая отличительная черта речи Спасовича заключалась в его нападках на организацию; как ни были остроумны его попытки доказать фиктивность существования Исполнительного Комитета, они произвели неприятное и удручающее впечатление на всех подсудимых без исключения.

Свою речь он начал с того, что он не намерен прибегать к „жалким словам", а будет касаться только существа дела. Припоминаю его фразу: „Пресловутый неуловимый Исполнительный Комитет был таким же мифом, как „Священная Римская Империя", которая была и не священной, и не римской, и не империей", пустое слово, нечто воображаемое... Хорошо также помню в его речи следующую, ясно выраженную мысль: „О своей принадлежности к партии многие из подсудимых, в сущности, заявляют по недоразумению, ибо под этим они подразумевают только свою солидарность с ее идеологией, стало быть, судить их за принадлежность к сообществу нет никаких оснований. Сверх того, самая солидарность с партией и ее идеологией, т.-е. их убеждения, не есть еще преступление; это, в сущности, есть признание тех принципов социально-политического прогресса, которые ныне еще преследуются, а завтра получат полное право гражданства. То, за что вы судите и осуждаете этих людей теперь, в недалеком будущем будет неизбежно достоянием всех, перейдет в „общественное мнение. Ведь так бывает обыкновенно со всеми передовыми идеями отживающей эпохи". Передаю эти мысли по памяти, своими словами, но за подлинность их ручаюсь.

Со Спасовичем впервые я виделся в крепости, куда он пришел познакомиться со мною, когда для него окончательно выяснилось, что он берет нас с женой под свою защиту. После этого мы с ним виделись много раз, но разговоров, относящихся к делу, у нас было немного: все казалось ясно и достаточно просто, чтобы стоило тратить на это много времени.

И все таки, однажды, говоря о нашей защите, я просил его, между прочим, обратить наибольшее внимание на защиту

моей жены—и как женщины, и как фактически наименее виновной и более слабой, хотя бы это и было в ущерб мне. Он обещал мне это и в конце своей речи, помнится, говорил на эту тему, к сожалению, не в той форме, как я предполагал. Он не настаивал объективно на смягчении участи его подзащитной, а заявил, что имеет особое поручение просить о расценке виновности его клиентов сообразно большей виновности мужа и меньшей — жены. Это вызвало реплику со стороны жены в ее последнем слове, о чем я упомяну ниже.

Несмотря на незначительность наших деловых разговоров, у моего защитника, надо думать, выработался взгляд, что он сумеет убедить суд вынести мне довольно слабый приговор. Для меня это было ясно из того заявления, с каким он обратился ко мне немедленно после прочтения приговора. Как сейчас помню взволнованного Спасовича, обернувшегося ко мне с протянутой рукой, как только замолкли слова председателя, читавшего приговор. — „Я этого не ожидал, я этого никак не ожидал!“ — почти прошептал он мне... Странно, что меня мой приговор нисколько не удивил и был принят мною совершенно хладнокровно, а его, умеющего сдерживаться, взволновал так сильно. Он часто осведомлялся у меня о разных лицах из революционного мира, прошедших перед его глазами на предыдущих процессах; больше всего его интересовал Александр Михайлов, в котором он видел поразительный для него образ человека удивительной революционной стойкости и убежденности, до крайнего самозабвения преданного интересам своего дела. „Были замечательные люди и до него“,—говорил Спасович, — „но ни в одном из них нельзя было усмотреть такой чистоты убеждения, такой преданности делу, такого беспредельного посвящения всего себя исключительно интересам партии, как у Александра Михайлова“. Я отвечал ему, что такое же впечатление производил Александр Михайлов и на своих товарищей. После суда еще несколько раз я виделся с моим защитником. Однажды он пришел ко мне, чтобы убедиться, что его роль около меня, так сказать, окончена, и его услуги для меня больше не потребуются. Он вошел ко мне в камеру и начал прямо со слов: „Ну, мы, конечно, никаких прошений подавать не будем!“ — „Конечно, не будем“, — отвечал я и крепко пожал его руку, так как усмотрел в его вопросе сочувственное к себе отношение. В последний раз Спасович пришел проститься, так как после этого его уже ко мне, как к осужденному, не пропускали. Крайне растроганный, со слезами на глазах он обнял меня и самым искренним и сердечным тоном

желал мне возможного благополучия. Я выражал надежду на возможность когда-нибудь с ним встретиться уже в обновленной России. Но встретиться с ним мне так и не удалось: он не дождался моего освобождения.

8. Речи подсудимых и конец процесса. — Приговор: шесть смертников и через два месяца помилование вечным заточением.

Считаю для себя невозможным даже в простом пересказе приводить здесь речи подсудимых; это следовало бы сделать возможно детальнее, полнее, так как говорившие отнюдь не имели в виду своей защиты, а преследовали цели принципиального выяснения взглядов партии; а это, конечно, требует особенно бережного отношения в передаче даже оттенков сказанного, для чего необходимо иметь под руками надлежащий материал. История не преминет воспроизвести эти речи с подобающей точностью, если еще можно надеяться, что они сохранились где-нибудь в правительственных архивах или у частных лиц — современников процесса.

Среди наших товарищей по делу, как мною указано выше, не было ораторов, которые могли бы в свободной и красивой форме излагать и отстаивать принципы партии, те принципы, за которые они жертвовали не только своей свободой, но и самой жизнью. Русь нашего времени вырабатывала борцов, смелых и беззаветных, но ораторы среди них появлялись только случайно... Тем не менее Богданович, Златопольский, Грачевский считали своим долгом открыто сказать суду, за что они шли на смерть, и в пределах возможного для себя пытались изложить свои взгляды на положение забитой и угнетенной страны и выяснить роль революционного движения, как освободительного шествия масс из-под гнета самодержавно-бюрократического произвола. Трудность положения усугублялась для говоривших еще и тем, что председатель суда нередко останавливал каждого, суживая еще больше границы его речи. Златопольский был даже вынужден прекратить речь чуть не в самом ее начале и совершенно отказаться от своего слова. Корба, хотя и прерываемая, успела сказать свое слово; она воспроизведена с точностью Кеннаном, которому ее речь была сообщена свободными товарищами, и, кажется, это — единственная речь, попавшая в печать в неискаженном виде. Только Теллалов, этот симпатичный и опытный пропагандист и оратор, в оценке которого, как человека и революционера,

во всей революционной среде того времени не было ни малейшего разногласия[1], нашел нужным совершенно отказаться от защитника и вел свою защиту очень толково и умело сам. Его довольно обширная речь распадалась на две половины: фактическую и принципиальную; в первой он опровергал все искусственные утверждения, обвинения и лживые показания его свидетелей — шпионов, а во второй — в живой, красивой и необыкновенно трогательной картине обрисовал положение русского революционера, силою сурового русского режима вынужденного обращаться к крайним революционным мерам воздействия на правительство, поставившее себе целью задавить и уничтожить в стране всякую живую мысль, всякое стремление к свободе и равенству. Его речь произвела сильное впечатление не только на подсудимых, наперерыв старавшихся пожать ему руку, но и на самый суд, который казался взволнованным прошедшей перед его глазами яркой и безыскусственной картиной.

Остальные подсудимые или отказались вовсе (Борейша, Юшкова) от последнего слова, или ограничились заявлением, что к речам своих защитников они прибавить ничего не имеют, и только моя жена к такому же заявлению добавила, что заключительные слова ее защитника вынуждают ее просить суд не выделять ее, как женщину, в особую категорию и особенно в ущерб кому бы то ни было, а также и в ущерб ее мужу.

„Не даром,— сказала она,— и богиня Фемида изображается с завязанными глазами, чтобы нелицеприятный приговор суда не делал разницы между женщиной и мужчиной при равносильной вине обоих“.

Кончились речи. Подсудимые удалены из залы заседаний на время совещания суда. Их новое появление имело целью только выслушать уже состоявшийся приговор в первоначальной, а затем в окончательной форме, и 5 апреля драма закончилась, обрекая одних на смерть, других на изгнание[2].

Не радостно, как в первый день процесса, и молча шли подсудимые из зала судебного заседания в свою тюрьму, как молча они только-что выслушали постановление суда. Один

---

[1] Ни раньше, ни позже нельзя было встретить человека, который отзывался бы о нем не иначе как с восторгом.

[2] Этим приговором 6 человек: Богданович, Грачевский, Златопольский, Теллалов, Клименко и Буцевич были приговорены к смертной казни; каторжные работы получили: Стефанович и Ивановская — вечную, Корба — на 20 лет, Лисовская, Смирницкая, Калюжный и Прибылев — на 15 лет, Прибылева—на 4 года, и только Гринберг, Юшкова и Борейша были приговорены к ссылке на поселение.

за другим исчезали они по мере приближения к камерам, с тем, чтобы со многими из товарищей уже никогда более не встретиться. У последних камер мы остановились втроем с Буцевичем и Грачевским. Буцевич продолжал успокаивать нас, говоря, что в самые последние дни он уже ясно видел куда клонится его дело, и настолько успел подготовиться к самому худшему исходу, что окончательный приговор не поразил его. Слабое утешение и для нас, и для самого Буцевича! Заинтересованный и сочувственно-взволнованный проводник-надзиратель пытался узнать у нас о приговоре Буцевичу. Грачевский молча провел рукою по шее и только на новый вопрос не понявшего жеста надзирателя коротко сказал ему: „Наградили веревочкой!“ — Грустная улыбка Буцевича была ему ответом.

Мы попрощались в последний раз.

Через несколько дней приговоренных к смерти, а также Ивановскую и Корба снова увезли в крепость, откуда двух последних, впрочем, скоро возвратили, — все остальные оставались в Доме предварительного заключения.

Прошло $1^1/_2$ или 2 месяца, в течение которых все приговоренные к смертной казни ожидали ее со дня на день — вероятно, высшая форма пытки, на которую только могут быть способны месть и произвол — и только тогда приговор был конфирмован: приговоренные к смерти помилованы вечной каторгой[1]. Стефановичу вечная каторга заменена 8-летней и Лисовской 15-летняя — 4-летней. Последняя была возмущена этой милостью, громко заявила, что не просила и не желает милости, и требовала, чтоб ее заявление было передано тем, кто вздумал таким образом распорядиться ее судьбою [2].

---

[1] Эта замена смертной казни не каторгой, а вечным заключением в мешках Шлиссельбургской крепости, как это оказалось в действительности, могла быть названа „милостью“ только по недоразумению. Последствия, конечно, известные читателю, доказывают справедливость этого. В самом деле, смерти после длительной агонии последовали в таком порядке: прежде всего умер Теллалов еще в Петропавловской крепости в том же 1883 году; за ним последовали: Клименко, повесившийся в Шлиссельбурге в октябре 1884 г., Буцевич, умерший от чахотки там же в апреле 1885 г., Златопольский — в декабре 1885 г., Грачевский (сжег себя) — в Шлиссельбурге в октябре 1887 г. и Богданович — там же от чахотки в июле 1888 г.

[2] Антонина Игнатьевна Лисовская вместе с нами была отправлена в карийские рудники, где вскоре у нее обнаружился общий туберкулез. Выпущенная в вольную команду, она уже не вставала с постели и умерла в 1885 г., одновременно с лечившим ее в начале болезни товарищем д-ром Веймаром.

9. В ожидании отправки на каторгу.—Заключение.

Прошло еще два с небольшим месяца, пока не наступил, наконец, момент нашей отправки на каторгу. За это время власти были с нами очень любезны и предупредительны, разрешали доставлять нам с воли много передач, давали частые свидания с родственниками, кое-кто из них, напр., прокурор Рауш, частенько заходил в наши камеры побеседовать и поделиться своими впечатлениями о наших товарищах по процессу, особенно о женщинах, и пр. Припоминаю, как кто-то из придержащих властей, быть может—тот же Рауш, рассказывал, как Буцевич успокаивал свою дочку и трогательно убеждал ее о скором свидании с ним, а Богданович усиленно заботился о сохранении своего здоровья, советуясь с доктором о разных профилактических мерах. Бедные наши товарищи, как им всем хотелось жить еще! А безразличные к их участи прокуроры и пр., пожимая плечами, удивлялись, какие свидания с дочерью, какие меры к сохранению здоровья нужны для лиц, приговоренных к смерти!

Свидания с родными, нередко со многими одновременно и вместе с Розой, были особенно радостны и давали нам возможность как бы уходить временно от тюремного уклада, забыть о тюрьме и чувствовать себя как бы вольными, свободными людьми. Эта иллюзия была тем более действительна, что и присутствие при этом надзирателя было чистейшей фикцией. Быть может, поэтому, а вернее и потому, что участь наша уже была решена окончательно, мы производили на родных впечатление совершенно спокойных, нормальных людей, чего они не замечали ранее, до суда. Мои же личные ощущения того времени совершенно не говорили мне о какой-либо перемене в моем душевном состоянии до и после приговора, и то, что усматривали они, я относил скорее к ним самим, более нас волновавшимся предстоящей нам участью. По крайней мере на указание кого-либо из родных, что мы теперь стали много спокойнее, мы уверяли их, что в данный момент мы переживаем очень счастливое время, и я дополнял, что придет пора, когда все мы будем вспоминать о нем, как о „добром старом времени“.

Так прошли и эти месяцы перед нашей отправкой. Снова начались перемещения в камеры нижнего этажа, снова громыхание замков отпирающихся и запирающихся дверей, снова стереотипное приглашение: „Пожалуйте!“ — и мы в особой ко-

миссии, свидетельствующей здоровье каждого, составляющей статейные списки, и пр., а дальше — переодевание, бритье, заковка в цепи... и мы готовы в путь!..

Прошло около 48 лет — почти полвека. Какое множество перемен! Не говоря уже о смене поколений, какая смена идей, настроений, переоценка всех ценностей! Что так недавно еще каралось правительством, как преступление, а для массы проходило незамеченным, теперь в проснувшемся сознании общества признается актом участия в освободительном движении; что вчера квалифицировалось, как отживший анахронизм, сегодня почитается спасительным!

Уже затих шум той революционной грозы, которая разразилась над нашей родиной, доселе спавшей безмятежным сном под гнетом тяжелого произвола. Эта гроза знаменует собою конец и этому сну, и этому произволу. Повеяло могучим дыханием свободы, пришла пора ликвидации старого, отжившего, ненавистного прошлого... и истерзанная, исстрадавшаяся родина не досчитывается многих и многих борцов за новый строй политической и социальной жизни, за идеалы человеческой правды и справедливости.

Теперь, когда можно подвести хотя отчасти итоги погибшим борцам в общем освободительном движении России, из процесса 17-ти оказываются в живых только 4 человека; остальные, замученные в казематах Шлиссельбурга и равелина или до смерти искалеченные режимом каторги, не видели этой занимающейся зари свободы и счастья, ради которых они так беззаветно отдали свою богатую идеалами жизнь; их не коснулось трепетное и знойное дыхание великой всероссийской революции. А за одно это они, если бы могли, охотно пожертвовали бы своей жизнью вторично.

ГЛАВА V

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО КАРЫ

Вступление.

В предыдущей главе о „процессе 17-ти“, где среди виднейших представителей партии — членов Исполнительного Комитета „Народной Воли“ — судились и более молодые члены партиии, еще мало чем зарекомендовавшие себя в партийной работе, к которым я причисляю и себя, мною дана посильная характеристика некоторых наших сопроцессников. Здесь я позволяю себе сказать несколько слов и о моей дорогой, незабвенной сопроцесснице — моей жене Розе Львовне, присужденной к каторжным работам на четыре года и отправившейся вместе со мной в далекую Сибирь.

Роза Львовна родилась в м. Городище (Киевской губ.), где ее отец, Лев Моисеевич Гросман, занимал место врача при сахароделательном заводе Яхненко и Семиренко. Когда ей было уже 8 или 9 лет, вся семья переехала в Одессу, где весьма скоро д-р Гросман приобрел большую популярность и стал пользоваться общей любовью и уважением. Обстановка высоко культурной, развитой и интеллигентной семьи, поддерживаемая и лелеемая матерью Розы Львовны — любвеобильной, умной и литературно-образованной Генриеттой Васильевной, положила первые основы тех альтруистических чувств, которые особенно отличали весь характер и всю последующую жизнь Розы Львовны. Далее, поездка всей семьи за границу (по поводу болезни отца) и особенно знакомство в период юношества с радикальной молодежью завершили строение мировоззрения молодой девушки, уже тогда решившей отдать свои силы на служение народному делу. Особенно сильное влияние в этом отношении на Розу Львовну оказало знакомство с Павлом Мавроганом и Андреем Ивановичем Желябовым, явившимися

подлинными учителями в деле ее общественно-политического воспитания. По окончании среднего образования она выехала в Петербург, где изучала медицину в Женском медицинском институте в течение четырех с половиною лет. За это время однако же влечение к политической деятельности не позволяло ей порывать отношения с партийными деятелями. Не будучи пока активной работницей партии, Роза Львовна все же не уклонялась ни от какого содействия ей, поскольку это позволяла раз намеченная образовательная цель. А она хотела бы войти в настоящую активную работу лишь вполне правоспособным, независимым, так сказать, цензовым человеком, чему в то время еще придавалось очень большое значение как со стороны общественного мнения, так и со стороны самой партии.

Но обстоятельства для этого сложились неблагоприятно. Разгром партии после 1 марта 1881 г. так сильно обескровил ее, что каждая уже испытанная сила была на счету. Мы же, сознавая себя „солдатами партии", должны были подчиниться первому призыву Исполнительного Комитета, как только он почувствовал нужду в нас!.. Таким образом, в начале 1882 г. Роза Львовна бросила курсы, чтобы взять на себя ответственное и в высокой степени конспиративное дело — динамитной мастерской, отчасти в целях создания технической группы партии, отчасти и для более конкретной цели — покушения на свирепствовавшего в то время Судейкина. Это и было нами выполнено, но это же и привело нас на скамью подсудимых в процессе 17 лиц.

После целого года тюрьмы, следствия и суда мы были отправлены на место ссылки, в более чем $1^1/_2$-годовое путешествие по дебрям Сибири, чтобы достичь далекого уголка, почти у Китайской границы, где собралось не мало пасынков России, как и мы, осужденных проклятой памяти царским режимом. Это продолжительное путешествие, полное тяжелых переживаний, физических и моральных страданий, но не лишенное и радостных минут, является темой предлагаемых читателю очерков.

Нежная, хрупкая, привыкшая в семье к холе и ласке, Роза Львовна однако же обладала такой стойкостью и силой духа, что из всех испытаний выходила победительницей, и никто никогда не слыхал от нее ни единого слова жалобы или упрека своей подчас нелегкой судьбе. Совершенно напротив, своей жизнерадостностью, нередко громким, веселым смехом, даже в тяжелые минуты жизни, она ободряла окружающих, вливала

новую энергию в душу унывающих, поддерживала слабых, возвращала их к бодрости и самоуважению. Ее всегдашняя вера в свою „звезду", как она любила говорить, уверенность в счастливой судьбе, грядущей за моментами испытаний, поддерживала всех и вся. Потому всегда и всюду Роза Львовна была любимым и желанным товарищем, охотно делившим и горе и радость с близкими людьми.

Беззаветно преданная делу, давно решившая отдать себя целиком борьбе за народное благо, как понимали ее старые народники, она в то же время желала и мечтала использовать себя с наибольшей продуктивностью; далекая от внешнего нигилизма, всегда заботливо относящаяся к чистоте и порядку, но и совершенно лишенная общежитейских предрассудков, Роза Львовна представляла собою цельную личность, к каковому идеалу и стремилась всегда. Она считала более целесообразным отдать себя всецело делу борьбы лишь тогда, когда своей законченной личностью она могла бы больше импонировать и обществу, и будущему суду и быть полезной своими прикладными знаниями народу, если бы впоследствии это выпало на ее долю.

Предстоявшая нам дорога не обескураживала ее; совсем напротив, именно ей, с присущим ей самообладанием, пришлось поддерживать веру в лучшее будущее среди провожавших ее родных, повидимому, утративших надежду увидеть ее когда-либо снова. Своей неустанной бодростью она поддерживала и свою старушку мать, боготворившую ее, в минуты ее естественной слабости, при виде тяжелой обстановки и еще более горшей участи, предстоящей ее любимой дочери...

С концом нашего совместного пути почти закончилось и мое близкое, родственное общение с Розой Львовной. Карийская тюрьма разъединила нас прочно, и только по выходе ее в вольную команду в тот же год нашего приезда на Кару мы могли еще получать редкие свидания при неизбежном присутствии тюремного смотрителя. Но и это продолжалось недолго, так как краткий срок каторги, определенный судом, для нее закончился в 1885 г., и она должна была выехать на поселение в Якутскую область. Остававшиеся для меня почти полные 15 лет пребывания в тюрьме не давали мне и тени права настаивать на том, чтобы она добровольно продолжала жить при тюрьме, в сущности, подвергаясь тому же каторжному режиму, что и все мы. Живая, энергичная и полная революционного энтузиазма личность Розы не могла не почуять духа свободы, а отсюда и возможной продуктивной деятельности... и мы обо-

юдно решили отказаться от личных благ, какие еще могли бы предоставить нам условия нашей жизни за тюремными стенами. Как ни было это тяжело, мы вынуждены были примириться с неизбежным фактом, и каждый из нас в глубине души должен был смотреть на эту разлуку, как на вечную. Так оно и оказалось в действительности.

Вспоминая теперь все перипетии нашего продолжительного совместного пути, с яркостью фотографического отпечатка представляя себе малейшие штрихи пережитого и зная, что сама Роза Львовна при жизни своей в своих воспоминаниях нередко возвращалась к тем же переживаниям, я испытываю глубокое самоудовлетворение, имея возможность посвятить ее светлой памяти этот несовершенный и слабый труд моих досугов.

1. Начало пути. — Москва.

Июнь 1883 г. близится к концу.

Все процессуальные формальности следствия и суда для превращения нас как бы в простой номер, следующий при особой бумаге — статейном списке — окончены, и мы ждем последнего акта — превращения нас и с внешней стороны в людей особой категории, в людей „бубнового туза".

Вновь, как и перед судом, мы переведены в камеры нижнего этажа Дома предварительного заключения. Я слышу, как хлопают двери соседних камер, справа и слева от моей, как раздаются шаги моих товарищей, проходящих куда-то мимо моих дверей, и как потом в шум этих шагов вливается новый, незнакомый для моего уха звук, звон железных цепей...

Наконец, и меня просят пожаловать куда-то. В сопровождении надзирателей и помощника смотрителя меня приводят во врачебную комиссию, раздевают донага, измеряют мой рост, описывают приметы, убеждаются в моем здоровьи и пригодности для путешествия. Отсюда меня ведут в подвальный этаж, туда, где расположены ванны, баня и пр. Здесь, в раздевальной комнате при бане, уже ожидает и парикмахер — для приведения в должный порядок моей куафюры, и кузнец, долженствующий снабдить меня украшениями, присвоенными моему новому званию. Первый живо справился со своей задачей: сперва коротко остриг мою шевелюру, а затем и обрил правую половину головы. Операция не из приятных, особенно приняв во внимание не очень умелые руки солдата — парикмахера-самоучки. Надзиратели предложили мне снять костюм и заменить его новым: казенным бельем, котами и халатом

с бубновым тузом на спине. Очевидно, в утешение помощник смотрителя при этом пояснил, что имеющиеся в их распоряжении запасы арестантской одежды заготовлены на рост не выше среднего и потому для меня должны были приготовить отдельный комплект в виду моего высокого роста.

Теперь я перешел в руки кузнеца. Этот лучше парикмахера знал свое дело и быстро справился с заковыванием моих ног в кандалы. Оказалось, что и цепи эти были сделаны также для меня по особому заказу и были на одно звено длиннее и фунта на 2 тяжелее против обычно принятой нормы.

Далее небольшая практическая лекция о том, как надевают и носят „поджильники“ и „подкандальники“, чтобы тяжелое кольцо кандалов не било ногу, и вся процедура внешнего преобразования была закончена.

Не могу сказать, чтобы все это произвело на меня сколько-нибудь сильное впечатление. Я был совершенно равнодушен к этому переодеванию отчасти потому, что оно приближало меня к концу ненавистного мне одиночного заключения, отчасти потому, что я был к нему слишком хорошо подготовлен. Говорили, однакоже, что кое-кто из нас не легко перенес такое преобразование своей внешности. Например, Осипа Нагорного эта процедура довела до истерики и обморока. Он, бедный, очень долго просидел и сильно изнервничался. Мне же было только противно смотреть на себя в этом виде, с чисто эстетической точки зрения.

Каждый из нас был снабжен простым холщевым мешком для наших вещей, взамен чемодана; туда мы должны были сложить все то, что было разрешено взять с собою; это и был впоследствии наш „бутарь“, следовавший с нами на подводе до самого конечного пункта нашего пути.

Отдохнув несколько после треволнений дня в своих камерах, вдоволь налюбовавшись на себя в нашем новом виде в последние часы одиночного заключения, мы, наконец, поздно вечером были все,— предназначенные к отправке,— сведены по одиночке, один за другим, в одну общую залу, где и оставались до выезда на вокзал Николаевской ж. д.

К большому нашему удивлению в этом сборном зале мы нашли довольно недурно сервированный стол с кипящими на нем самоварами, с большим количеством булок, печенья, ветчины, колбасы и пр. Это было последнее угощение Петербурга, или в частности Дома предварительного заключения, для

людей, отправляемых в далекое путешествие из-под его гостеприимного крова [1].

Один за другим входили сюда наши товарищи по пути, в большинстве уже знакомые между собою, частью впервые здесь встречающиеся. Общая участь наша, однакоже, быстро роднила нас, и через какой-нибудь час времени все были уже более или менее друзьями.

Сперва собирались мужчины — все, как один, в сером костюме, с мешком на плечах и с цепями на ногах; прежде всего четверо наших сопроцессников, затем Мирский, Волошенко, Орлов, Нагорный и пр. За ними стали вводить женщин, также обряженных в серые суконные юбки, с белым платком на голове и серым халатом на плечах. Кроме семи наших сопроцессниц, тут были Якимова и Лебедева. Провожающее нас начальство было очень деликатно, усиленно приглашало нас пить чай и закусывать. Ни в чем нас не стесняло и старалось поддерживать общий разговор на какую-нибудь злобу дня, по возможности постороннюю тюрьме, словно все мы встретились на случайном вечере или каком-нибудь five o'clock... Не думается мне, чтоб мы были слишком деликатны в области этих общих разговоров; пожалуй нам было не до них, ибо были у нас свои собственные интересы, которыми надо было поделиться друг с другом, когда мы впервые свиделись без посторонних свидетелей после долгого промежутка времени. И этим разговорам не было конца, почему вся ночь пролетела для нас незаметно.

Уже под утро, когда стало довольно светло, мы попрощались с гостеприимными хозяевами и попарно в извозчичьих каретах были перевезены на вокзал и под конвоем солдат помещены в арестанский вагон, довольно чистый, ничем не отличающийся от обычных вагонов III класса, кроме решеток в окнах.

Бодро и весело начали мы свое путешествие. Нас было больше 20 человек, уже успевших близко познакомиться, чему много способствовало то, что все мы были известны друг другу, если не лично, то понаслышке. Конвоя мы не видали совсем;

---

[1] Такое исключительное внимание к отправляемым каторжанам как никак все же выражает некоторое сочувствие к ним со стороны тюремного начальства. Я не знаю, чтобы этот случай повторялся при отправках других партий, и если это в действительности так, то в значительной доле его надо отнести к тем невольным симпатиям, какие при долгом знакомстве могли возникнуть у тюремщиков к представителям нашего процесса, особенно к женщинам, пробывшим в Доме предварительного заключения больше года.

наш вагон, правда, был заперт, а наше начальство ехало в отдельном вагоне, смежном с нашим. Но и его мы видели пока только мельком.

Обрадованные относительной свободой, избавившись от тягостной одиночки, все мы были настроены по-праздничному, и в разговорах друг с другом время катилось для нас незаметно, несмотря на проведенную абсолютно без сна ночь. Вот уже окончены все маневры наших вагонов, и мы уже на полном пути к Москве. Но мы не замечаем ни станций, ни остановок, да они и не интересны для нас, так как выйти из вагонов мы все равно не можем. Вот почему я и не могу определить точно того момента, когда постигла нас наша первая путевая катастрофа. Приблизительно это было на половине пути до Москвы, а быть может, и много ближе к ней.

Неподалеку и наискосок от меня на двух коротких скамейках помещались М. А. Юшкова и ее муж Луговский. Они долго и мирно беседовали между собою, мало обращая внимания на окружающих. Это было так понятно: молодоженам только-что, перед самой поездкой, перевенчавшимся и имевшим только официальные в тюрьме свидания в течение целого года, конечно, было о чем поговорить между собою; вот почему они держались несколько изолированно от других и почему другие охотно предоставляли им эту возможность. Вдруг до моего слуха с их стороны донесся странный звук, похожий на протяжный, заглушенный стон. Повернувшись в их сторону, я увидал искаженное судорогой лицо Луговского, с полузакрытыми, закатившимися глазами. Испуганная Юшкова с криком кинулась к нему и начала делать ему искусственное дыхание, как опытная фельдшерица, каковой она и была. Я в свою очередь бросился на помощь к ней, старался помочь, чем мог, но у больного продолжались общие судороги тела, заглушенное, стерторозное дыхание при полной потере сознания. Сердце работало взволнованно, временами с нарушением ритма, но серьезными последствиями не угрожало. Мало-по-малу припадок стал ослабевать и постепенно разрешился глубоким сном на очень продолжительное время. Получилось впечатление эпилептического припадка, сходство с каковым подкреплялось всем внешним его видом, не исключая и появления пены у рта. Но Луговский никогда не страдал эпилепсией и не имел на нее никаких указаний в своих антецедентах. Весь вагон взбудоражился первоначально, но при виде успокаивающегося и особенно спокойно спящего больного успокоился и сам.

Но не прошло и получаса после этого, как недалеко сидевший от меня Нагорный с пунктуальной точностью начал воспроизводить ту же картину, какую только-что проделал Луговский. Те же закатившиеся глаза, та же судорога сперва лица, а потом и конечностей и всего тела, те же звуки заглушенного прерывистого дыхания со сжатыми крепко зубами и та же потеря сознания. Я бросился и к нему, так как сидевшие с ним товарищи, быть может, никогда не имевшие дело с больными, оставили его одного. Как и у первого больного, припадок Нагорного скоро перешел в глубокий сон. Новые полчаса принесли нам новое повторение той же картины. На этот раз так же пунктуально, точно проделал ее Волошенко.

Вся наша публика пришла в волнение. Высказывалась мысль о заразе; да и на самом деле ничем, кроме психической, нервной заразы, на первый раз нельзя было объяснить подобное повторение припадков у разных лиц, никогда раньше не страдавших чем-либо похожим на такую форму заболевания! Призвали начальство, конвой и совместно обсуждали создавшееся положение. Решено было поискать в поезде, при котором шли наши вагоны, какого-нибудь врача, чтоб помочь больным, сколько было можно, до приезда в Москву, где уже надлежало серьезно приступить к лечению и выяснению этиологических причин данного явления. Пока же мысль о психической заразе больше всего сосредоточивала на себе внимание окружающих, и дальнейшее могло только подкрепить это предположение.

Теперь и я чувствовал себя неважно. Не то, чтоб я ощущал какое-либо болезненное состояние, но просто я как бы предчувствовал приближение катастрофы и со мной... Продолжалось это ощущение один момент, за которым сейчас же почувствовалась какая-то волна неопределенного ощущения, прилив чего-то невыразимо тягостного, как легкое дуновение ветерка, подступающего как бы со всего организма к горлу, к голове, к мозгу... и я потерял сознание... Разумеется, и мой припадок был точной копией предыдущих и так же, как они, разрешился глубоким сном. Но мне кажется, что у меня он сопровождался некоторыми особенностями, что и побуждает меня остановиться на этом описании несколько подробнее.

Мой глубокий сон после припадка, видимо, продолжался довольно долго, ибо сознание вернулось ко мне при очень странных условиях уже в Москве. В том пассажирском поезде, к которому были прицеплены наши вагоны, а может быть, и в другом, но одновременном, ехали родственники моей жены, желавшие проводить нас, сколько возможно, в наше

далекое путешествие. Благодаря редкой гуманности начальника нашего поезда, полковника Мациевского (о нем я подробнее расскажу позже), они имели с нами продолжительные свидания повсюду, где это было возможно. В Москве, где поезд наш стоял довольно долго на запасных путях, Мациевский впустил наших родных для свидания с нами в одно из отделений нашего или какого-либо другого соседнего пустого вагона. Как это все произошло, какими перипетиями сопровождалось, мне это осталось неизвестным. Я все еще был в бессознательном состоянии и впервые пришел в себя при следующей обстановке: я сижу рядом с женой Розой и держу в руке персик, которого однакоже не ем; мы окружены родными Розы, здесь ее старушка мать, брат В. Л. и сестра Е. Л.; здесь же несколько наших близких друзей. Я оглядываюсь с удивлением, так как зрительные впечатления я только-что начал воспринимать, хотя, вероятно, сидел здесь перед тем с открытыми глазами, без чего вряд ли мог попасть в эту обстановку. Вокруг меня продолжается разговор, начатый ранее, откуда мне ясно, что я сижу здесь не первый момент. Ко мне обращаются с вопросами; я их отлично понимаю, но не могу на них отвечать — ко мне еще не вернулась способность речи, пока я еще без языка. Мать настаивает на том, чтобы мне дали супу; я отрицательно качаю головой, но суп приносят, и я, уступая общему желанию, пытаюсь проглотить ложку супа, который в тарелке держит Роза, но мне стоит это больших усилий. Так тянется несколько мучительных минут, когда я пытаюсь безуспешно овладеть моими органами чувств и движения. Но в то же время во мне повторяются уже знакомые ощущения приближающегося припадка — опять то же чувство зарождающейся где-то в организме неопределенной волны, как бы дуновения в направлении к мозгу... и, уверенный в повторении припадка, не будучи в состоянии произнести ни единого слова, но страстно желая избавить от неприятного зрелища наших дорогих собеседников, я делаю над собой неимоверное усилие, встаю и быстрой, но колеблющейся походкой направляюсь к выходу из вагона. На вопрос: куда? зачем? я не имею силы отвечать; я спешу выйти из вагона, но успеваю достичь только выходной двери, как волна, лишающая меня сознания, уже подходит к моему мозгу, судорога тела поворачивает меня несколько в сторону, и я с глухим, ясно мной самим сознаваемым стоном падаю на руки В. Л-ча, снова потеряв сознание.

Я очнулся на свежем воздухе, лежа на траве, вблизи наших вагонов, прикрытый своим халатом. Роза, оказав-

шаяся подле меня, пояснила мне, что по распоряжению приглашенных врачей всех заболевших решили вынести на свежий воздух и здесь дать им отдохнуть до отхода поезда. Я взглянул кругом себя и успел увидать пять или шесть таких же, как я, трупов, лежащих на земле. Вслед за этим я вновь впал в бессознательное состояние или в очень глубокий сон — для меня решить это было затруднительно, так как переход мой снова в вагон и начало дальнейшего нашего пути ускользнуло от моего сознания. Вновь и окончательно я очнулся, когда мы приближались уже к Нижнему-Новгороду, и опять около себя, как ангела-хранителя, я почувствовал и увидал обеспокоенное милое лицо Розы...

Из всех мужчин, составлявших нашу партию, эта болезнь пощадила только одного Златопольского; ни одна женщина также не заболевала этими припадками; зато у всех остальных припадки повторялись от двух до пяти раз с различной степенью интенсивности, в зависимости от силы их предшествовавшего утомления и истощения. Врачебные консультации над заболевшими были очень поверхностны, точной этиологии и диагноза установлено не было; разнообразные мнения сходились, как на причинах болезни, на истощении, бессоннице, чрезмерно сильном возбуждении; не исключалось и влияние нервно-психической заразы; что же касается диагноза заболевания, то кроме само собой ясного определения, как заболевания нервного характера, никто из врачей не рискнул определить его точнее. Быть может, при более глубоком изучении специалистами этого явления, они нашли бы в нем признаки истерии, а приняв во внимание по возможности все условия предшествовавшей жизни пациентов в одиночном заключении, быть может, они смогли бы дать этой форме временного заболевания и какое-либо соответственное название.

Да простит мне читатель это длинное и слишком специально патологическое описание постигшей нас в пути на первых же порах неприятности, но мне представляется не безынтересным детальное описание этого заболевания человеком, непосредственно перенесшим его на самом себе. Чтоб покончить с этим эпизодом окончательно, я должен прибавить, что некоторая степень нервного недомогания или психического угнетения, как прямой результат этой болезнн, удерживалась в моем организме по крайней мере в течение еще целого месяца.

2. Волга и Кама.

Так мы доехали до Н.-Новгорода, где нам предстояла пересадка на арестантскую баржу, чтобы доплыть на ней за пароходом до Перми. Это была обыкновенная небольшая баржа, с маленькими каютами на носу и на корме для начальства и конвоя и с трюмом для нас. Средина палубы между каютами, отделенная от бортов сплошной частой решеткой, представляла собой ограниченное пространство, куда выпускали нас из трюмов подышать свежим речным воздухом, время от времени, в виде прогулок.

Как отчетливо ясно, как живо, словно сейчас, перед моими глазами стоит бледное, печальное, но и спокойное лицо старушки, провожающей свою любимую дочь в это далекое, неведомое путешествие! Это мать Розы, не оставляющая нас своими попечениями с начала нашего процесса вплоть до этого пункта, дальше которого она уже не имела сил и возможности сопровождать нас. Сколько нежного чувства, сколько энергии и предусмотрительности было вложено в ее заботы, чтобы облегчить сколько возможно предстоящие годы испытаний и невзгод. Невольно приходит в голову мысль о несоответствии всей тяжести ощущений, падающих на долю молодежи, убежденно кидающейся в пучину самопожертвования, и родителей этой молодежи, страдающих и за себя и за нее.

Кажется, никогда не смогу забыть это печальное лицо бедной матери, стоящей на берегу и тревожным взглядом провожающей медленно отплывающую баржу. Пространство между берегом и баржей все больше и больше увеличивается, линии и контуры лиц все больше сглаживаются, туман все увеличивающейся дали больше и больше окутывает милые лица, пока, наконец, все не сливается в одно общее пятно, где нельзя уже отличить отдельную человеческую фигуру. Отъезд совершился, можно вернуться к обычным интересам дня, поскольку они у нас уже установились, но только-что пережитая картина разлуки еще долго будет стоять перед нашими глазами и не забудется во всю предстоящую жизнь.

Спокойно, бесшумно плывет баржа по волнам великой реки, мы прислушиваемся к тихому плеску воды, разбиваемой ее носом, и любуемся причудливыми берегами Волги и особенно Камы из окон нашего трюма, а изредка, во время прогулок, и через решетку по бортам баржи. Мне хорошо была знакома эта дорога, я не раз проделал ее в период своего студенчества, но большинство моих спутников видят ее впервые. Первый

поволжский плес от Нижнего до впадения Камы, пониже Казани, с его низменными, подчас унылыми берегами, но с широким водным простором, все же мало останавливает на себе внимание путников, но красавица Кама по мере приближения к Перми все больше и больше привлекает к себе наши взоры, утомленные до этого времени лишь продолжительным созерцанием серых стен тюрьмы.

Но пора познакомиться как с составом нашей партии, так и с нашим начальством. Последнее сосредоточилось для нас в лице гвардейского полковника Мациевского. Не ведаю, каким образом попал он в коменданты нашей партии: назначен ли он был от военного ведомства, или задумал перейти в корпус жандармов и, прежде чем одеть синий мундир, получил, в виде пробного испытания, эту командировку,— не знаю. Во всяком случае этот добродушный человек не очень охотно брался за свое дело, и, как выяснилось скоро, очень боялся, предполагая в нас встретить людей, потерявших всякий человеческий образ, отпетых злодеев, каторжников чистой воды. Жена провожала его с плачем и рыданиями, как заранее обреченного на смерть; ведь вести большую партию политических каторжан, убийц, злодеев и даже цареубиц в ее глазах было равносильно собственной погибели, так казалась ей неизбежна катастрофа при первом же столкновении с нами. Только крайняя материальная нужда толкала нашего полковника на эту хорошо оплачиваемую командировку. Он должен был провести нас от Петербурга до Томска и там сдать всю партию местному начальству. Но первое же знакомство с нашими представителями показало ему всю ошибочность его предположений. А ознакомление это по необходимости началось с первых же моментов после отъезда из Петербурга. Естественно возникало много вопросов, касающихся чисто-внешней стороны жизни нашей партии: вопросы хозяйства, расходованья денег, переписки с родными и прочее и прочее — не могли быть разрешены без непосредственного участия нашего полковника. Нашими делегатами в большинстве были наши дамы; они лучше умели разговаривать с начальством, да и последнее, конечно, было всегда мягче с женщинами, чем с нашим братом. Притом мы, хорошо сознавая ограниченность наших прерогатив, не могли и не хотели быть требовательными и довольствовались лишь справедливым удовлетворением наших желаний и потребностей. На это полковник шел охотнее и охотнее, по мере того как убеждался, что имеет дело в нашем лице с обыкновенными интеллигентными людьми, не имеющими даже отдаленного сходства с той

характеристикой, какую составила себе о нас его супруга. Кончилось тем, что со многими из нас под конец пути полковник был прямо в дружеских отношениях, старался быть нам полезным во всех возможных случаях, вплоть до исполнения наших интимных поручений невинного свойства, и признался, что в конце концов написал своей жене, до какой степени они оба ошибались в нашей оценке и что теперь, ознакомившись со своей партией, он всегда желал бы иметь общение только с людьми нашего класса и характера. Особенно импонировали полковнику наши женщины, в большинстве не лишенные светского опыта и умевшие внушать к себе и своим идеям высокую степень уважения. С ними он часто беседовал запросто и благодаря именно им, и, конечно, свойствам самого полковника, его мягкости, известной степени гуманности и беззлобию, у нас установились хорошие отношения с начальством, не нарушавшиеся за все время пути, если исключить один печальный случай, имевший место почти перед самым Томском, о котором я и упомяну в свое время.

Таково было наше начальство, от поведения которого в значительней степени зависело и самое спокойствие всей партии. В другом месте, характеризуя состав подсудимых на нашем процессе, я указывал, что некоторыми своими качествами подсудимые, и особенно женщины, которых у нас был порядочный процент, на ряду с общей постановкой суда, возбуждали некоторую симпатию даже и у заматерелых власть имущих бюрократов[1]. Сейчас мне приходит в голову, не из чувства ли такой же симпатии к нашей партии, основой, главным контингентом которой являлись участники этого процесса, был назначен комендантом человек помягче и порассудительнее? Это возможно, ибо и не такие еще парадоксальные противоречия уживались в нашей бюрократии.

Что касается до состава нашей партии, то прежде всего необходимо заметить, что все без исключения члены нашей компании были далеки от тени какого бы то ни было уныния и душевного угнетения. Конечно, контраст с предшествовавшим образом жизни был колоссален, удары, посыпавшиеся на наши головы, не были легки, но они никого не согнули и ничем не отразились на нашем душевном равновесии. Мы ехали с полной уверенностью, что испытания наши временны, что мы, выбитые из строя, уже заменены новыми силами, что возрождение родины близко... Правда, разочарования стали бить

---

[1] В главе „Процесс 17-ти в 1883 г.“.

нас на первых же порах, но мы скоро справлялись с ними, и наша уверенность вырастала снова. Таким образом, вся наша последующая жизнь прошла под знаком надежды на лучшее будущее, без чего, конечно, и нельзя было бы существовать. А в то время, да и долго еще спустя, мы переживали момент не совсем увядшей свежести, мы были еще полны впечатлениями недавнего прошлого, еще далеки от грозных симптомов реакции, вскоре захватившей страну почти на четверть века. И мы ехали спокойно, и я сказал бы — радостно, довольные нашим общежитием и еще не вполне измученные тяжелыми лишениями.

Ядро нашей партии, как я сказал выше, составляли участники „процесса 17-ти“ в 1883 г., а именно все, кроме 6 человек, приговоренных к смерти, помилованных после коронации Александра III, заключенных потом в Алексеевском равелине и Шлиссельбургской крепости и скоро там погибших. Остальные 11 человек этого процесса шли в нашей партии (Стефанович, Ивановская, Лисовская, Калюжный, Смирницкая, Корба, Борейша, Гринберг, Юшкова и мы с женой); к нам были присоединены, кроме этого, несколько участников предыдущих процессов, а именно: Лев Златопольский, Якимова, Лебедева, Мирский, Нагорный, Волошенко, Павел Орлов, Фомин.

Из всех перечисленных только-что 16 каторжан нашей партии в живых к настоящему моменту, увы, осталось только пять человек![1]

Из тумана моего прошлого ярко встают дорогие и незабвенные образы; они скрашивали наше существование в далеком прошлом; они освещали наш жизненный путь на пространстве всей дальнейшей жизни; они и сейчас своим примером самопожертвования как бы рассеивают сумрак настоящего... И мысль невольно и бессознательно обращается к этим светлым точкам, и нет сил обойти молчанием эти образы: так настойчиво и неотрывно гнездятся они в памяти... Татьяна Ивановна Лебедева судилась по „процессу 20-ти“ в 1882 г. Измученная, больная женщина, очевидно, была отправлена в Сибирь в виду ее неизлечимой болезни, но своим присутствием среди нас, несмотря на свое болезненное состояние, Татьяна Ивановна действовала всегда ободряющим образом. Эта очень умная, образованная и необыкновенно сердечная женщина пользовалась всегда и всюду искренней любовью окружающих. И недаром: ее спокойное благоразумие, убежденность и безгранич-

[1] Ивановская, Корба, Фомин, Якимова и Прибылев.

ная преданность делу не только импонировали более молодым членам нашей компании, но возбуждали и одушевляли остальных и во всех нас поддерживали бодрость и уверенность в благе грядущего будущего. Вот у кого надо было учиться твердости духа и последовательности в действиях, несмотря на физическую слабость и тяжелую болезненность этой нежной организации!

Иннокентий Федорович Волошенко и Павел (Павлюк) Орлов, уже побывавшие на Каре и вывезенные оттуда в Петербург после волнений в тюрьме, сопровождавших массовый побег 1882 г., вновь возвращались на Кару и угодили в нашу партию. Волошенко — очень оригинальная, самобытная натура. Будучи хорошим рассказчиком, он за всю дорогу вплоть до Красноярска, где мы должны были с ним расстаться, занимал у нас первенствующее место желанного собеседника, особенно потому, что был много старше нас своим тюремным опытом.

А Павлюк Орлов, рано, чуть ли не 17 лет, попавший в тюрьму, умело воспользовался годами заключения, перечитал массу книг, усидчиво изучал науки и особенно философию и постепенно становился большим эрудитом. Поэт в душе и отчасти на деле, он обладал спокойным нравом, всегда ровным настроением и был одним из самых интересных собеседников как во время нашего пути, так и впоследствии на Каре. Выйдя затем на поселение в Якутскую область, он, как говорят, один из первых начал пропаганду изучения местной жизни и широкого исследования необъятного Якутского края и даже практически приступил к кое-каким геологическим работам.

Осип Нагорный, молодой студент, осужденный за организацию убийства шпиона Прейма, очень сдержанный и корректный, прекрасный товарищ, доказавший это многими годами совместной с нами жизни. Он не обладал выдающимися способностями, но был всегда на месте, если брался за какое-либо дело, и в практической жизни оказался прекрасным дельцом и организатором.

Иван Васильевич Калюжный, о котором мне приходилось уже говорить[1], — нервный, подвижной, симпатичнейший человек, — являлся всегда душой всякого общества и своим добрым нравом умел разгонять самые мрачные тучи, нависавшие иногда, в условиях нашего передвижения, и над людьми, несклонными к беспричинной тоске. Очень способный, очень деятельный, хороший языковед, он не терял даром времени и

[1] В главе „Процесс 17-ти в 1883 г.“.

в дороге читал, что мог добыть, в промежутках между остроумными и веселыми собеседованиями. Его жена, Смирницкая, по своему характеру была его прямой противоположностью. Это была натура сосредоточенная, молчаливая, но в высшей степени добрая, отзывчивая и решительная. Оба вместе, они были чистыми альтруистами, лишенными тени какого-либо эгоизма.

Леон Филиппович Мирский, просидевший несколько лет в равелине, был неисчерпаемым источником рассказов как из жизни этой крайне суровой и изолированной тюрьмы, так и из последнего периода его жизни на воле. 13 марта 1879 г. он стрелял в шефа жандармов Дрентельна, подъехав верхом на лошади к его карете. Покушение было неудачно, и Дрентельн попытался догнать умчавшегося Мирского, опрашивая постовых городовых по пути всадника. Так он, наконец, добрался до городового, который держал под уздцы лошадь Мирского. Уверенный, что последний уже пойман, шеф жандармов спросил городового: „Где преступник?“—Ничего не понимающий городовой объяснил, что какой-то молодой барин дал подержать ему разгорячившуюся лошадь, пока не придет его кучер, а сам уехал на извозчике. „Дурак“ — коротко бросил генерал и продолжал свой путь. Молва говорила тогда, что Мирский упал с лошади и ушиб себе ногу. Результатом этой молвы было то, что на другой день тогдашний градоначальник поарестовал немало хромых людей, среди которых однакоже не оказалось ни одного Мирского. Подлинный Мирский был арестован в том же году в Таганроге, оказал вооруженное сопротивление, затем судился и до сих пор отсиживал в Алексеевском равелине.

Был с нами и еще один каторжанин — Алексей Фомин, бывший офицер, судившийся отдельно военным судом в том же 1883 г. Это не тот Алексей Фомин-Медведев, который прибыл к нам на Кару много спустя, года через два после описываемого мною времени, и о котором рассказывал Вл. Гал. Короленко при описании пребывания в Тобольской тюрьме.

Какая разнообразная, страшная и тяжелая судьба постигла в конце концов почти всех указанных лиц! Т. Ив. Лебедева, так же, как и Антонина Лисовская, умерла от туберкулеза вскоре по приезде на Кару; П. Орлов скоро вышел на поселение и при поездке из одного наслега Якутской области в г. Якутск был принят разбойниками за какого-то богатого купца, крепко насолившего населению, и убит ими[1]. Волошенко

[1] В ночь на 1 января 1890 года.

при всей своей болезненности дотянул до наших первых „свобод", пережил конституцию 1905 г., принимал посильное участие в движении этих лет и умер в больнице в г. Полтаве, оставив много пока еще не разобранных, но, надо думать, ценных воспоминаний и бумаг. Мирский, окончив годы каторги, жил на поселении в Верхнеудинске, где и захватило его движение 1905 и 1906 гг., когда он попал под тяжелую руку Ренненкампфа и его карательной экспедиции. За литературную деятельность в местной газете он был приговорен к смертной казни (второй раз), затем был помилован, попал вновь на каторгу, которую и отбыл вторично. Февральская революция, как и всех других, освободила его совершенно, так сказать перевела в первобытное состояние, но он оказался уже настолько старым, слабым и больным, что вынужден был остаться на месте и одиноко, бесполезно доживал свои последние безрадостные дни в г. Верхнеудинске, где и умер [1].

Но трагичнее всего была судьба моего милого сопроцессника, жизнерадостного, веселого и так мало думающего о себе Ванички Калюжного. Вместе со своей сестрой, молодой несчастной девушкой, и женою Смирницкой — они смертью своей запечатлели протест против грубого насилия над беззащитными людьми, закончившегося позорным наказанием Сигиды [2].

Но мимо, мимо этих тяжелых картин, и сейчас еще, невзирая на переживаемые в данный момент катастрофические ужасы нашей великой революции, поднимающих наши седые уже волосы!..

Кроме каторжан, в нашей партии еще из Петербурга вышло несколько человек административных; это были: премилый, юный студент А. Л. Блек, муж М. А. Юшковой — Луговский, учитель гимназии из Гельсингфорса П. А. Сикорский и кое-кто еще, имена которых я теперь уже не припоминаю. Начи-

---

[1] Теперь, когда перестали быть тайной скрытые действия охранки, обнаружилось и то антиобщественное, грязное поведение Мирского в равелине, которым он завоевал себе милостивую отправку в Сибирь, взамен заключения в равелине или в Шлиссельбургской крепости. В одной из книжек „Красного Архива" разоблачено его предательское поведение: он выдал жандармам секрет сношений Нечаева с Исполнительным Комитетом „Народной Воли" и не погнушался после этого испросить себе лучшее содержание сравнительно с другими заключенными (именно 75 к. в день вместо 10 к. для всех других), пока не был отправлен в Сибирь. Все это раскрылось только после революции, а в описываемое здесь время Мирский, несмотря на многие отрицательные и неприемлемые для окружающих черты своего характера, все-таки признавался ими полноправным товарищем. Ред.

[2] См. ниже главу „Карийская трагедия".

ная с Москвы, к нам присоединили большую партию административно ссылаемых южан из Киева и Одессы, среди которых помню Гортынского, Урусова, Дзивалтовского-Гинтовта, Поляка и др. Последний — Поляк,— шпион или предатель с юга, был под бойкотом своей партии и производил тяжелое впечатление. Вечно в стороне, всегда одинокий, он сидел, как затравленный зверек, зло посматривая на окружающих и как-будто каждую минуту ожидая нападения. В конечном счете все перестали обращать на него внимание, и постепенно он вполне вышел из поля нашего наблюдения. Все же он продолжал с нами путь вплоть до Енисейской губернии.

А наша баржа плывет, подвигается вперед, неуклонно, как само время, несет, приближает нас к неведомому будущему...

Берега Камы красивы, как всегда, ее чистые волны отражают ясный небосвод, впереди виднеются жилые постройки — начало большого города: это — Пермь, где нам предстоит пересадка на железную дорогу.

3. На родине.

Мы в Перми. Самого города мы не видали, так как с пароходной пристани конвой отвел нас прямо на вокзал и усадил в готовые, уже ожидавшие нас вагоны. Но мне знакомо здесь все, недаром часть своих гимназических лет я провел в этом городе.

Нам предстоит сделать последний железнодорожный путь, 400 с лишним верст от Перми до Екатеринбурга, откуда мы поедем уже на лошадях или пойдем пешком — пока это нам неизвестно.

Во время нашей посадки в вагоны передо мною мелькают знакомые лица, кое-кто из них рискует со мною раскланяться, а кто-то решил даже и близко подойти ко мне и сообщить, что на одной из станций со мной попытается повидаться мой брат. Этого однакоже не случилось по причинам, от нас не зависящим, но встреча знакомых лиц, своим видом ясно выражавших интерес и несомненное сочувствие нам, не могла не волновать меня, в этих необычных условиях попавшего на родину.

Поезд двинулся, и перед нашими глазами замелькали поля, вековые леса, горы, долины и станция за станцией. Вспоминаю, как на одной остановке, при скрещении поездов, наш вагон остановился как раз против вагона II класса встречного нам поезда. Я стоял у окна. Вдруг вижу на площадке вагона

II класса своего старого студенческого товарища. Он стоял рядом с очень пожилым, необыкновенно интеллигентного типа господином и не мог скрыть от него своего движения не то удовольствия, не то изумления от неожиданности, когда в окне напротив увидал и узнал меня. Его сосед, видимо, обратился к нему за разъяснением представшей его глазам картины и, как только получил таковое, немедленно и чрезвычайно почтительно снял шляпу и отвесил мне глубокий поклон. Я, разумеется, тоже был взволнован неожиданной встречей, а от поклона мне неведомого человека совсем растерялся. Я тоже снял свою арестанскую фуражку и своей бритой наполовину головой еще больше обнаружил явную свою принадлежность к определенной категории людей...

Время шло, поезд двигался, и мы уже подъезжали к Екатеринбургу. Знакомый, красивый городок, но пока мы могли видеть только его отдаленную окраину. Оказалось, что на вокзале уже приготовлены для нас лошади, и нас без промедления начали рассаживать по почтовым тарантасам. Пока это происходило, нам с женою дали короткое свидание с двумя моимы родственниками, жившими здесь. Они упросили полковника Мациевского разрешить повидаться с нами, хотя бы в вагоне, так как при спешности нашей отправки они рисковали и вовсе не увидать нас. Короткое свидание, когда, торопясь, не успеваешь установить сколько-нибудь правильный обмен мыслями, не удовлетворило ни ту, ни другую сторону. Не успели мы обменяться приветствиями, как нас позвали уже усаживаться в тарантас.

Простая почтовая кибитка, запряженная тройкой лошадей, с ямщиком и неизбежным жандармом на козлах, была готова к нашим услугам, как и целый ряд других для всей нашей партии. Весь наш кортеж, с отдельными экипажами для полковника — во главе и для конвоя — в хвосте его, двинулся в путь полным аллюром привычных к гоньбе лошадей. Быстро промелькнули перед моими глазами знакомые улицы и дома, быстро промчались мы мимо квартиры моих родных, высыпавших на балкон и приветствовавших нас, и мы уже за городом, на широком просторе зауральских степей.

Наша кибитка была предназначена для трех седоков. В нее посадили меня, Розу и Дзивалтовского-Гинтовта. Кое-как в ней был уложен наш багаж, и, благодаря его незначительности, сидеть нам было просторно. Любуясь красивыми видами дороги, беседуя о разных разностях и обмениваясь впечатлениями, мы незаметно проезжали станцию за станцией.

Между прочим, припоминаю рассказ Гинтовта, как он потерпел крушение на Средиземном море, проезжая в Марсель, и три дня плавал по воле волн, держась за обломок мачты своего погибшего парохода, пока не был подобран моряками-итальянцами. Усталый, изнемогающий от холода и голода, он призывал уже смерть на свою голову, но ему суждено было оправиться от страданий для того, чтобы через некоторый промежуток времени пойти в ссылку в Сибирь...

Наши тройки мчались, этап за этапом оставались позади нас, и мы быстро приближались к моему родному городу Камышлову. Два последних этапа перед ним, где происходила смена наших лошадей, были мне знакомы раньше — я посещал их из любознательности. На этот раз они, в виду приема таких гостей, как мы, были украшены зелеными сосновыми ветками, что, в связи с недавно вымытыми полами и нарами, производило впечатление чистоты и было не лишено аромата свежести. Этапные офицеры, обычно маленькие царьки в своих маленьких владениях, на этот раз, перед лицом нашего полковника, утрачивали все свое значение и являлись не больше как исполнителями его велений. Один из них, по старому знакомству со мною, радушно меня приветствовал и предупредил об ожидавшем меня свидании с родными в городе.

Вот и мой родной маленький городок! Здесь моя семья прожила беспрерывно много больше 30 лет, здесь я родился и вырос, здесь я знал каждый закоулок и каждого жителя, в свою очередь знавшего и меня. Сколько детских и юношеских воспоминаний пробуждает во мне каждый дом, каждая улица, мимо которых я сейчас проезжаю! Бывало каждый раз еще при жизни отца, после сколько-нибудь продолжительного отсутствия из дома, я подъезжал к этому городку с радостным замиранием сердца; и я спешил в родную семью, к родным людям, чтобы как можно скорее войти в курс их жизни, разделить с ними и горе и радость. То было в период моей свободной жизни... Насколько же преувеличенно должны были овладеть мною те же ощущения теперь, когда я еду всего только мимо этого города, вижу его на один миг и, быть может, вижу в последний раз! Я стараюсь запечатлеть в своей памяти каждую мелочь, каждую знакомую уже мне отличительную его черточку, чтобы по крайней мере надолго сохранить в себе образы родного уголка.

Вот мы взбираемся на небольшую горку, являющуюся пограничной чертой города, чтобы сразу очутиться на площади единственной в нем церкви — городского собора; вот старое

полуразвалившееся здание „кордегардии“ — полутюрьмы, где в давние, давние годы временно содержались привозимые в Сибирь польские повстанцы 63-го года, удивляли нас, мальчуганов, стройным пением польских революционных песен и вызывали в нас к себе глубокое сочувствие; вот, наконец, наш старый дом, где протекло все мое детство, где прожиты мои первые радости и первые огорчения. Когда-то этот старый дом был полон нашего детского шума, потом юношеских собраний, совместных чтений и споров, кристаллизовавших наши взгляды, наше миропонимание... Теперь же из его окон выглядывают чужие, посторонние мне лица... Когда-то, с самого раннего детства, отсюда мы привыкли видеть, как ежедневно проезжали вереницы особых экипажей-линеек с плотно сидящими по бокам их седоками; это — арестанты, „несчастненькие“, с испитыми, истощенными лицами, в серых однообразных костюмах, чаще с цепями на ногах; такие партии „фарфозных“, по местному выражению, ежедневно и неизменно в определенный час провозились мимо нашего дома сперва к тюрьме, а оттуда дальше в Сибирь, на каторгу — „вдоль по Владимирке“!

Думалось ли мне когда-нибудь раньше, что и я могу попасть в число почти таких же „фарфозных“? — отрицать это я, пожалуй, не стал бы...

Недалеко отсюда, за углом, находится тюрьма, где мы должны переночевать. Перед ее воротами, к нашему величайшему удивлению, стоит большая толпа разного рода людей, чуть не половина города, собравшаяся здесь, чтобы встретить нашу партию. Камышлов в описываемое время насчитывал всего лишь две тысячи жителей, из которых несколько сот падало еще на цыган, обитающих в особой части города, носящей название „Пауты“. Понятно, стало быть, что известие о прибытии нашей партии, полученное моими родными, быстро разнеслось по городу и собрало сюда толпу любопытствующих. Я видел среди них много знакомых лиц; тут были мои сверстники, товарищи по школе, по играм, былые друзья и былые враги; были тут люди из так называемого общества и, кажется, полный штат перебывавшей в нашей семье прислуги. К сожалению, мы не могли долго любоваться этим зрелищем и не могли продлить удовольствия толпы понаблюдать за нами, так как открытые ворота тюрьмы ожидали нас. Но передо мной стал вопрос: Что же? только одно любопытство захудалого и не имеющего никаких внутренних интересов городишка собрало сюда эту толпу? Или

тут сказалась известная степень сожаления или сочувствия, а быть может, и некоторой гордости, что в числе борцов за правду и пострадавших за нее они видели и своего согражданина!.. Пожалуй, вернее всего предположить, что этой толпой руководила комбинация всех перечисленных элементов.

Широкий тюремный двор был разделен деревянной решеткой на две половины. В первой из них, ближайшей к воротам, на скамейке против домика смотрителя тюрьмы, построенного здесь же во дворе, сидели мы с Розой, окруженные моими сестрами и братьями, еще оставшимися и жившими в этом городе. На другой половине двора, за решеткой, вся остальная наша партия хозяйничала, подкреплялась пищей и непринужденно беседовала между собой.

Мы же спокойно обменивались впечатлениями, осведомлялись о событиях минувшего года, который в сущности был вычеркнут из нашей жизни, и строили планы на ближайшее будущее. Постепенно сумрачные лица моих родных при виде нашего спокойствия и бодрости разглаживались, а наша уверенность в близком и благополучном окончании наших испытаний, казалось, вселяла надежду и в сердца наших собеседников. Только моя маленькая 10-летняя племянница горько, горько разливалась слезами, так удручал ее мой необычный костюм... Так беседовали мы наедине в своей компании, а иногда при участии начальства — смотрителя тюрьмы и исправника города — моих старых знакомых, — пока не наступили сумерки. Тогда нас пригласили в квартиру смотрителя, где было приготовлено для нас обильное угощение. А когда пришло, наконец, время расстаться, мы получили много практических подарков, очень пригодившихся нам впоследствии, как, напр., теплые чулки, кашнэ и пр., и в заключение целую пачку рублей на мелкие дорожные расходы. Как я сказал, все это делалось в присутствии и с соизволения местного полицейского начальства; что же побуждало их быть столь снисходительными и доброжелательными? Конечно, здесь играло большую роль их частное знакомство с моими родственниками, но, я уверен, все же отчасти и их подкупала в нашу пользу чистота побуждений и бескорыстие наших задач, в чем они не имели основания сомневаться.

В тюрьме на ночевку нас разместили по нескольким камерам. Нам с Розой досталась маленькая комнатушка, очевидно, камера одиночного заключения, о существовании которых здесь я и не подозревал. Под влиянием только-что минувших впечатлений и разговоров трудно было рассчитывать на спо-

койный сон, но утомление брало свое, и по крайней мере половину ночи мы все же спали крепко. На утро, прежде чем отправиться в дальнейшую дорогу, я был вызван в общий тюремный коридор еще для одного короткого свидания. Пришла повидаться и, как она говорила, снабдить меня своим благословением в дальнюю дорогу одна пожилая девушка-богомолка, часто бывавшая у моего отца, своего духовного отца, для благочестивых разговоров и страшно привязанная ко всей нашей семье. Это оригинальнейший тип безобидного, идеально чистого, всецело преданного своей идее существа, характеристике которого должно было бы посвятить отдельное описание. „Дуня-грешница", как звали издавна все мою посетительницу, была действительно человеком не от мира сего: у нее уже не было никого родных, она никогда не имела собственного угла и жила то в одной, то в другой семье, где больше всего были нужны ее услуги; у нее не было никакого имущества, так как запасная пара белья и несколько божественного содержания книг укладывались легко в ее котомку; она не стяжательница, хотя за свою работу — чудной поварихи на торжественных обедах и вечерах — она охотно брала вознаграждение; и когда таких вознаграждений у нее скапливалось достаточно, она набивала свою котомку и отправлялась странствовать по святым местам, возвращаясь домой только по израсходовании последней копейки. И так всю жизнь, не уклонившись ни одного раза в сторону от раз намеченной схемы жизни! Она была во всех святых местах России, была в Соловках, была и в Иерусалиме и мечтала еще о многих других путешествиях. Она не вела никаких других разговоров, кроме божественных или на хозяйственную тему, во время своей работы; она никогда во всю свою жизнь никого не обидела, никому не причинила ни малейшего зла, хотя непрестанно называет себя „грешницей"... Я видел ее потом, через 25 лет после того, как она пришла ко мне на свидание перед нашим отъездом: она была такой же, какой я ее знал с детства, даже удивительно мало постаревшая, в том же черном платье и черной косынке, так же недавно явившаяся из далекого богомолья, и так же наивно зовущая себя „грешницей"... Удивительный тип сознательной и последовательной преданности идее!

Снова почтовые кибитки, запряженные тройкой лошадей, и мы быстро мчимся от этапа к этапу, где за время перепряжек успеваем выпить чая и закусить. Мои две старшие сестры получили разрешение сопровождать нас некоторое время и, ко-

гда мы входили на этап, они встречали нас там к большому нашему удовольствию, вместе с нами подкрепляли свои силы, разговаривали, о чем попало, пока не приходило время попрощаться. Но они не выдерживали своего характера, вновь откладывали свое возвращение домой до следующего и следующего этапа, и мы радовались, неожиданно встречая их таким образом при каждой нашей остановке.

Но должен был прийти конец и этому нашему общению: сестры вынуждены были, наконец, вернуться домой, а мы продолжали свой путь уже безостановочно до первого сибирского города — Тюмени.

Я знал, что где-то здесь, на границе Камышловского и Тюменского уездов, на большом почтовом тракте — Владимирка тож, сооружен большой каменный столб, на манер обелиска, как указание на этом месте географической границы между Россией и Сибирью; такой же точно пограничный столб, между Европой и Азией, поставлен на Уральском хребте, верст за 40—50 перед Екатеринбургом, по Сибирскому тракту. Мне хотелось остановить внимание наших спутников на этом указании границы, и, подъехав к этому месту, мы остановили на минуту наши тройки и подошли поближе к столбу, на двух противоположных сторонах которого были сделаны надписи: Россия — на стороне, обращенной к пройденному нами уже пространству, и Сибирь — в сторону нашего дальнейшего пути. Наш полковник Мациевский написал где-то на этом столбе свою фамилию, желая увековечить ее на этом многознаменательном месте. Никто из нас не пожелал последовать его примеру.

К вечеру следующего дня мы были уже в Тюмени, откуда на другой же день нам вновь предстояло пересесть на арестантскую баржу и совершить длинный, утомительный переезд по рр. Туре, Иртышу, Оби и Томи вплоть до самого города Томска.

Этот, если не ошибаюсь, двухнедельный однообразный путь не сопровождался для нас никакими особенностями, достойными того, чтоб их отметить. На одном только эпизоде следует остановиться на минуту.

За все время пути, начиная от Москвы, партия наша шла в одном и том же составе; только в Перми к нам присоединили одного административного ссыльного — Поддубенского, по болезни отставшего там от какой-то предыдущей партии политических. Этот Поддубенский, молчаливый, сосредоточенный и совершенно необщительный человек, был, несомненно, пси-

хически больным. Правда, в общежитии его болезнь ничем не сказывалась, кроме только-что указанных симптомов, но что им овладела какая-то навязчивая идея, типа мании преследования, для нас было вполне ясно. Все же его тихое спокойное поведение, при полном отсутствии сколько-нибудь агрессивных выступлений, не вызывало и с нашей стороны никаких предосторожностей по отношению к нему. Кончилось тем, что в большинстве мы как бы забыли об его присутствии среди нас, просто перестали его замечать. Но в его болезненной психике, очевидно, возникла и постепенно выросла мысль о нападении на него мнимых врагов. Таковым в его глазах прежде всего являлся наш комендант, полк. Мациевский, которому он ни с того ни с сего, без всякого повода со стороны последнего, и нанес „оскорбление действием".

Мы были справедливо возмущены, тем больше, что Поддубенский никому из нас не пожелал выяснить причины его нелепого поступка, а Мациевский был огорчен до глубины души и горько жаловался нам, предвидя печальные последствия этого инцидента. Но, к общему благополучию, таковых не произошло, как это будет видно из последующего.

Инцидент этот имел место на пути от Тобольска к Томску, когда мы ехали уже по Оби, следовательно, почти в самом конце нашего совместного с Мациевским путешествия, так как в Томске он должен был сдать нашу партию местному губернскому начальству.

Что сталось с Поддубенским, для нас осталось неизвестным, так как по приезде в Томск он тотчас же был от нас уведен и помещен в больницу. Во всяком случае мы имели основание быть вполне уверенными, что по поводу описанного инцидента никаких репрессий для него не последовало.

4. Томск. — Первый этапный сибирский путь.

Наша баржа остановилась на пристани р. Томи, в 7 верстах от города Томска. Здесь происходила наша сдача томскому конвою, который должен был препроводить нас в тюрьму. На первых же порах мы почувствовали, что граница Сибири нами перейдена. Это сказывалось во всех мелочах отношения к нам и нового конвоя, и самой администрации: не было того предупредительного и вежливого отношения, что было отличительной чертой всего нашего путешествия по России; но пока мы не замечали еще ни грубости, ни недоброжелательства поставленных над нами сибирских чинов, чего могли бы ожи-

дать от них мы, — в их глазах, простые арестанты, имеющие в виду лишь одну цель — обмануть, провести начальство, убежать. Не было принято во внимание ни наше слабое здоровье, ни силы, подорванные продолжительным заключением, а смотрели на нас просто как на людей, в большинстве здоровых и молодых и, стало быть, могущих обойтись без особенных попечений.

Началось с того, что семь верст, отделяющих нас от города, мы должны были пройти пешком, стиснутые в небольшую кучку конвоем и постоянно им подталкиваемые. Хорошо еще, что мы добились подводы для нашего багажа, который иначе пришлось бы нести на своих плечах. Этим мы были обязаны заступничеству полковника Мациевского, и это была его последняя услуга для нас.

Как бы то ни было, до Томска мы дошли благополучно, прошли главную улицу и были сданы в особую тюрьму, именуемую „содержающей“, в отличие от „пересыльной“. Эта тюрьма находилась почти рядом со строящимся зданием будущего первого сибирского университета. Нас разместили свободно в двух больших камерах по нижнему коридору, мужчин отдельно от женщин, что не представляло для нас никакого неудобства в виду того, что камеры эти никогда не запирались. Да и самый коридор запирался только на ночь, благодаря чему днем мы могли выходить на двор тюрьмы, впервые знакомиться с представителями уголовной ссылки, вечно здесь фланирующими, и через них сноситься с нашими томскими товарищами — заключенными и на воле.

Так мы узнали, что в той же тюрьме сидят лица, привлеченные к дознанию по „Красному Кресту“, организованному Богдановичем для помощи ссыльным, для их побегов и т. д. Между ними помню имена Юферова, Ярошинского; завести сношения с ними было даже необходимо кое-кому из нас, напр., Калюжному, принимавшему участие в этой организации в качестве помощника Богдановича.

Мы прожили в этой тюрьме две недели, без каких-либо инцидентов. Наш состав к этому времени несколько изменился; в Тобольске остались те, кто был поселен в Западной Сибири и, в частности, в Тобольской губ. Это были несколько человек административных, в числе которых был Луговский и М. А. Юшкова, осужденная на поселение; с нею мы простились очень трогательно и навсегда.

В свое время я упустил из вида указать, что из Петербурга с нами был отправлен пожилой уже рабочий, латыш

или эстонец. Вначале он растерянно уселся в углу вагона, боязливо озирался кругом, как бы боясь внезапного нападения со стороны незнакомого каторжного люда, и долго не мог прийти в себя. Он был так хорошо наслышан о пересыльных партиях, что не столько боялся ссылки, сколько долгого пути до нее. Пришлось много потратить усилий, чтобы его успокоить и уверить, что он попал не в уголовную партию, тем больше, что он ни слова не говорил по-русски и объясняться с ним надо было по-немецки. Этот латыш или эстонец также оставлен был в Тобольской губ.

Но и теперь, когда мое внимание останавливается на этом персонаже, я вспоминаю рассказы об одном почтенном хане из сартов, за участие в каком-то восстании в центральной Азии попавшем в политическую каторжную тюрьму на Каре[1]. Ни слова не понимая по-русски, страшно боясь русских каторжников и думая, что попал в их среду, наш хан — почти детская, непосредственная и простая, несложная натура — долго жил изолированной жизнью среди общей камеры, избегал не только общения с нею, но и сторонился от общей пищи, почти голодая. Так проходили месяцы, годы; он знакомился с русским языком, начинал сам объясняться, убеждался все больше и больше в деликатности своих подневольных сожителей и, что было ему особенно ценно, мог свободно отправлять ритуал своей религии, не только не вызывая насмешек, а, наоборот, чувствуя в высшей степени почтительное и уважительное отношение к своей вере. Хан кончил тем, что стал ближайшим, милым другом своих сокамерников; со всей силой своей непосредственности он полюбил своих товарищей, много говорил им о своей вольной азиатской жизни, считал их своими близкими, заменившими ему родных, детей и братьев, с которыми его разделила его злая судьба. Но тоска по родине съела этого сына степей, а злая чахотка скоро вырвала его из жизни. И он умирал с улыбкой на лице истинного фаталиста и со слезами на глазах, слезами благодарности тюрьме, приютившей его на старости лет...

В период нашего пребывания в томской „содержающей" нас посетил томский губернатор Красовский, имевший, повидимому, две цели: ознакомиться с нашим составом и предупредить о способе нашего дальнейшего передвижения — во-первых, и произвести небольшое следствие об инциденте между Поддубенским и Мациевским — во-вторых.

---

[1] Атанедес. Хан Магомед осужден за агитацию против русского владычества на 12 л. каторги в 1879 г.

И в том и другом отношении он, кажется, остался доволен; из беседы с нами он убедился, что мы не предъявляем никаких преувеличенных требований, а что касается столкновения Поддубенского с Мациевским, то мы употребили всю силу убеждения, доказывая, что со стороны нашего полковника не было ни малейшего повода не только для оскорбления его с чьей бы то ни было стороны, но и для простого недовольства им за все время нашего пути, что все это дело следует отнести на психоз, овладевший бедным Поддубенским. Повидимому, весь инцидент этим и закончился и не имел ни для кого никаких дурных последствий.

Давно уже, еще со времени выезда из Н.-Новгорода, наша партия сконструировалась в хозяйственном отношении. Стефанович был выбран нашим старостой, у него сосредоточились все наши денежные средства, он, выбрав себе соответственных помощников, закупал все необходимые для нас пищевые продукты, кормил нас всех, и никто больше ни о чем не заботился. Все делилось между нами сообразно потребностям каждого и, сколько помню, никогда ни возникало никаких неудовольствий, споров или недоразумений.

Так, в той же самой артельной организации мы двинулись и в дальнейший путь. Теперь наша партия состояла немного более чем из 30 человек, и мы двинулись из Томска со специальным конвоем до Красноярска.

Это путешествие продолжалось ровно месяц и не обошлось без кое-каких инцидентов, то трагического, то подчас комического свойства. Так уже в самом Томске, при переходе из „содержающей" в „пересыльную" тюрьму для дальнейшей отправки, произошел случай, который при других условиях мог бы окончиться печально. Час нашего выхода из тюрьмы каким-то образом, дошел до сведения товарищей-ссыльных, живущих в самом городе, и они не хотели лишить себя удовольствия проводить нас в далекое путешествие. И вот, при выходе из тюрьмы, мы увидали скромно стоящих на тротуарах человек 10 томских ссыльных с посильными приношениями, „гостинцами", в руках. Кое-что из этих приношений тотчас же, после соответственного осмотра, и было передано в наши руки благоразумной частью нашего конвоя, но одна корзина с кедровыми шишками почему-то не понравилась конному конвоиру и он, грубо вырвав ее из рук дамы, желавшей нас порадовать свежими кедровыми орехами, поднял корзину и опрокинул ее на виду всех присутствующих. Этот бессмысленный поступок возмутил всех нас и больше всего веселого, подвижного, лов-

кого и легко, как порох, вспыхивающего Ваничку Калюжного; он поднял подкатившуюся к его ногам увесистую шишку и бросил ее в виновника потери нашего угощения, так изловчившись, что попал ею прямо в его физиономию. Последовал шум и крик как со стороны нашей и провожающих нас, идущих на почтительном от нас расстоянии, так и со стороны конвоя. Готова была вспыхнуть схватка, был бы целый бунт, могущий дурно окончиться для многих из нас, но благоразумие старшего офицера конвоя взяло верх, и решение происшедшего он предоставил губернатору, который был вызван в пересыльную тюрьму ко времени нашей отправки в путь. А довольно длинное путешествие по улицам города успело охладить пыл даже самых горячих представителей нашей партии. Губернатор Красовский, повидимому, человек очень гуманный и легко разбирающийся в такого рода столкновениях, принял все наши резоны, обещал дать соответственную инструкцию нашему конвою в пути, и инцидент таким образом был исчерпан.

Начали мы это первое этапное путешествие вместе с небольшой партией уголовных арестантов, но были от нее все же несколько изолированы. Как привилегированным (тогда еще были такие!) и особенно как больным, нам было предоставлено несколько подвод, гораздо больше чем уголовным; на этапах, по особой инструкции, мы должны были помещаться в отдельных камерах, не смешиваясь с уголовными; наконец, самое отношение к нам конвойных было иное, чем к ним, что вызывалось уже не инструкциями, а примером видимого отношения к нам офицерства — с одной стороны, и тем, что сам конвой как-то усматривал в нас кое-что от „белой кости“— с другой.

Нас сопровождал специальный конвой от Томска до Красноярска, по одному солдату на каждого из нас, и он подкреплялся еще от этапа до этапа новыми этапными конвоирами, иногда с офицером во главе, имевшими в виду общий надзор за партией. Естественно, что наш постоянный конвой, да еще приставленный на все время пути к одному и тому же человеку, очень скоро привык, а отсюда в известной мере привязался к нам. Например, мой конвоир — Непомнящий — дружил со мной настолько, что, по примеру моих товарищей и Розы, стал просто называть меня моим уменьшительным именем. Так подъезжая уже к Красноярску, он специально приостановил нашу подводу, несколько приотставшую от общей партии, бросился ко мне с объятиями и сказал: „Прощай, брат Саша, в городе уж не увидимся!“ А вслед за объятиями мы отпра-

вились дальше—он зашагал с ружьем на плече, а я с побрякивающими цепями...

Разумеется, такой конвой, а за ним и дополнительный этапный, скорее были нашими приятелями и даже слугами, чем серьезными стражами, и путь с ними мы проделали довольно легко, тем более, что и мы были нетребовательны, зная, за что и куда шли.

Такое путешествие, выпавшее на нашу долю, было в своем роде единственным. До нас все политические ехали от Томска через всю Сибирь на почтовых лошадях в сопровождении конвоя—солдат или жандармов, как ехали и мы от Екатеринбурга до Тюмени, а после нас уже всех политических по 5—8 человек препровождали при большой уголовной партии. Мы же всей нашей компанией, как ехали по России, так пошли и сейчас не разделяясь, если исключить тех немногих, кто остался от нас в Тобольске и частью в Томске.

И наша дружная партия шествовала по этапам спокойно и тихо, не предъявляя никаких особых требований и подчиняясь неизбежным неприятностям такого пути.

Грязь и холод этапов, неприхотливая пища, случайно приобретаемая у торгующих деревенских баб, неумелые изготовления собственных поваров подчас малоудовлетворительных и диковинных блюд на дневках,—все это мало смущало нас, хотя между нами и были люди, не привыкшие к лишениям, пользовавшиеся незадолго до этого заботливым и нежным уходом. Большая половина из нас, как люди, потратившие много нервной и физической силы и больные, пользовались подводами, т.-е. телегой, запряженной одной лошадью, шагом плетущейся и едва поспевающей за партией; фактически же этими подводами пользовались попеременно все, не исключая подчас и конвойных. А в периоды дурной дождливой погоды оставались пешеходами только особые ригористы, поставившие себе целью пройти пешком целиком через всю Сибирь.

Отвратительная, дурная погода. Сырая мгла кругом; не перестающий моросить дождь сверху, непролазная грязь, в которой тонут наши бродни,—под ногами. Наши подводы—одноколки—плетутся уныло шаг за шагом. Бедным конвойным с ружьями на плече едва удается подсесть к кому-нибудь на облучек, ибо каждая из подвод переполнена седоками. Человек десяток из нас однако же мужественно идут, шлепая по грязи и не обращая внимания на сырость и дождь. Среди них Яков Стефанович, известный организатор Чигиринского восстания, принципы которого мало кто одобрял из тогдашних револю-

ционеров. Но это фигура видная, хотя и подорвавшая на процессе авторитет безупречного революционера своей склонностью к тактике на основе принципа: „цель оправдывает средства“. Его фигура в арестантском халате с отрезанными рукавами и зашитыми их отверстиями, в фуражке без козырька, в широких броднях производит комическое впечатление после того, как еще так недавно его видели в заграничных костюмах; хотя его оригинальное, некрасивое лицо с умными глазами и мало располагало к шутке, но наши весельчаки, как Ваничка Калюжный, все же всегда находили повод посмеяться над ним...— „И чего меня чорт принес из-за границы!“ — сумрачно воскликнул Стефанович, с трудом вытаскивая ноги из грязи. Этот возглас показался таким резким контрастом с нашим общим положением и с нашей тогдашней психологией, что гомерический хохот по всей партии был ответом на эту невольно вырвавшуюся истину. И нельзя сказать, чтоб к этому смеху не примешивалось нотки злорадной насмешливости: так тогда уже отрицательно многие относились к Стефановичу за его несколько двусмысленное поведение перед процессом и во время его. Никто, конечно, щадя его самолюбие, не хотел подчеркивать перед ним свое к нему отношение — дело это поправить не могло и вызвало бы только ряд тяжелых личных столкновений; мы же все молчаливо как бы оберегали друг друга от всякого рода дрязг и неприятностей, какими и без того бывают чреваты всякие подневольные общежития. Но это бережное отношение к самолюбию Стефановича не помешало ему впоследствии, в короткий период русских свобод, пустить в печать небольшой пасквиль на тюремную жизнь товарищей на Каре. Теперь Стефановича уже нет в живых; он умер уже много лет тому назад у себя на родине, где жил оторванно от всех своих былых связей, и всем нам, когда-то его знавшим, пришлось узнать об его смерти только по газетам...

Ровно целый месяц переходим мы от одного этапа к другому, ежедневно совершая передвижение на 20—25, иногда на 30 верст; после каждых двух таких дней мы имеем день отдыха. Тогда мы располагаемся в нашей камере посвободнее, разбираем часть своих вещей, кое-кто принимается за какую-нибудь работу, кто-нибудь поет, составляются хоры и пр. Эти так называемые дневки доставляют нам поистине удовольствие: можно хорошо помыться, отдохнуть, поговорить более обстоятельно, поближе познакомиться с кем-либо из уголовной партии, идущей с нами. С ними у нас с самого начала установились хорошие отношения. Не без того, конечно, чтоб они

не хотели нас немного поэксплоатировать, это в порядке вещей, но в общем ни с кем из них у нас не было неприятностей или натянутых отношений; наоборот, мы были всегда к ним благорасположены чисто по-товарищески, а они услужливы и вежливы. Наши женщины, разумеется, ближе сходились с ихними женщинами, особенно с добровольно следующими за мужьями. И, действительно, нельзя было без сожаления смотреть на этих несчастных, без вины претерпевающих все ужасы этапной жизни. Всякого рода унижения, попрания человеческого достоинства, не говоря уже о физических страданиях, о болезнях,— все падает на их головы за мнимое или действительное преступление их мужей... Начальство не справляется со здоровьем отправляемых или не всегда, и нередко в партию попадают, напр., женщины в последнем периоде беременности. Так было, напр., в нашей партии; на одном из этапов мы узнали о начинающихся родах одной женщины в соседней с нашей камере. Такое необыкновенное явление взбудоражило нашу публику, а наши дамы сочли своей обязанностью проявить самое горячее участие к роженице. Конечно, нашлись и повитухи, и при их помощи действительно скоро народился новый обитатель нашего этапа. Разумеется, наши дамы скоро нашли, что в помещении уголовных родильнице лежать опасно: там слишком грязно, душно, неопрятно,— и, по надлежащем обсуждении этого вопроса, единогласно было решено перевести родильницу в наше помещение. Сказано — сделано; мигом были развязаны наши мешки, полетели из них разные тряпки, косынки, простыни и пр., быстро превратились в пеленки, подстилки и т. д., и больная женщина с ребенком помещена в углу нашей сравнительно просторной камеры. Раздался только один протестующий голос, но и тот должен был смолкнуть под градом насмешек и дружеского издевательства. Это был голос административно-ссыльного Ж.— „наш собственный корреспондент“, как прозвал его Ваничка за его непромокаемый плащ, так мало гармонировавший с нашим казенным одеянием. Деланно-серьезно Ж. осведомлялся у каждого из нас, не заразительна ли родильная горячка и не больна ли уже ею родильница. И сам он, продолжая шутку, предусмотрительно перебрался в противоположный угол, подальше от больной, к великому веселью и смеху всей публики.

Вот уже и г. Ачинск, последний город перед Красноярском. Нам досталась такая просторная камера, что кое-кто из нас вздумал перетрясти свой багаж. У многих оказались по частям

свои вольные костюмы, появился позыв кое-что из них надеть на себя. Получился целый маскарад. Но больше всего потешил нас Мирский. Было известно, что перед своим процессом он настойчиво требовал, чтоб к первому дню его суда ему была доставлена фрачная пара. Хотелось человеку этим импонировать неведомо кому: суду или почти отсутствующей на суде публике. Разные фантазии приходят людям! Как бы то ни было, этот пресловутый фрак пролежал у Мирского целые годы, проведенные им в равелине, а сейчас оказался в его чемодане, и в него он теперь имел возможность нарядиться и в нем пощеголять, хотя этот фрак мало подходил к его кандалам, бродням и далеко не фрачным брюкам. Получалось комичное впечатление какого-нибудь негра или папуаса во фраке и цилиндре на совершенно голом теле.

Постепенно наш первый сибирский этапный путь подходит к концу. Красноярск для части наших странников — административных — является конечным пунктом путешествия, для других это только временная, более или менее длительная остановка, и он уже близок, он на виду.

5. Красноярск.

В один из серых сентябрьских вечеров мы подходили к воротам Красноярской тюрьмы.

Тюрьма встречала нас не очень радушно. Стоя у ее запертых ворот, мы и наш конвой недоумевали, почему же в этот серый, неприветливый вечер, с начинающим накрапывать дождем, не открываются перед нами гостеприимные двери? Оказалось, что в тюрьме решается вопрос, как разместить нас, явившихся в таком количестве и такой спаянной группой, что не было предусмотрено регламентом тюрьмы. Следовало бы разместить нас всех по одиночкам во избежание проявления нашей злой воли, да в тюрьме нет такого количества отдельных камер. Как же быть? Нашли выход в размещении нас по 5—6 человек в изолированных камерах. Но оказалось, что на это не согласны мы: у нас общее хозяйство, общие деньги, запасы, и разделение для нас не только нежелательно, оно просто невозможно.

Новые предположения начальства, новые препоны с нашей стороны. Целый конфликт, и мы категорически потребовали вызова губернатора для решения этого вопроса. Мы, ведь, еще не совсем привыкли к строгому тюремному режиму, еще недавно превратились в бесправных людей и много еще сохра-

нилось в нас навыков бывшей, свободной жизни; и были мы очень голодны, и было нам очень холодно!

В результате нашелся компромисс: нам даны две камеры — для мужчин и для женщин с правом вести общее хозяйство и сходиться днем для обеда и прочее.

Красноярская тюрьма того времени состояла из большого белого каменного здания, благополучно существующего и по сей день, хотя перестроенного и расширенного, и примыкающих к нему с северной стороны деревянных больничных корпусов. Ничего кругом этих построек не существовало, ни домов, имеющихся сейчас при тюрьме для служебного персонала, ни самого города, теперь подошедшего вплотную к тюрьме.

Красноярск, как город, интересовал нас мало. Наша жизнь сосредоточилась здесь, в тюрьме, и это мрачное, большое здание, стоящее на отлете от города, принимало в себя, а затем и выбрасывало для дальнейшего пути в глубь Сибири многое множество лиц, подобно нам, только временно, на перепутьи преклонявших здесь свою голову. И какой бы солидный исторический памятник представила собой эта тюрьма, если бы запечатлела на своих стенах тем или иным способом образы всех прошедших через нее лиц, волею судеб направивших свои стопы в отдаленнейшие места Сибири! Если миновать первую половину прошлого века — декабристов, петрашевцев, поляков и пр., то с 60-х только годов: Чернышевский, Михайловский и их сподвижники, каракозовцы, писаревцы, нечаевцы, пропагандисты, централисты, землевольцы, чернопередельцы, народовольцы — какое множество лиц разнообразных направлений, всевозможных политических credo, с разным миропониманием видели стены Красноярской тюрьмы, и каких душевных драм личного и общественного характера они были свидетелями!

В наше распоряжение была отдана большая камера в нижнем этаже. Кое-как расположившись и наскоро закусив, мы приступили к чаепитию, в первый раз за все время пути, отдельно от наших дам. Им было предоставлено помещение в верхнем этаже тюрьмы. Но так продолжалось недолго, всего несколько дней, в течение которых мы забавлялись беседами на чисто-научные, философско-социологические темы, рассказами из недавнего пережитого нашей революционной жизни, спорили и делились небольшими рефератами.

Как сейчас помню фантастическое, но талантливое изложение Льва Златопольского его собственной утопии. Вкратце — это было описание фаланстера на манер Фурье, но охваты-

вающего собою не отдельное производство, фабрику или даже селение, а целый большой промышленный город с многотысячным населением, где наука, техника и искусство будущего создали для жителей неописуемые удобства жизни, ничтожный minimum рабочих часов, превращающий труд в удовольствие, и где протекала счастливая, безмятежная жизнь, граничившая с райским блаженством. „Круглый дом“, — так называется фаланстер Златопольского, — состоял из ряда больших улиц, концентрических и радиальных, снабженных вечно двигающимися в обе стороны панелями, дающими возможность быстро и легко передвигаться с одного конца города на другой. В качестве двигательной силы всюду и везде использована, конечно, электрическая энергия; телефоны, аэрофоны, радиоскопы и проч. предполагаемые диковины не забыты в этой утопии, и главную заботу автора составляло изобретение воздухоплавательных аппаратов.

Он же дал нам небольшой ауторeферат с критикой теории ценности Маркса. Трудно припомнить, в чем заключалась эта критика, но во всяком случае он обнаружил при этом и недюжинное знакомство с диалектическим методом, и с относящейся к этому вопросу литературой. Ведь не надо забывать, что только много позднее подверглись солидной критике многие положения Маркса, этого пророка научного социализма.

Златопольский был в высшей степени способен к созерцательной жизни и очень хорошо использовал годы своего одиночного заключения. Нельзя обойти молчанием эту оригинальную и в то же время, быть может, уже несколько больную организацию. Еще будучи на воле, живя под нелегальной фамилией Мельникова, он поражал сосредоточенностью своей мысли. Нередко, участвуя в общих обсуждениях по какому-либо вопросу, он так глубоко уходил в свою собственную мысль, что неоднократные призывы его к общей беседе не могли вывести его из глубокой задумчивости. Он продолжал ходить из угла в угол, покусывая одну и ту же сторону своей бороды, и, только закончив обдумывание своей мысли, вспоминал едва воспринятый призыв к беседе. Он был арестован при разгроме Исполнительного Комитета „Народной Воли“, в январе 1881 г., вместе с Колодкевичем, Баранниковым, Клеточниковым и другими и вместе с ними судился в 1882 г. Технолог 5-го курса, которого профессура прочила оставить при институте, как человека, подававшего большие научные надежды, Златопольский вдруг бросил институт перед самым выпуском, кажется в тот год, который в истории русского

революционного движения принято называть „безумным годом“, и бросился „в народ“. Из желания побрататься с народом и „опроститься“ до степени полного слияния с ним, он даже женился на крестьянке и вплотную занялся хозяйством и пропагандой. Но такое состояние не могло продолжаться долго: репрессии сверху, неудовлетворенность внизу породили новое направление в революционной мысли. Оно уже глухо ходило среди всех участников „безумного года“, из которых кое-кого уже и не стало. Златопольский не был чужд этого брожения, и нарождавшаяся партия „Народной Воли“ сразу же записала его в свои ряды. И так он проделал весь короткий период своего участия в партии, часто стоя на самом ответственном посту, а теперь шел с нами на 20-летнюю каторгу.

Было бы очень долго рассказывать, даже вкратце, про жизнь Златопольского на Каре, но нельзя не упомянуть, что и там коротать время ему помогла его способность сосредоточиваться и углубляться в свою мысль, до полного забвения всего окружающего; благодаря этому все невзгоды и печали нашей жизни проходили мимо него, да и радости, поскольку они выпадали на нашу долю, задевали его только поверхностно, как бы с боку. Однажды он в необыкновенном напряжении продержал всю тюрьму в течение 2—3 месяцев; он поведал нам о своем изобретении аэроплана, и так умело и талантливо, с самыми сложными механико-математическими выкладками и формулами, которые никто из нас опровергнуть не смог, излагал свою теорию, что тюрьма осталась в недоумении, а наши мастера-артисты немедленно приступили к осуществлению модели новой воздушной машины. Не то, чтобы у тюрьмы была надежда в один прекрасный день всем целиком взвиться в воздухе и перенестись, ну хотя бы в Швейцарию или Францию, но заинтересовывала сама грандиозность плана, а отсутствие теоретических опровержений или критики проекта делали его в наших глазах хотя частью осуществимым.

— На моем корабле я увезу вас с быстротой молнии и не только на луну, но и на любую планету вселенной,— говорил Златопольский.— И не удивляйтесь быстроте движения моей машины, она не противоречит законам природы: ведь движение земли вокруг солнца происходит еще с большей быстротой, а скорость света измеряется десятками тысяч верст в секунду!..

Невозможно было сколько-нибудь основательно возражать на такие положения без существенных данных в руках. К сожалению, его проект был настолько сложен и так технически

труден, что удержать его в памяти было невозможно. Но сам Златопольский до самой смерти своей носился с этим проектом и искал ошибок, которые обусловили неудачу с его моделью. А умер он в Чите уже крестьянином из ссыльных, состоя библиотекарем при местном музее. И эта смерть необыкновенно способного, даровитого и столь своеобразного человека прошла так же одиноко и незаметно для окружающих, как изолированно, в силу оригинальности его натуры, шла и его жизнь.

На первых же порах состав нашей партии значительно уменьшился: все административные ссыльные закончили свое путешествие и были или выпущены здесь же из тюрьмы, или отправлены в уездные города Енисейской губ. Словом, мы остались в составе только одних каторжан, вместе выехавших из Петербурга.

В отдельной камере от женской половины нашей компании мы прожили недолго. На следующий же день нас свели с ними на целый день до вечера, а через несколько дней еще случилось как-то так, что и мы, мужчины, перебрались на жительство в верхний этаж, где оказались свободными еще несколько небольших каморок, каковые и были отведены в качестве спален для наших дам. Кажется, косвенным поводом для этого была Анюта Якимова с ее грудным младенцем — Мотей. Этот ребенок родился в тюрьме и еще совершенно не дышал вольным воздухом. В Петропавловской крепости первые крики его, доносившиеся до меня откуда-то издалека, словно из-под земли, беспокоили и волновали меня в моем одиночестве. И я, не зная еще о его существовании, не мог предполагать, что и он будет нашим спутником до Красноярска. Как бы то ни было, измученная мать, больной ребенок и вся обстановка их жизни дала повод тюремному врачу, доктору П. И. Можарову, рекомендовать и лучшую изоляцию, и улучшенные условия для матери и ребенка. Слово д-ра Можарова было законом для администрации, и улучшенный режим распространился понемногу на всех нас. К этому времени ребенок заболел обоюдосторонней пневмонией, жизнь его была в опасности, необходимо было установить дежурства при нем, а мать убедить отдать его на воспитание кому-либо из товарищей на воле. Таковые нашлись в лице д-ра С. В. Мартынова с женой Софьей Александровной, бывших в административной ссылке в Минусинске. Надо было вызвать С. А. Мартынову, поправить ребенка, а на все это надо было время, и мы все временно оставались в тюрьме.

Скоро, почти тотчас же по водворении вверху, к нам присоединились два человека, оставшиеся здесь по болезни от предыдущих партий. Это были Фанни Реферт и Н. Н. Дзвонкевич. Реферт — молодая девушка, осужденная по одному из южных процессов на непродолжительную каторгу, заболела дорогой тяжелой формой туберкулеза. Оставленная д-ром Можаровым здесь, она перезнакомилась со всеми проходящими партиями, многое перевидала, много перетерпела, но не потеряла своей жизнерадостности и молодого задора, даже и тогда, когда чуть не смертельно ушиблась, упавши с высокого окна, и нажила неизличимую болезнь. Это окончательно предрешило ее участь—совсем остаться в Енисейской губ., что, по инициативе д-ра Веймара, тогда проходившего на каторгу, и при исключительной помощи д-ра Можарова, удалось охлопотать у высшей администрации. Каторга для Реферт была заменена поселением и, просидев еще после нас с год в тюрьме, она поселилась в Минусинске, но здоровье ее выдержало недолго, и вскоре эта молодая девушка покончила свои земные счеты.

А д-р Веймар, так дружески и сердечно озабоченный судьбою Реферт, должен был безостановочно продолжать свой путь.

На свете, в сущности, немного было таких светлых и обаятельных людей, как Орест Эдуардович Веймар. Близкий приятель Петра Алексеевича Кропоткина, не менее близкий друг Глеба Ивановича Успенского, он участвовал в освобождении первого при его известном побеге из Николаевского госпиталя [1]. Веймар, всегда веселый, неизменно человеколюбивый до самозабвения, одной своей внешностью импонировал окружающим и заставлял прислушиваться к своему голосу, всегда и легко овладевал беседой, будь то теоретический спор, либо рассказы на темы о пережитом, в которых он особенно был неистощим. Прекрасный врач, он и погиб на своем славном посту, разъезжая от больного к больному в период карийских бурь и непогод, пока не схватил неизлечимой простуды, вместе с начинающимся туберкулезом сведшей его в могилу.

Н. Н. Дзвонкевич тоже по болезни оставался в Красноярске и долечивал свою плохо заживавшую рану. Еще в начале своего путешествия он решил воспользоваться первым удоб-

---

[1] См. „Записки революционера“ П. Кропоткина. Здесь, при описании побега, автор говорит, что, подбегая к ожидавшей его пролетке, он сперва недоумевал при виде сидевшего там важного седока и только лишь, когда седок обернулся в его сторону, он узнал в нем своего близкого друга. Это был О. Э. Веймар.

ным случаем для побега. Такого случая не представлялось долго. Наконец, подъезжая к Красноярску, он решил во что бы то ни стало осуществить свою заветную мечту. Всего за несколько верст до города он присмотрел удобный для побега лесок. Расчет был в том, что растерявшийся конвоир решится стрелять в него лишь тогда, когда он успеет забежать в этот лесок; тогда шансы избежать пули, конечно, увеличиваются во много раз. И вот Дзвонкевич заявляет своему конвойному, неотступно за ним следовавшему, что он вынужден остановиться по естественной необходимости. Обычно это не останавливало внимания конвоя, и в данном случае он отнесся к факту совершенно безразлично. Дзвонкевич слегка присел невдалеке от дороги и вблизи лесочка, затем быстро сбросил подготовленные к тому кандалы, казенный халат и шапку и быстро побежал в лес. Изумленный конвоир только успел крикнуть: „Куда ты? Что ты?“ Но, видя бесполезность прицела, даже не стрелял, а исступленным криком призывал на помощь своих товарищей солдат и вместе с ними кинулся в погоню. На беду Дзвонкевича перелесок, казавшийсь столь надежным, оказался не очень широк, а сейчас же за ним шла незаметная до сих пор дорога. Но еще хуже было то, что в тот момент, когда беглец добежал до дороги, по ней шел длинный обоз, который обойти было невозможно. Дело было явно проиграно, и Дзвонкевич повернул обратно в сторону своих преследователей, полагая, что, отдаваясь им в руки, он не подвергнется нападению с их стороны. Но он увидал тотчас же, что их ружья направлены на него. Он только успел крикнуть: „Сдаюсь, не стреляйте!“, как раздался выстрел, и он упал, пораженный пулей в правую сторону груди навылет. К ране присоединились обычные в таких случаях побои раздраженного конвоя, а затем раненый был отвезен в город. Мы застали его уже на ногах, но с далеко не зажившей еще раной, которую мне и пришлось перевязывать с этого времени.

Человек лет 40—45, с благообразным лицом, украшенным большой, широкой бородой, среднего роста, косая сажень в плечах, Дзвонкевич был судебным приставом в Симферополе. Издавна сочувствуя движению и помогая ему, чем мог, он только последнее время стал ближе к деятелям на Юге, что и привело его в конце-концов на скамью подсудимых по Стрельниковскому процессу. Как очень сильный физически человек, он не мог помириться с неволей, и отсюда его мечта о побеге и вольной жизни в среде разгоравшегося движения. Но рана в грудь положила предел его вожделениям и надолго прекра-

тила всякие помыслы о побеге. Затем наступили болезни, старость... и вот человек вычеркнут из деловой жизни.

При всей сравнительной мягкости режима в тюрьме, в ней в одном отношении было необыкновенно строго: ни одна душа с воли не могла добиться разрешения на свидание с кем-либо из нас. Особенно страдал от этого Фомин, жена которого прибыла сюда с предыдущей партией. Она, благодаря тому, что не была его законной женой, не могла добиться свидания с мужем. Только когда всех нас водили в фотографию, чтобы переснять заново карточки, она воспользовалась этим моментом, вошла в нашу небольшую толпу и все время пути спокойно разговаривала с Фоминым. А поговорить им было о чем: расстались они в момент ареста и с тех пор не имели никаких между собою сношений; за это время у нее родился, а дорогою умер ребенок, сама она преодолела какую-то тяжелую форму заболевания, и теперь им предстояла после этого же свидания на улицах Красноярска продолжительная и, вероятно, вечная разлука [1].

Таково подчас влияние тюрьмы: она в корень разрушает уже сложившиеся и окрепшие семейные узы; но зато иногда она же и способствует закреплению таковых.

Так было, например, с П. Ф. Якубовичем. Расставшись со времени ареста со своей нежно любимой, как мог упорно и настойчиво любить только Петр Филиппович, невестой, они на целые годы совершенно потеряли из вида друг друга и не надеялись свидеться снова, так как тяжелая доля, выпавшая каждому из них, совершенно их разделяла. Но вот Красноярская тюрьма, и здесь неожиданно съезжается эта нежно привязанная друг к другу влюбленная пара. Они снова нашли друг друга, и хотя положение обоих не давало права надеяться на скорое осуществление их заветной мечты, ибо один шел в 20-летнюю каторгу, а другая на неопределенное время в Якутскую область, однакож взаимное доверие и любовь укрепили в них уверенность хоть и далекого, но все же грядущего личного счастья. А им обоим, измученным, исстрадавшимся, оно было так необходимо! Да простит мне память дорогого Петра Филипповича, а теперь и память дорогой Розы Федоровны, если в мое описание вкрались какие-нибудь неточности: так много прошло с тех пор времени, так много утекло воды, что кое в чем память могла мне и изменить. Это тем более

---

[1] Здесь речь идет о той П. Осмоловской, о которой уже говорилось в главе „Процесс 17-ти“ и „Динамитная мастерская“.

возможно, что личным свидетелем этих перипетий я не был. Петр Филиппович проходил через Красноярск много позднее меня. Но я припоминаю, что их хлопоты о разрешении венчаться в Красноярске приходили уже к концу, когда оба они должны были двинуться в дальнейший путь по разным дорогам и тем отложить на долгое время закрепление своего союза.

Милый, дорогой Петр Филиппович! С какой чистой, детски кристальной душой входил он к нам в тюрьму! И как мало подходила его нежная натура к некоторому неизбежному, правда, огрубению тюремных нравов. Как ярко отражалось на нем несоответствие его идеального настроения и привычек с тем, что он нашел в лице его новых товарищей! Но он терпимо относился к неприятным проявлениям этой стороны тюремной жизни, всегда умея морально ощупать лучшие стороны человеческой природы под временным, наносным слоем грубости. А этими сторонами, невзирая на внешнее противоречие, наши товарищи были одарены в избытке. И Петр Филиппович победил. За ним было признано в конце концов право оставаться тем, что он есть, не шокируясь поведением окружающих и не выступая против них с проповедями. Он был поэт-идеалист, истинный поэт в душе: он любил и знал русскую литературу, как никто из нас, много писал, много занимался, и жизнь в нашей тюрьме значительно обогатила и без того солидный запас его литературных данных. Первое выступление Петра Филипповича, как поэта-автора, в нашей камере было несколько неудачно. По нашей просьбе он прочитал несколько своих стихотворений, между прочим, свой изящный „Девятый вал“, но прочитал с тем искусственным, деланным подъемом, какой был в ходу при декламации поэтов в начале 80-х годов. Это выражалось по преимуществу сильным растягиванием слов, с повышением и понижением голоса в самом широком диапазоне, особой модуляцией и с соответственно повышенной жестикуляцией. Такое преувеличенное выражение чувствований пришлось не по вкусу реально настроенной тюрьме, что и было дано заметить нашему поэту. Грустные, детски милые глаза Петра Филипповича выразили крайнее изумление, но он отлично понял настроение товарищей, не обиделся на замечание и только с тех пор читал стихи уже просто, без этой излишней аффектации. В круг товарищей и в их интересы он вошел легко и быстро, и первоначальное как бы скептическое, слегка насмешливое отношение к его наивной непрактичности быстро исчезло и заменилось чисто товарищеским, дружеским и даже любовным к нему отноше-

нием. Всякий знал и видел в нем чистоту души и незапятнанность идеалов; всякому понятна была, кроме того, его непосредственная искренность и способность итти до конца, сообразно своим убеждениям, и это ценилось, уважалось, и уважались его занятия литературой; его переводы Бодлера, которыми он был довольно долго занят у нас, больше не вызывали никаких замечаний со стороны слишком далеких от символизма и его отца—Бодлера—наших тюремных реалистов.

Милый, славный Петр Филиппович! Он часто приходил ко мне в камеру, неизменно приносил с собой книгу какого-либо поэта, чаще всего своего любимого На̀дсона (непременно На̀дсона, а не Надсо́на), и заставлял меня читать ему вслух его произведения. Читать я никогда не был большим мастером, но именно простота моего чтения, без тени какой-нибудь декламации, и нравилась моему слушателю. И много часов провели мы таким образом вместе, беседуя то с вдумчивым, грустным, меланхолическим На̀дсоном, то с корифеями русской поэзии—Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, то с красивым, но мало содержательным Фофановым, то даже с библейским Фругом. И эти чтения останутся памятными мне на всю жизнь своею простой, незатейливой прелестью на фоне многолетней, подчас тяжелой и суровой, и всегда мрачной тюремной жизни. Нередко, так сказать, утомленный поэзией, Петр Филиппович говорил мне, что ему хотелось бы, и как бы хотелось, написать что-либо хорошее прозой. Он чуял в себе силы художественного прозаика, но писать какой-нибудь роман он никогда не собирался. Во время пребывания в тюрьме он попробовал написать только, и, надо сказать, в высшей степени удачно, краткие биографии погибших при катастрофе с Сигидой—Калюжного и Бобохова. К сожалению, биографии эти погибли, и только жалкие их остатки удалось мне видеть в архиве Бурцева в Париже. Но Петр Филиппович написал-таки прозу, и его книга „В мире отверженных“ не только составила ему имя, она помогла ему выбраться, наконец, на свет божий и пристроиться к большой литературе [1].

В 1889 году мы провожали Петра Филипповича, полного сил и здоровья. Он уезжал тогда в Акатуй для продолжения своей каторги, а мы оставались на Каре. А в 1905 году я встретился с ним вновь в Петербурге и, увы! к своему ужасу,

---

[1] В 1906 г., когда я был у него в Озерках, он высказывал мне свое предположение, что именно его книга, независимо от него самого, была причиной разрешения ему жить и лечиться в Петербурге.

нашел его уже с подорванным здоровьем, с больным сердцем. И с каждым новым своим приездом в Петербург я видел его и ясно замечал прогрессирующий ход его основной болезни, пока, наконец, тяжелые осложнения инфлюэнцы, в связи со слабым дряблым сердцем, не свели в могилу этого доброго, нежного, любвеобильного, всегда идущего навстречу всякой нужде и крайне отзывчивого друга.

Да простит мне читатель это невольное отступление, но намеченная тема возбуждает такой рой воспоминаний, с таким множеством эпизодов лиц, жизней она связана, что нет сил и возможности не уклониться в сторону от прямого, последовательного пути.

Продолжаю свое повествование.

Большое удовольствие и развлечение доставляли нам случайные проезды ссыльных, перебиравшихся поближе к России. Их было немало, и каждый раз мы радовались им, так как всякое новое лицо вносило частицу своей индивидуальности в нашу бедную впечатлениями жизнь и обогащало нас сведениями об условиях жизни в ссылке в отдаленнейших местах Сибири. Так, на небольшое время останавливались здесь при нас Немировские, Новаковский, Левандовская и много других.

Но наиболее заметным, оставившим глубокий след на всех, остававшихся еще в тюрьме, было посещение ее бароном Штромбергом. По процессу 1882 г. он был отправлен в административную ссылку в г. Верхоленск, а приблизительно в октябре или ноябре 1883 г. его возвращали в Петербург, и тогда-то ненадолго он останавливался проездом в Красноярской тюрьме и был, конечно, в постоянном общении с нами. Он не знал и не предполагал всего трагизма причин, по которым его везли в Петербург, и был так далек от истины, что не только уверял всех нас, но, повидимому, и сам был искренно уверен, что его везут для полного освобождения. Своей внешностью Ал-др П. Штромберг почему-то напоминал мне д-ра Веймара; и это сходство, по моему, не ограначивалось даже одной внешностью. Что-то было в них общее: в манере держаться, разговаривать, в отношении к окружающим и т. д. Это что-то высшее, обоим им присущее, какой-то внешне проявляемый аристократизм духа, особенно резкий и отчетливый у них, настроенных явно демократически. Разбитной, веселый моряк, Штромберг был неистощим в рассказах, всегда заразительно весел, приветлив и мило, своеобразно галантен. Его короткое пребывание среди нас было истинным праздником, и веселый, жизнерадостный, он уехал с полной уверенностью скоро быть

на свободе, вновь приняться за прерванную работу организации и пропаганды и быть полезным делу и людям.

Но судьба судила иначе. Штромберг был привлечен к процессу Веры Фигнер, приговорен к смертной казни и казнен.

Дегаев не пощадил своего товарища и донес о его деятельном участии не только в военной организации „Народной Воли“, но и вообще в делах партии.

6. В больнице.

Прошло уже больше двух недель нашего отдыха в Красноярске, начали уже поговаривать о дальнейших отправках, намечались имена первых путешественников, которым предстояло опять ехать на тройках в сопровождении жандармского конвоя. Оставались на более продолжительное время только наши дамы и больные, как Дзвонкевич. Последний высказывал желание ехать вместе со мною, чтобы не остаться дорогой без перевязок. Но это казалось неосуществимым, так как заживление его раны шло довольно медленно. И все-таки через 6 — 7 месяцев нам пришлось ехать с ним в одной партии. Дольше всех предполагала остаться Якимова: еще не приехала из Минусинска С. А. Мартынова за ее ребенком, а ведь надо было, чтоб ребенок к ней попривык, чтоб сама С. А. поближе к нему пригляделась, ознакомилась с приемами ухода за ним и пр. К тому же ребенок поправлялся медленно, был слабым и хилым, как истое тюремное растение, выросшее без должного количества света и воздуха.

Все же, при внимательном пользовании его д-ром Можаровым, он обещал скоро поправиться и окрепнуть. Д-р Можаров бывал у нас часто, и это был первый светлый луч в наших впечатлениях в Красноярске. Конечно, он не хотел и не мог входить с нами в какие-либо личные отношения, помимо своей роли добросовестного врача. Но уже такова человеческая природа, особенно с тюремной психологией, что и в строго замкнутом в своих обязанностях чиновнике усматриваешь черты гуманности, а иногда и сочувствия, сказывающиеся не в делах, а скорее в отсутствии плохих дел, во взглядах, в игре физиономии и, конечно, в возможных „добрых“ делах. Мое дальнейшее, более близкое знакомство с доктором, отнюдь не переходящее границ официальности, только подтвердило мои первые о нем впечатления. Прежде всего это был, повидимому, совершенно самостоятельный человек, что, быть может, обусловливалось его сознанием своей необходимости, своей важ-

ности в заведуемом им деле. И, действительно, его то или другое решение всегда являлось обязательным для тюремной администрации; никаких противодействий, никаких протестов — его распоряжение немедленно принималось к сведению и к исполнению.

Поэтому постановка медицинского дела в тюрьме и тюремной больнице была несравненно выше таковой не только в других, уже знакомых нам тюрьмах, но, думается, гораздо выше всех тогдашних больниц приказа общественного призрения и им подобных.

Таков был Можаров, повидимому, не делавший никакой разницы между больными тюрьмы, к какой бы категории последние ни относились. И это качество, между прочим, привлекало к нему наши сердца, так как все принципы строго демократического характера были нам по душе.

Как-раз в то время, когда собирались в путь наши первые спутники, у меня заболела Роза какой-то острой лихорадочной формой. Как громом поразил меня этот факт: ведь еще накануне вечером она была здорова и весела. Д-р Можаров, немедленно прибывший, предложил поместить нас в больницу, так как для него было уже несомненно, что мы имеем дело с возвратным тифом. Его уверенность скоро оправдалась; необыкновенно высокая температура больной сразу показала, что дело идет о серьезном заболевании, и ее немедленно перенесли в больницу, куда с разрешения доктора перебрался и я, отчасти для ухода за больной, отчасти потому, что тогда еще не разделяли в дороге мужа от жены.

Тюремнаа больница была устроена по барачной системе и состояла из нескольких старых бараков, ближайших к тюремной стене, и вновь отстроенных двух или трех бараков, расположенных вдали от тюрьмы. Первоначально мы заняли палату одного из старых бараков, и благодаря доктору были обставлены довольно удовлетворительно.

Благодаря ли значительному истощению больной или силе самой инфекции, но болезнь сразу же приняла очень серьезный характер. Мое беспокойство росло с каждым днем, с каждым часом. К счастию, я мог ни на минуту не оставлять больную, и таким образом она не оставалась на попечении посторонних лиц, а это не могло не действовать на нее благотворно. Протекли первые тяжелые дни болезни, наступил первый кризис, как всегда, вызывающий естественное беспокойство; но на первый раз все обошлось благополучно — наступили промежу-

точные дни, как бы дни выздоровления, и дали нам возможность отдохнуть от переживаемых тревог.

Но вскоре за первым приступом наступил второй, затем третий, и уже можно было предполагать наступление четвертого приступа. С каждым разом моя больная слабела больше и больше, и я, совершенно беспомощный в этих условиях, мог приходить только в отчаяние. Д-р Можаров становился серьезнее, вдумчивее, а это приводило меня в еще более тревожное состояние. Во время четвертого приступа, который не был короче первых, Можаров посещал нас уже не один, а в сопровождении недавно приехавшего молодого врача В. М. Крутовского. Происходили, таким образом, консультации, результатом которых были предприняты разные меры, чтобы поддержать сердце на должной высоте. Сократить же приступы в их количестве и качестве не было в силах врачей.

Моя больная не избегла и пятого приступа. Конечно, это вызвало большое беспокойство у врачей, а я испытывал какой-то кошмарный ужас. Я бегал от одного к другому из них, но оба не могли, понятно, сказать мне ничего иного, кроме того, что все кончится благополучно, если выдержит сердце. Утешение не велико, и я в глубине души упрекал врачей в бессердечности: они, словно сговорившись, порознь и вместе, говорили мне одно и то же. К счастью пятый приступ был последним и благополучно миновал.

За весь период болезни Розы, а она продолжалась очень долго, мы лишний раз могли убедиться в высоких качествах д-ра Можарова, как врача и человека. Неизменно ровное и гуманное отношение ко всем больным без исключения, вполне серьезное, продуманное отношение к своим обязанностям, настойчивость в достижении намеченных целей и должная степень спокойствия в неизбежных иногда у всякого врача неудачах ставили доктора на положение настоящего авторитета в области медицины, а его исключительно самостоятельное положение в больнице позволяло ему повышать требования для своих больных до небывалого для тюрем предела. И, несомненно, лучшей характеристикой д-ра Можарова могут служить отзывы его больных, особенно из категории наиболее забитых и обездоленных — уголовных, а таковые,— мне неоднократно приходилось их слышать,— были без исключения в пользу нашего доктора.

В дальнейшем потекло мирно наше существование по мере восстановления сил у больной. Это была нелегкая задача, так как организм ее был подорван целым рядом предшествовавших

потрясений: тяжелая форма брюшного тифа в 1881 г., арест и тюрьма на целый год в 1882 г., продолжительное путешествие и возвратный тиф в 1883 г. И все-таки она поправлялась сравнительно быстро, хотя через $1^1/_2$—2 месяца после тифа нам еще пришлось познакомиться с одним из более известных врачей города, с д-ром П. И. Рачковским. В критический момент он был вызван мною в больницу, охотно и быстро приехал к нам и произвел на нас в высшей степени выгодное впечатление. Молодой изящный врач, лучший и единственный акушер в городе, он отнесся к нам вполне сочувственно и скоро успокоил возникшие у нас сомнения и боязнь.

И дальше тихо и однообразно, без внешних впечатлений, поплыли дни в нашем узилище — тюремной больнице. По настоянию доктора мы были оставлены здесь до полного восстановления сил у больной. Кроме нас, на положении хронического больного в той же больнице находился сосланный в Красноярск, кажется — на 5 лет, некто Л. Семиренко. Знакомство с ним было сведено быстро, и он как старожил больницы, в частности и города — вообще был очень полезным осведомителем для нас и для всей нашей партии во многих отношениях. Тюремный режим здесь был настолько свободен, что к Семиренко, напр., на целые дни приходила его жена с воли, а из тюрьмы к нам являлись наши спутники, которых однакоже становилось все меньше и меньше по мере того, как они увозились в дальнейший путь в глубь Сибири—на Кару или в Якутскую область.

На непродолжительное время в больнице же был помещен грудной больной Немировский со своей женою, и таким образом иногда мы собирались в небольшую компанию, где подчас забывалась действительность нашего положения, цель нашего путешествия и предстоящие годы неволи.

За все время пребывания в Красноярске мне один только раз пришлось встретиться с представителями местной администрации. Енисейским губернатором был тогда генерал Педашенко, по отзывам его знавших, человек очень мирный, не отличавшийся замашками помпадура и вовсе не злой. Наши родные, в ответ на мою телеграмму о болезни Розы, нашли какие-то ходы к губернатору, результатом чего была послана к нему депеша одного из его личных знакомых с просьбой принять меры к облегчению положения больной. Генерал ограничился тем, что депешу эту переслал мне, из чего можно было умозаключить, что он в некотором роде был не прочь удовлетворить какое-либо наше законное желание. Просить

нам его ни о чем не пришлось, но обстоятельство это дало мне повод увидать смотрителя тюрьмы, некоего Островского, самолично доставившего мне депешу губернатора. Об этом Островском ходили в тюрьме и больнице не очень лестные слухи. Его считали глупым и грубым самодуром, пьяницей, очень резким и нахальным с подчиненными и необыкновенно трусливым перед начальством. Такая характеристика, впрочем, не была чем-то невероятным и не только для тюремных чинов того времени. Единственный разговор, каким я обменялся с Островским, заключался в следующем. Я спросил, не могут ли с меня временно снять цепи, мешавшие моему уходу за больной, на что и получил от него краткий ответ: „нет!“ Этого, очевидно, не мог добиться и Можаров, хотя с такой просьбой я к нему не обращался, а предпочел выйти из положения собственными средствами: я просто крепко обмотал кандалы полотенцами, и они перестали брячать.

И самого губернатора мне пришлось видеть единственный раз при его посещении больницы, причем мы столкнулись с ним в коридоре нашего барака совершенно неожиданно и разошлись, только обменявшись взглядом. Губернатор был небольшого роста, уже довольно пожилой человек, державший себя очень просто, без излишней бюрократической помпы и с довольно приветливой внешностью. Быть может, ему интересно было посмотреть на лиц, находящихся в нашем положении, о которых неожиданно ему телеграфируют из Петербурга.

Несколько интересных знакомств пришлось нам свести за это время с представителями уголовной среды, часто очень богатой типами, достойными более тщательной характеристики. Остановлюсь на некоторых. Вот милый хохол, весельчак и балагур, наш певун — „Вакула кузнец“, так прозвали его мы. Он пошел на каторгу по совершенно неведомой для него причине: заступился за избиваемого человека по пьяному и праздничному делу в деревне и был обвинен в его нечаянном убийстве. И нельзя было не верить в невинность этого добродушного, милого человека, такой добротой и непосредственностью веяло от всей его фигуры. В больницу он приходил навестить свою больную жену, следовавшую за ним добровольно. Этот „Вакула“ впоследствии шел с нами в партии до г. Читы, останавливаясь там, где по разным причинам задерживались и мы. И всегда он был в первом ряду кандальников, запевала арестантских песен, подхватываемых хором под аккомпанемент побрякивающих цепей, и всегда в приятельских отношениях не только с нами, но и со всей партией. По

окончании нашего пути и потом на воле мне не удалось разыскать „Вакулу“, и только глухо донесся до нас слух, что он бежал с каторги вслед за тем, как покинула его жена. И сейчас еще мне трудно представить себе нашего мощного, но по-детски добродушного, наивного и непосредственного „Вакулу кузнеца“ в роли бродяги—завсегдатая тюрем и этапов.

А вот знаменитый разбойник Никитин, приговоренный к смертной казни и постоянно убегающий из тюрьмы. В последний раз он бежал вместе с нашим товарищем Павлом Ивановым, сидевшим в смежной с ним камере. Никитин благополучно соскочил с крыши, куда вышли они через печную трубу. Иванов же соскочил неудачно, ушибся до обморока, был тут же захвачен и страшно избит. Теперь Никитин, вновь пойманный, уже чувствует себя бесповоротно погибшим в своей клетке-одиночке и потому не стесняется в открытой и грубой, непечатной критике всего, что проходит мимо него. Испросив разрешение присутствовать в церкви, в одно из торжественных богослужений он громко, площадной бранью обливает присутствующих и самих служителей церкви. Вскоре Никитин судился и был казнен.

Вот в больнице жена другого, казненного уже, разбойника Тарасова, очевидно, вдохновительница и часто инициатор его дикого разгула. Она поучает бесстрашию своих невольных сожительниц перед наказанием, вплоть до смерти, и хвалится тем, напр., что, едучи с мужем и повстречав воз сена, на котором сидели двое небольших мальчишек, она упросила мужа пристрелить их обоих только для того, чтобы посмотреть, как они, по ее выражению, „будут дрыгать“, умирая. И много, много случаев истинного извращения человеческой природы проходило перед нашими глазами как за время пребывания в больнице, так и еще больше за дальнейший путь в глубь Сибири.

А пребывание в Красноярске понемногу стало подходить к концу. Уже прошла зима, незаметно промелькнули и весенние месяцы с их быстро распускающейся природой, что так характерно для Сибири, где каждое деревцо, каждый цветок и травка как бы торопятся использовать краткий период тепла и света и ненасытно пьют, заблаговременно распустившись, ароматы весеннего солнца.

Наступило и лето, и надо было собираться в дальнейший путь. Приблизительно в средине июня уже и сам д-р Можаров не мог дольше держать нас в больнице и объявил нам об отправке в партии в ближайшую очередь. Все наши спутники

уже давно были отправлены; в тюрьме оставался только Дзвонкевич, с которым мы и должны были ехать вместе. Моим больным была предоставлена подвода — лошадь, запряженная в одноколку, — а к ним примащивался и я, когда мне трудно было итти за партией пешком.

Теплый летний день, и с раннего утра начала формироваться партия. Долго тянулась процедура проверки людей и особенно выданных им казенных вещей, и, наконец, при ласковом ярком солнечном свете партия двинулась к перевозу через Енисей. Весь длинный поезд наш замыкался несколькими подводами с больными и слабыми членами партии и с общим партийным „бутарем“ — багажом. Картина дополнялась обильным конвоем, окружавшим весь наш кортеж. Интерес к новым местам, теплый летний день, свежий полевой воздух, опьянявший наши тюремные легкие, очаровательный и величественный Енисей, — все это настраивало на особый радостный лад, и мы далеки были от тюремных интересов и психологии заключенных...

Вот и перевоз — самолет, многими из нас видимый впервые на мощных волнах Енисея, и с него-то, когда мы отошли на средину реки, могли видеть панораму города, в котором незаметно однообразно прожили восемь месяцев—один миг по тюремному исчислению.

Мы, пасынки родины, идем в далекую Сибирь, наше новое отечество, не зная ее, не представляя себе, как встретит, как примет она нас, и что ожидает нас в ее холодных туманах и ветрах. И только много после спустя, на пространстве долгих годов, свыкнувшись с суровой обстановкой ее жизни, мы поняли, узнали и оценили Сибирь и ее обитателей. Нет, Сибирь не была для нас злой мачехой, она приютила нас, приласкала, как родных, и в холоде своих туманов и под покровом снегов сумела отогреть наши сердца, замерзшие от тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю.

Но сейчас, при выходе из Красноярска, мы еще молоды, полны надежды, и сквозь хмару и туман видимых вдали сопок и падей нам светят яркие, манящие огоньки надежды, и не смущает нас необычная обстановка нашего пути...

7. Иркутск. Знакомство с новыми товарищами.

Мы не спешим. Вернее нас не спешат. Едем мы втроем: я с Розой и Дзвонкевич.

Дзвонкевич добился-таки отправки с нами, и я делаю ему перевязки его раны, которая идет очень хорошо и скоро за-

живет совсем. Это обращает на нас внимание, и понемногу мы начинаем слыть, если не за докторов, то все же за причастных людей к медицине. При нас небольшая аптечка — собрание самых элементарных средств. Нередко к нам обращаются за помощью уголовные нашей партии и особенно дети. Но иногда „практика" навертывается и в более высоких сферах.

Однажды был, напр., такой случай: во время одной дневки, под вечерок, мы получаем приглашение от этапного офицера пожаловать к нему на квартиру. Приглашение равносильно приказанию. Нас препровождают с конвоем. Но офицер благодушен, даже любезен, а его жена — сама доброта. Бедняга хватается за нас, как утопающий за соломинку. Ведь по статейным спискам они знают о нашем причастии к медицине, особенно Розы — она медичка 5-го курса. Оказалось, что трое их маленьких детей, от $1^1/_2$ до 5 лет, болеют глазами. Область патологии мне мало известная, и я предоставляю поле деятельности моей медичке. Оказывается, у всех детишек острая бленорея глаз в ужасно запущенной форме. Пришлось спасовать перед лицом такого заболевания и вместо помощи ограничиться настойчивой рекомендацией отправить больных без промедления в город для серьезного лечения. Пришлось припугнуть неизбежной слепотой всех детишек, если не последуют нашему совету. Но, чтобы убедить в этом, потребовалось много труда, много слов и времени. А чтобы это не было для нас тягостно и чтобы в некоторой мере мы были вознаграждены за беспокойство, нам была предложена легкая закуска и даже с неизбежной выпивкой. Здесь я впервые вкусил здорового сибирского фрукта — черемши. Она была приготовлена вкусно — мелко нарезана и перемешана со сметаной. В этом виде она сохраняет свой вкус и остроту, но почти совсем утрачивает свой чесночный запах.

В другой раз, совершенно не помню, на каком этапе, и не знаю даже, было ли это между Иркутском и Красноярском или на другой части сибирского пути, мы довольно хорошо познакомились и приятно провели время с этапным начальником — офицером HоневичeM. Это был вполне интеллигентный человек, специально занимающийся историей и этнографией, повидимому, имеющий кое-какие научные труды, состоящий в переписке со многими учеными России и, в частности, близкий человек ректора Новороссийского университета Некрасова. Он просто, ознакомившись с нашими статейными списками, пришел к нам и завел простую, оживленную беседу. Мы, не

усмотрев в нем признаков бурбонства, так обычных в среде этапного офицерства, пошли навстречу этому знакомству и провели в беседах с ним многие часы. Это был любопытный человек, интересующийся решительно всем, не исключая и нашей внутренней политики. Достаточно либерально настроенный, он довольно терпимо относился и к русскому революционному движению, отрицая лишь чисто террористическое направление партии. Наша критика современного строя не шокировала его слишком, так как он понимал все его недостатки, но предпочитал мирный, эволюционный путь мирного прогресса без эксцессов и потрясений.

Что могло заставить этого развитого и еще не старого человека мириться с положением чуть не полицейского чина, заброшенного в самые глухие углы Сибири, — понять трудно. Единственно возможное предположение, подкрепляемое кое-какими намеками его солдат, в общем отзывавшихся о нем с уважением и любовью, говорили нам о его частой и серьезной болезни, свойственной многим русским развитым людям, губящей в них и ум, и волю, и душу, — алкоголизме.

С нами идет большая семейная партия. Вернее, мы идем при ней. Семейная—это значит смешанная партия, состоящая из мужчин, женщин и детей. Тут есть и женщины-арестантки, но больше добровольно за мужьями следующих жен с детьми, иногда уже на возрасте, напр., девушками 15 — 18 и более лет.

Какой ужасной школой разврата для девушки и женщины было это этапное передвижение семейных партий! Не удивителен факт, что всякая неиспорченная девушка или женщина могла дойти до конца своего пути только в том случае, если имела своего покровителя. Но и то нередко бывало, что такие покровители проигрывали в карты своих сожительниц своим партнерам, и женщина беспрекословно переходила из рук в руки. Какое унижение человеческого достоинства, и как далеки от гуманных целей были тюремные порядки!

Но мы в идеальных условиях по сравнению с уголовными. По особому циркуляру министерства, нам всюду предоставлялось особое помещение; нас нельзя смешивать с уголовными из боязни нашего вредного влияния на них. Конечно, мы не были в проигрыше от этого: от нас были скрыты ночные ужасы этапной уголовной жизни, и в то же время при желании мы не были лишены общения с ними!

Благодаря нашей подводе ежедневный переход в 25 — 30 верст для нас не был обременителен. Развлечением нам служили, кроме идущего впереди нас арестантского кортежа и их

часто залихватских, иногда унылых песен с аккомпанементом кандального звона, и другие дорожные эпизоды. Не надо забывать, что при отсутствии еще великого сибирского жел.-дор. пути всю Сибирь пересекала единственная дорожная артерия — широкая „Владимирка“. С представлением о ней издавна сочеталось понятие о кандальных арестантских партиях, а теперь, вечно видя ее перед собой и слыша ее тяжелые вздохи, так ярко сказывающиеся хотя бы в той же „Милосердной“, забываешь, что она может быть предназначена и для чего-нибудь другого...

Если ты странствуешь, путник,
С целью благой и высокой,
То посети, между прочим,
Край мой далекий...

невольно приходят в голову слова сибирского поэта. И далее:

Нет там пустых истуканов,
Вздохов изнеженной груди:
Там только люди да цепи,
Цепи да люди...

Но что особенно нас радует, а часто прямо приводит в восторг, — это летняя сибирская природа. Такой красочности, такого разнообразия в дарах природы нам, городским жителям, видеть не приходилось. Какие могучие леса, какие роскошные полевые цветы, целые газоны, целые поля ярких дико растущих цветов! Мы часто останавливаем наш конвой, часто рвем целые букеты, упиваемся их ароматом, и нам дорого это особенно потому, что вот уже больше двух лет мы не были в поле, не видели цветов и настоящей, такой пышной, свежей зелени!

А раскинутые по нашему пути пригорки, сопки и долины с их рододендронами и целыми полями лилий, они еще ярче оттеняют богатство и прелести растительного царства, и нет сил оторвать глаз от этого сочетания живой и блещущей флоры с истинно красивыми, подчас причудливо-красивыми и живописными картинами природы.

Здесь же впервые нам пришлось увидеть и одного из красивейших представителей животного царства Сибири — козулю (дикая коза), правда, в самый трагический момент ее жизни. Красивый козел — по-сибирски „гуран“ — с гордо поднятыми ветвистыми рогами не ожидал печальной встречи с нашим конвоем. Он спокойно, не предвидя опасности, вздумал перейти дорогу саженях в 300 впереди нашей партии. Его не пугал звон цепей, или он его не слышал, и меткая пуля

одного из конвоиров пробила его сердце. Козел сделал огромный прыжок и замертво свалился по другой стороне дороги.

Мы часто полулежим в нашей телеге и радуемся, что двигаемся так медленно, шагом. Спешить нам решительно некуда, а красоты природы, опьяняющий аромат лесов и цветов пьянит, очаровывает нас, и мы далеко уходим мыслью от неприглядного настоящего, от неведомого будущего...

И кажется нам, по крайней мере, нам с Розой, что, невзирая на всю тяжесть переживаемого момента, несмотря на два с лишним года тюрьмы, уже висящих за нашими плечами, и на многие предстоящие годы таковой же впереди, — мы переживаем наше счастливое время... И, несмотря на всю парадоксальность такого представления, для меня оно так и было на самом деле...

Вот навстречу нашей партии, с звонкими колокольчиками под дугой, мчится тройка лошадей. Поровнявшись с партией, ямщик задерживает тройку и едет шажком. Мы видим, что в почтовом тарантасе сидит пожилой господин с очень интеллигентным лицом, обрамленным большой седой бородой. Он заинтересован пертией, но его лицо выражает уже явное изумление, когда его взгляд останавливается на нашей группе. Он торопливо вынимает из кармана портсигар и одну за другой бросает в нашу телегу дорогие сигары. Что это? Молчаливый знак сочувствия? Но чему? Нашему ли положению или нашей идее и нашему делу?

Так, медленно, подчас тяжело, но и счастливо, тихо, но верно мы приближались к Иркутску — этой столице Сибири. Город нас занимал мало; мы знали, ведь, что нам его не покажут, а отведут нас прямо в тюрьму, где-нибудь на окраине. Но мы знали также, что в Иркутске в это время пребывали вывезенные из Кары Ковалевская, Ковальская, Кутитонская и Россикова, и для нас было важно во что бы то ни стало добиться с ними свидания. Смотритель тюрьмы, явившийся вскоре после нашего приезда, оказался довольно воспитанным, довольно интеллигентным человеком и, как поляк, настолько любезным, что был готов удовлетворить все наши законные просьбы. Он понял, как важно было для нас общество товарищей, и не протестовал против нашего желания видеться с ними. Но поместить нас на одном коридоре с ними оказалось невозможно, и мы заняли камеру, отделяющуюся от них капитальной стеной. Но окна всей этой старой тюрьмы выходили на общий двор, и мы во время прогулок могли свободно разговаривать с нашими соседями.

Все они представляли для нас значительный интерес. Это были сознательные деятельницы еще старого бунтарского настроения Юга России и далеко не безызвестны в истории революционного движения.

Мария Павловна Ковалевская, урожденная Воронцова, сестра старого д-ра экономиста В. В., представляла несомненно наибольший интерес. Принадлежа к старой школе русских бакунистов, она, как и ее товарки Ковальская и Россикова, не отступала от своих принципов во всю свою долголетнюю тюремную жизнь, несмотря на то, что это часто вносило много раздора в артельную жизнь женской тюрьмы и служило иногда причиной крупных и подчас непоправимых недоразумений.

Сейчас она, благодаря хлопотам с воли и частью собственными усилиями, добилась того, что ее возили для свидания с родными в Енисейскую губернию, и на возвратном пути оставалась в Иркутске по болезни и отдыхала как от невольного общежития, которое в тюрьме подчас бывает горше одиночного заключения, так и от тяжелого этапного пути. Она не прожила в Иркутске долго и, кажется, года через два после нашего проезда вновь была привезена на Кару. На волю, к которой так рвалась ее душа, она так и не попала.

Россикова, когда-то игравшая немаловажную роль, участвовавшая в предприятии Юрковского („Сашка-инженер" — подкоп под херсонское казначейство) и даже бывшая его инициатором, по свидетельству самого Юрковского, очевидно, уже в описываемое мною время была в начальном периоде своей душевной болезни. Здесь, в Иркутске, мы ее не видели, она нам не показывалась. Узнать мне ее пришлось уже вполне душевно-больной в тюремном лазарете на Каре в 1891 году, где я работал короткий срок моего пребывания в вольной команде. Здесь она проявляла все признаки тихого помешательства с оттенком некоторой агресивности. Так она и закончила свое существование, увезенная, кажется, вновь в Иркутск, не выходя из представлений ее мании величия.

Кутитонская, несчастная молодая девушка, еще в 1882 году окончила свой небольшой срок и вышла на поселение в Забайкальскую область. Но скоро она узнала о разгроме карийских тюрем в том же году после массовых побегов, известном под именем „майского погрома". Начало этому было положено еще в период „диктатуры сердца", при Лорис-Меликове. Внутри России все, казалось, готовилось к расцвету, надежды распускались, как первые весенние цветы, все хотело выйти

из мрака, тянулось к свету к свободе... Только на далекой окраине, на Каре, крепчал больше и больше каторжный режим, и политические каторжане чувствовали на себе тяжелую руку диктатуры сердца. Побеги задуманы были раньше; теперь они осуществились, что казалось окончательно неизбежным после того, как в России грянул гром 1 марта. Конечно, они не удались, и за ними последовали обычные репрессии, избиения и издевательства.

Бедная молодая девушка узнает обо всем этом уже post factum. Она еще недавно из тех мест; у нее свежи воспоминания об этих, доселе почти незнакомых, а теперь таких близких, таких родных людях. Она одинока, у нее нет ни одной родственной души, нет родины и родных, вблизи ее только холод Сибири, и все, что дорого и близко, оставлено там, откуда идет молва об этих ужасах. И у нее, в глубине ее души, вершится какой-то трагический переворот. Во всем виноват он, этот властный и обозленный человек, этот военный губернатор области, сам руководивший избиениями. Решение созрело, она должна стрелять в генерала Ильяшевича; ей вовсе не надо убить этого человека: бессознательно она знает, что Ильяшевичей, всегда готовых на такой же акт, много; нет, ей нужен выход ее собственному напряженному состоянию, ей нужно, чтоб и другие хоть в сотой, тысячной доле почувствовали то, чем она живет в данную минуту, чтобы всплыло дело о карийских ужасах перед лицом общественного мнения. И она тайно уезжает из глухого места своего поселения (г. Акша), где так много передумала и перестрадала, и добирается до Читы, никому о том не заявив, никого не спросившись, встречает ненавистного ей генерала и стреляет в него почти в упор. Дальше всякому понятно, что должно было быть. Кутитонская арестована, заключена, почти замурована; потом ее судят, снова приговаривают к каторге и держат в разных тюрьмах. Но и необыкновенное, только-что пережитое потрясение, и непередаваемо тяжелый режим, доставшийся на долю молодой девушки, подрывают в конец ее силы, и без того недостаточно крепкие. И мы застали в Иркутске эту миловидную, худенькую, белокурую Кутитонскую уже непоправимо больной. Она и умерла там от туберкулеза весной 1887 г.

Настоящих свиданий с нашими соседками мы так и не получили, но во время прогулок перед их окнами мы могли беседовать с ними по целым часам. Разговоры шли главным образом с Марьей Павловной; ей было интересно все, что мы могли рассказать ей о жизни на воле: ведь сравнительно

мы так недавно еще пользовались таковой. Нам же нельзя было найти более осведомленного источника о жизни на Каре и об ее порядках, чем она. Да и местные, иркутские злобы дня не ушли от нашего внимания. Так, напр., мы узнали от нее, что Иркутск того времени еще не забыл только-что происшедшей драмы с Неустроевым. Неустроев — якут по происхождению, человек с университетским образованием и несомненно прогрессивно мыслящий, учитель, кажется, женской гимназии. Его замешали в какое-то дело местной организации, которые тогда росли, как грибы, и обыкновенно ничем не кончались. Арестованный Неустроев сидел и томился в одиночке, не имел понятия, в чем его обвиняют, только чувствуя, что с этого момента начинается полный разгром и переворот во всем укладе его жизни. И надо же было в это время генерал-губернатору Анучину посетить тюрьму. Зашел он и в камеру Неустроева, и у него хватило бестактности обратиться к заключенному с какими-то оскорбительными словами на тему о его молодости и о порученном ему наставничестве юношества, на которое он, якобы, действует развращающе. Словом, задел взволнованного, неуравновешенного, обиженного и самолюбивого инородца в такой мере, что тот поддался рефлексу и оскорбил Анучина действием. Его, конечно, судили немедленно, приговорили к смерти и быстро расправились с человеческой жизнью.

Все общество было крайне взволновано происшедшим, всецело стоя на стороне Неустроева, в виду непопулярности генерал-губернатора, и ожидало, что в своей конфирмации он, по крайней мере, пощадит жизнь осужденного. Но Анучин считал свою физиономию стоящей больше, чем жизнь человека.

Неустроев был расстрелян.

Повторяю, эпизод этот был еще очень свеж, и иркутское общество еще волновалось и бойкотировало, насколько можно, своего генерал-губернатора. Скоро он и должен был оставить свой высокий пост, и слухи о нем для Сибири совершенно замолкли.

Беседы наши продолжались, пока не наступил неожиданный крах. Но прежде расскажу еще один комический эпизод, происшедший во время нашего разговора и характеризующий саму Ковалевскую.

Проходит однажды мимо нас молодой прапорщик, конвойный начальник, очевидно—только-что выпущеный из училища. У него были такие свежие погоны, такие светленькие пуговицы и такие маленькие, маленькие усы... Прошел он и вто-

рой раз, зорко поглядывая на нас. И вдруг, обращаясь к окну Марьи Павловны, он говорит: „не сметь разговаривать!“ Опытная в тюремной жизни наша собеседница не обратила ни малейшего внимания на слова офицерика и, как бы отмахнувшись, словно от назойливой мухи, продолжала разговор. Они говорили с Розой по-французски, что, повидимому, еще больше нервировало прапорщика. По крайней мере, проходя снова, он еще настойчивее потребовал не разговаривать, да еще на иностранном языке. А когда и это не привело ни к какому результату, он, рассвирепев, привел солдата со штыком, поставил его перед окном Марьи Павловны и заявил: — „Молчите, или я прикажу вас колоть!“

Этого уже было слишком для Марьи Павловны. Она выдвинулась между решетками окна, насколько могла, почти до пояса, и энергично воскликнула: „Колите“! Офицер отступил. Тогда, не меняя позы, она заявила ему вдогонку: „Вы, г. офицер, и молоды, и глупы! Прежде чем наряжаться в тогу величия, следовало бы знать, с кем вы имеете дело!“

Сконфуженный офицер ретировался с позором, а мы еще продолжали разговаривать, пока не кончилась наша прогулка.

Но вот грянул и гром. Утром, часов в девять, нас удивил на поверке унылый вид смотрителя, который обычно сам на поверках не участвовал. А еще через час или два мы узнали, что неизвестно каким путем из своей камеры, оказавшейся закрытой, бежала Ковальская. Одновременно совершен побег двух или трех уголовных, среди которых один приговоренный к смертной казни — грек Петратис. Начальство тюрьмы было поражено: камера Ковальской все время была на запоре, отворялась только рано утром для уборки, и в это время ее обитательница мирно почивала, а к поверке, вместо нее, на кровати оказалось чучело.

Если исключить соучастие в побеге надзирателя, оставалось только предположение — бежала через окно. Соучастие надзирателя представлялось очевидной невозможностью по многим причинам, осмотр же оконной решетки никаких изъянов в ней не показал, разве кроме очень широких ее пролетов. Не могла ли Ковальская вылезти через них? И вот выискивается мальчуган, подходящий к ней по росту и комплекции. Его заставляют употребить все усилия, чтобы пролезть через решетку. Но нет, даже и этот гибкий мальчишка не мог проскочить между железными прутьями. Очевидно, сам демон участвовал в побеге Ковальской. Скоро она была поймана и вновь водворена в тюрьму, но способ ее побега и для нас от-

крылся только впоследствии. Как и все неожиданное и ловкое, и этот побег был совершен крайне просто. Заранее было приготовлено платье надзирателя, заранее приготовлено чучело. Только в назначенный час, когда для уборки дверь была открыта, в соседней камере, у М. П. Ковалевской, произошел пожар, и надзиратель на момент должен был бросить камеру Ковальской открытой и бежать на помощь к Ковалевской. Этого момента и было достаточно, чтобы Ковальская могла выйти из камеры и временно скрыться в коридоре, во дворе и пр., чтобы потом пройти мимо часового в качестве надзирателя.

Все это произошло в самом конце нашего пребывания в Иркутске. После месячного отдыха нас отправили дальше. Дзвонкевич уже давно уехал, но к нам присоединили надолго задержавшуюся по болезни в дороге Анну Васильевну Якимову. Не могло быть ничего приятнее для нас этой компании, так как нельзя было не любить и не привязаться к этой милой, всегда ровной, рассудительной женщине, прекрасному товарищу.

И вот однажды, рано поутру, мы уселись в предназначенную нам телегу, все трое, и скоро присоединились к общей партии. Опять перед нашими глазами арестантская колонна, опять кандальный звон и опять неизменный партийный запевала — „Вакула кузнец“.

Сколько помню, до Байкала мы добрались довольно быстро, кажется в один-два дня и провели день в Лиственичном, в ожидании парохода, который должен был перевезти нас на другую сторону озера-моря — в Мысовую.

Этот этап в с. Лиственичном памятен мне до сих пор. Ничего ужаснее в смысле скученности на одном тесном замкнутом пространстве людей всех возрастов и без различия пола я до сих пор еще не видал. И наша изоляция от уголовных сошла на-нет, оказалась здесь фикцией. До изоляции ли тут, когда каждый вершок пола на всем пространстве этапа занят человеческим существом. Днем еще люди кое-как могли бродить по двору, хотя частями, но с наступлением вечера, когда все оказывались под замком, получалась такая насыщенная атмосфера, такое отсутствие воздуха, что временами надо было отдышаться у форточки, которую люди чуть не брали с боя. Достаточно сказать, что две или три огромные „параши“, уже давно переполненные отбросами человеческого тела, не могли вместить в себя новых прибавлений этих отбросов, и они, переливаясь через края сосудов, расплывались по полу,

повсюду занятому спящими и полуголыми людьми, и орошали их тела, одежду и насыщали их дыхание зловонными испарениями... Это что-то ужасное! И мы были рады выбраться из этого ада, когда в 4 часа ночи нас повели на пароход.

Но нам не повезло и тут.

Обычно нашего брата, вероятно—из некоторой деликатности к нашему состоянию, помещали в классные каюты, когда они оказывались свободными. А на арестантских пароходах они бывали свободны всегда. Но на этот раз на наше несчастие все классы парохода были заняты свитой только-что назначенного, тогда еще первого генерал-губернатора Приморской и Амурской областей — барона Корфа, который и переправлялся через Байкал на нашем пароходе. И оказались мы без места: все трюмы переполнены арестантами и все классные каюты — генералитетом. В 4 ч. ночи нас поставили на корму пароходной палубы у самого руля, без какого-либо прикрытия. Морозная сентябрьская ночь на Байкале и пронизывающий сырой ветер скоро довели нас до такого состояния, что мы, прижавшись друг к другу, стали понемногу замерзать.

Но ведь мы были в некотором роде государственной собственностью, и за нашу погибель пришлось бы кому-нибудь отвечать, может быть, у кого-нибудь и проснулось человеческое сострадание, словом, заметили наше отчаянное положение и решили перевести нас в... машинное отделение, у самой топки котлов, температура которого, насыщенная машинным маслом и гарью, была похожа на температуру бани. Здесь мы, с разболевшимися головами с непривычки и от контраста с только-что испытанным морозом, оставались, пока пароход не отчалил от берега. Тогда мы уже считали себя в праве просить немного свежего воздуха, просить выхода на палубу, хотя бы в том соображении, что в нашем распоряжении для побега по волнам Байкала не было даже „омулевой бочки"...

И мы были выведены на палубу и усажены на скамейке подле пароходного котла. Тут мы и просидели рядком, пока наш пароход не подошел к ст. Мысовой (ныне г. Мысовск).

Но и тут не обошлось у нас без инцидента, немало нас взволновавшего, о котором не могу не рассказать сейчас, тем более, что для меня он имел небольшие и, правда, скорее комические последствия.

Как я сказал выше, с нами ехал барон Корф. Он занимал место в классе справа от нас; против же нас были расположены, как всегда на старых пароходах, по борту отдельные

помещения — умывальная, уборная и пр. Мы видели, что из класса к уборным и обратно неоднократно проходил какой-то генерал. Правду сказать, нам было совсем не до него, да и не преполагали мы, что это сам ген.-губ. барон. Корф. Но вот во время одной из таких прогулок он делает крутой поворот и направляется к нам. Мы встали и с интересом ожидали, что произойдет дальше. Корф прямо подошел ко мне и, глядя строго в упор, заявил буквально следующее:

— Я не успел еще перейти границ моих владений, как вы уже оказываете мне неуважение.

Должно сознаться, я опешил и растерялся от неожиданности. Но Роза быстро сообразила, в чем дело, и довольно определенно заявила, что нас никто не обязал и не мог обязать становиться во фронт перед каждым генералом, проходящим мимо нас.

— Не с вами говорят, — грубо отрезал Корф в ее сторону и, вновь обращаясь ко мне, опять заговорил на тему о нашем бесправном положении и необходимости поэтому подчиняться власти, которая в лице его, Корфа, может оказаться для нас не очень благосклонной. Но Розу было остановить трудно, да и мы с Анютой уже вышли из состояния изумления, и наш общий голос, указывающий, что уж в области-то почтения мы всегда были и есть люди свободные, не взирая на наши арестантские костюмы, дал понять этому новому владетельному принцу, что его выпад оказался не достигающим цели.

— Отдать их под особо строгий надзор! — громко провозгласил он и, повернувшись, быстро ушел на мостик.

Нам осталось переживать полученные впечатления и гадать, в чем скажется только-что происшедшее столкновение.

Скоро пароходный свисток объявил нам о прибытии на ст. Мысовую, а кто-то из адъютантов Корфа быстро записал наши имена.

Как бы то ни было, мы уже в Забайкальской области, где судьбою мне было предназначено прожить очень и очень долго, и которая поэтому стала моей второй родиной.

8. Забайкальская область. — Конец пути.

Сидя на этапе в Мысовой, мы продолжали еще обсуждать инцидент с Корфом, за неимением других интересов и впечатлений, и готовились воспринять „особо строгий надзор“ генерал-губернатора.

Но гора родила мышь.

Вскоре и незадолго до нашей отправки в нашу камеру вошли два этапных офицера — только-что нас сюда препроводивший и долженствующий препроводить нас дальше. Этот последний с улыбкой нам заявил:

— Вы отданы под строгий надзор, но, по совести, обсудив этот вопрос, мы думаем, что строже держать вас, чем вы содержитесь, нет возможности; вести вас дальше, чем вы идете,— некуда, и потому мы решили оставить все так, как было раньше и рекомендуем вам подзакусить и понемногу собираться в дальнейший путь.

Эта здоровая и человеческая речь, конечно, была нам по душе, и мы вполне последовали совету офицеров.

Но это мое личное знакомство с бар. Корфом маленькое последствие для меня все же имело.

Просидев после этого на Каре лет 5 или 6, я все еще, к сожалению, не имел права выхода в вольную команду. Между тем наш комендант, очень недалекий, но в сущности добрый, ротмистр Масюков, мой постоянный пациент, задумал отблагодарить меня ходатайством о неурочном выпуске меня в вольную команду. С этой целью он хотел использовать ближайший проезд через Кару генерал-губернатора. Собирался ли он сделать это немного позднее или вообще побаивался поднимать этот вопрос перед высокой властью, только его предупредила наша женская тюрьма, куда Корф в это свое посещение попал в первую голову. Там ему сделали заявление, что за смертью д-ра Веймара, которому было разрешено посещать женскую тюрьму, и за полной невозможностью пользоваться услугами официального военно-тюремного врача,— его просят разрешить мне хотя изредка посещать их для подачи медицинской помощи всем обитательницам тюрьмы, очень часто нуждающимся в таковой. Тюрьма при этом, конечно, имела в виду и облегчение сношений с мужской тюрьмой, часто очень затрудненных и дорого стоящих. Вот тут-то наш комендант и осмелился присоединить свой голос и, находя вполне справедливой просьбу женской тюрьмы, полагал бы более целесообразным для этого перечислить меня в разряд внетюремных обитателей, т.-е. выпустить меня в вольную команду, хотя я на это еще не получил права.

Бар. Корф, повидимому, согласился с этими доводами и уже хотел дать на то свою санкцию, да спросил фамилию того лица, о котором идут хлопоты. А это совершенно испортило дело, и когда Масюков назвал ему меня, Корф заявил:

— А! Я помню это имя, а если я его помню, то это, наверно, какой-нибудь негодяй!

Тем и кончилось это предстательство за меня нашего коменданта, о чем я, конечно, узнал только много позже.

Но как характерна эта знаменитая в своем роде фраза генерал-губернатора! Неужели он помнил только о негодяях или всю жизнь сталкивался только с таковыми!

В дальнейшем путь до Читы не ознаменовался для нас ничем знаменательным. Только по приезде в В.-Удинск для нашей дневки не оказалось помещения, и нам пришлось устроиться при городском полицейском управлении, почти под исключительным надзором его сторожа — старого клейменого каторжника. Это было даже немного странно и необычно, особенно принимая во внимание очень серьезные строгости уже пройденного пути, с одной стороны, и все же имевшуюся среди нас вечную каторжанку и одного долгосрочного — с другой. Но уж таковы были тюремно-полицейские нравы и повадки того времени в далекой Сибири, впоследствии, кажется, радикально изменившиеся.

И вот мы в полицейском управлении, во втором этаже каменного дома, выходящего на базарную площадь. Мои дамы располагаются в большой и светлой комнате — ожидальне, а я таскаю на себе туда же наши мешки с одеждой и съестными запасами — наш „бутарь". В это время во двор въезжает пара вороных дышловых лошадей с молодым, красивым седоком, обладающим большими и красивыми черными усами. Он быстро соскакивает с тележки и поднимается по той же лестнице, по которой и я таскаю наш багаж. Когда я, почти следом за ним, вхожу в назначенную нам комнату, я вижу там этого господина, непринужденно болтающего с моими дамами. Оказывается, это д-р К., заехавший к нам, чтобы лично осведомиться о характере нашего столкновения с генерал-губернатором на Байкале. В В.-Удинске, задолго до нашего приезда, распространился слух об этом столкновении и при том в несколько преувеличенных красках. Рассказывали, что мы дерзко отнеслись к Корфу, заявили ему, что у него на лбу не написано, что он генерал-губернатор, и что мы его не хотим знать. По совести, такого заявления с нашей стороны сделано не было.

В октябре мы, наконец, прибыли в Читу. И здесь, отчасти по болезни, отчасти по усталости, мы прожили несколько больше месяца. Не то, чтоб обстановка нашей жизни была достаточно культурна и привлекательна; конечно, далеко нет: чрезвычайно тесная, старая, прогнившая тюрьма, необыкновенная трудность

добывания провизии и приготовления себе пищи, отсутствие какого бы то ни было общества и книг — все это не могло представляться нам сколько-нибудь заманчивым. Но боязнь уже наступивших холодов и наше не совсем-то крепкое, ослабленное здоровье заставляли с недели на неделю откладывать наше дальнейшее путешествие.

Большую отраду доставляли нам, правда, очень редкие, посещения товарищей-читинцев. Умели как-то проникнуть к нам, время от времени, Фанни Абрамовна Морейнис, уже отбывшая свой короткий срок каторги, и Леонид Эммануилович Шишко, судившийся по так называемому „большому“ процессу 193-х и тоже вышедший уже на поселение и живущий в Чите.

Немало было бы можно рассказать об этой в высокой степени выдающейся личности, проведшей в кристальной чистоте всю свою жизнь и оставившей глубокий след в современном движении. Но для его точной и сколько-нибудь полной характеристики нужно более умелое перо, и он, конечно, дождется со временем своего достойного биографа. Я же смогу здесь лишь кратко и бегло отметить некоторые внешние черты его жизни.

Мы застали Леонида Эммануиловича уже в течение нескольких лет окончившим срок его каторги; вместе со своим сопроцессником Союзовым он основал в Чите столярную мастерскую и сам превратился из бывшего артиллерийского офицера в столяра. К сожалению, он так сильно страдал глазами, что его всегдашнее стремление к научной деятельности пока не могло быть удовлетворено.

В надежде поправить глаза он перевелся в Томск, но и там получил только слабое облегчение. Здесь все-таки он уже мог часть своего времени отдать литературному труду, но главный расцвет его мысли, его деятельности получился только с отъездом за границу, куда ему удалось бежать после довольно долгого пребывания в Томске. За границей прежде всего Л. Эм. поправил свои глаза настолько, что они уже не мешали ему работать; затем он становится секретарем знаменитого Элизэ Реклю и остается таковым в течение долгого времени, кажется, вплоть до смерти Реклю. Одновременно он занимался и собственными историческими и социологическими работами. Его перу, между прочим, принадлежит краткое, популярное и талантливое изложение русской истории с освещением всех исторических фактов с совершенно правдивой, далекой от официальной точки зрения. Вскоре Л. Эм. принимает более живое участие в партийной жизни, и на ряду с М. Раф. Гоцем может

считаться основателем партии социалистов-революционеров, частью продолжающей чисто народнические заветы „Народной Воли“.

В краткий период наших свобод, в 1906—1907 гг., он нашел возможным даже на короткий срок приехать в Россию, но быстро начавшаяся реакция вынудила его вновь оставить пределы родины; он опять выехал за границу и скончался в 1910 году.

В конце нашего пребывания в Чите прошла на Восток партия, при которой шли Г. М. Фриденсон и И. П. Емельянов. Оба они на одни сутки остановились у нас, что доставило нам немалое удовольствие. Теперь мы уже были достаточно оторваны от живого мира, и все идущее из глубины России, хотя и через фильтр тюрьмы и этапов, возбуждало в нас живейший интерес. Можно себе представить, с каким захватывающим вниманием мы следили за рассказами новоприбывших, с каким азартом допрашивали их о всех мелочах жизни в оставшейся за ними родине, и как много дали нам эти короткие часы общения с людьми, казалось, так недавно оставившими пределы России!.. А они, эти лица, были небезынтересны. Оба они судились за год до нас, вместе с нашей Анютой Якимовой (процесс 20-ти в 1882 г.). Фриденсон был прекрасный, всегда отзывчивый товарищ, и с ним мы были неразрывными друзьями во все последующие годы тюрьмы, поселения и частью вольной, свободнй жизни. Человек всегда трезвого, здорового ума, безукоризненно последовательный в своем мировоззрении, он не был лишен определенного влияния на окружающих и мог всегда морально поддержать слабеющего товарища. Обладая даром слова и убеждения, Григорий Михайлович нередко выводил многих из сомнительных положений, и его умение быстро ориентироваться в довольно сложных положениях и уменье воздействовать на влиятельных людей позволяло ему многих устраивать и материально. Многосемейному, ему самому приходилось работать много, иногда браться за незнакомые и мало свойственные его характеру дела, но он всегда оказывался на высоте положения и, не падая духом, выходил сам и выводил других на более широкую, боле просторную дорогу. К сожалению, жестокая и быстрая болезнь пресекла рано его жизнь, и я не могу не пожалеть глубоко об этом милом и дорогом товарище-друге.

Совсем в другом роде был Емельянов, насколько я его знаю. Это страшно крепкий и сильный физически человек, чуть не саженного роста, с небольшой сравнительно головой, сидя-

щей на широких плечах. Он был прямым олицетворением культа физической силы, атлет по сложению и всегда сосредоточенно спокойный по внешности. Его биография своеобразна и интересна. Он сын посольского дьячка и потому много и долго жил за границей, преимущественно во Франции. Каким-то образом он был одновременно и воспитанником Н. Ф. Анненского, и был близок со всей окружающей их литературной семьей. Судился он как непосредственный участник дела 1 марта 1881 г. и не попал в первый процесс первомартовцев только потому, что не был своевременно разыскан. Из одного очень компетентного источника[1] я знаю содержание его показаний; они характерны. Вначале он пишет, что он такой-то, такого-то происхождения, воспитывался там-то и пр., что он никогда не слыхал о каких-то партиях революционеров и народовольцев и потому не мог разделять их, ему неизвестных, стремлений; что, вообще, он считает свой арест недоразумением, как человека, даже никогда не интересовавшегося революционными и социалистическими учениями. Так, приблизительно, говорит первая половина листа его показаний. За ней там же, но под новой датой следует: я, Иван Емельянов, есть тот самый третий метальщик бомбы 1 марта, который должен был действовать своим снарядом, если бы предыдущий удар Гриневяцкого оказался неудачным. Я первый подошел к окровавленному государю и, со снарядом под рукой, оказал ему первую помощь, пока не подошла к нему разбежавшаяся было его свита. После этого я благополучно удалился и в условленном месте сдал свой снаряд.— Эти два резко противоречивые показания на одном и том же листе объясняются очень просто. Арестованный по случайному поводу, он сумел настолько отстранить от себя всякое подозрение, что прокуратура была уже готова совсем его освободить. Но как-раз в это время прокурор Добржинский случайно вспомнил уже забытое показание Рысакова о третьем бомбометателе, сыне посольского дьячка, по имени Пантелеич. Это была достаточно сильная улика, и Емельянов не нашел возможным скрываться долее.

В дальнейшем Емельянов прожил с нами на Каре до 1890 г. и вскоре после пережитых тогда ужасов, устрашенный тяжелыми перспективами, решил отказаться от всего прошлого, притворился раскаявшимся и подал прошение о помиловании.

---

[1] От прис. повер. Ев. И. Кедрина, участвовавшего в защите на „процессе 20-ти".

Скоро он был водворен на жительство в Хабаровск, стал там домовладельцем, чуть не „отцом города“, и жил вполне и исключительно обывательской жизнью. Он и умер, не выезжая из Хабаровска, в 1910-х годах.

Остановлюсь еще на одном эпизоде этого времени. При читинской тюрьме была больница, которой заведывал некий д-р Хруль. Жалкая больница, но и не менее жалкий по отношению к своим обязанностям доктор! Больница состояла из небольшой комнаты в том же общем тюремном дворе и была переполнена сыпно-тифозными больными. Они лежали не только на койках, но заполняли своими телами весь пол, лежали почти друг на друге. О лечении их не могло быть и речи, когда мало заботились и об их кормлении. Бедняги умирали, как старые псы под забором, и очищенное место быстро заполнялось новым кандидатом.

Д-р Хруль был не даром полицейский врач. Он очень боялся сыпного тифа. Он видел, что помочь тут ничем не может, и решил или вовсе не посещать больницы, или бывать в ней как можно реже. Это, конечно, дело его совести. Но допустить до такого состояния больницу, не принимать никаких мер хотя бы локализации эпидемии, распустить тюремный сыпной тиф в такой мере,— это непростительно для врача, хотя бы и полицейского.

Однажды, за неделю до нашего отъезда, явился к нам один из этих несчастных обитателей больницы. Потеряв надежду дождаться официальной врачебной помощи, он пришел за таковой к нам, прослышав о нас от наших пациентов. Но что могли мы сделать для этого несчастного, чем могли ему помочь в наших условиях? Мы его осмотрели подробно и пришли к заключению, что имеем дело с сыпным тифом. Конечно, это не было утешением для бедняги, и он отправился в свою больницу, вероятно, умирать.

Дольше оставаться в Чите было невозможно. На нас уже косо посматривает начальство и, не взирая на наступившие трескучие морозы, какими отличается Забайкалье в ноябре месяце, мы решили двинуться в дальнейший путь вдвоем с Розой. Анюта Якимова осталась еще в Чите.

И вот в определенный день, недели через две после отъезда Фриденсона, мы выходим за ворота тюрьмы. Обычная картина подготовки партии к отправке. Оканчивается перекличка и пересмотр казенной одежды. Две полураздетые фигуры прыгают с ноги на ногу от ужасного холода на подушке, какой-то сердобольной душой подложенной под их босые но-

ги. Это арестанты, промотавшие все свое казенное имущество; в наказание их выдерживают полуголыми на морозе, пока после переклички не снабдят какой-нибудь одеждой. В дальнейшем их ждет еще неизбежная за промот вещей порка.

Наконец, все в порядке, и мы двигаемся в путь, на этот раз оказавшийся поистине тяжелым. Действительно, до сих пор нам не приходилось еще испытать такие муки, какие выпали на нашу долю на этом, сравнительно коротком пути, от Читы до Нерчинска.

Как живо вспоминается каждый штрих, каждое слово, каждое движение этого периода нашего пути! Словно все происходило только вчера и оставило по себе неизгладимое впечатление! А ведь прошло с тех пор уже больше 45 лет.

Наши испытания начались с первого же дня, и я постараюсь изложить все последовательно, по возможности не пропуская ни одного существенного штриха.

Наша партия оказалась огромной — больше 300 человек мужчин, женщин и детей. Этот наш первый этап — от г. Читы до д. Кручина — мы путешествовали страшно долго. Мы могли добраться до этапного здания только поздно вечером. Усталые, замерзшие, голодные арестанты кинулись занимать места в двух больших камерах, сваливая на ходу друг друга, перескакивая один через другого, с гиком и гамом, словно брали этап приступом. Третья маленькая камера предназначалась для нас.

Однакоже оказалось, что в ожидании партии, как это полагалось, здание этапа и не подумали отапливать. Еще хорошо, что были приготовлены дрова, но, к сожалению, во всем здании была только одна печь в исправности и именно печь нашей камеры. Кроме того, чтобы согреться, необходимо было и сварить себе какую-нибудь пищу. А на дворе — мороз выше 40°! Здесь и конвой, видя безысходное положение народа, не протестовал, когда по нашему приглашению вся партия арестантов перебралась сперва к нашей печке, для изготовления пищи, а потом и на ночлег. Тут было не до пресечения вредного влияния политиков на уголовных! 300 человек разного пола и возраста в одной небольшой комнате — это недурно! Мы двое прижались в углу, но, разумеется, ни об отдыхе, ни о сне в этой ужасной атмосфере нечего было и думать.

Еле дождались утра, кое-как на скорую руку позавтракали и двинулись дальше.

На следующем этапе, где мы должны были передневать, сравнительно все было не так еще дурно, если бы окно в на-

шей камере было снабжено рамой. Но таковой не оказалось, и от холода мы были вынуждены заставить окно нашими мешками, что, конечно, едва достигало цели. Пришлось спать, не раздеваясь, и часто просыпаться с большим куржаком на лице и одежде. Но усталость брала свое, силы были молодые, и спалось нам на этом морозе недурно.

Прошло еще два дня пути, и мы достигли этапа в Турино-Поворотном. Здесь наша камера оказалась с исправным окном; печь соседней камеры выходила в нашу и была снабжена душником. К сожалению, душник был без крышки и затыкался просто куском кирпича. Если представить себе, до какой степени накаливают и затем преждевременно закрывают единственную печь промерзшие арестанты, чтобы и приготовить пищу для 300 человек, и согреть себя, то будет ясно, каким количеством угара будет снабжена наша камера, и более прохладная и имеющая отдушину печки без крышки.

И мы двое, также усталые и продрогшие, торопились использовать отдых и рано улеглись спать.

Живо, как сейчас, слышу сквозь сон, как молча поднимается Роза, как она тихо сходит с нар и направляется к запертым на замок дверям. Сквозь сон и дремоту прислушиваюсь к ее шагам и слышу, как она, дойдя до средины камеры, повалилась на пол. Ужас охватил меня и прогнал весь мой сон. Я тотчас сообразил, что она угорела и лишилась сознания, приподнимаюсь, сползаю с нар и чувствую, что моя голова неимоверно отяжелела, а сам я едва держусь на ногах. Тем не менее спешу на помощь к Розе и, потеряв сознание в свою очередь, падаю рядом с ней. Насколько могу судить, все это происходило уже за полночь, когда все на этапе спало глубоким сном, и спасти нас могла только какая-нибудь случайность. Очевидно, она и не замедлила явиться. Как бы то ни было, мы очнулись в половине следующего дня со страшной головной болью на нарах большой камеры, среди уголовных, которые любезно предоставили нам место поудобнее между собою и ухаживали за нами с теплотою и уменьем, диктуемым истинно гуманным чувством. Оказалось, что одна из женщин, успокаивая своего ребенка, проходила по коридору и увидала наши безжизненные тела через окошко нашей двери. Она подняла тревогу, вызвала конвой, что потребовало немало времени, а остальное в деле нашего спасения взяли на себя уголовные нашей партии. Целый день и ночь мы чувствовали себя больными и не могли оправиться; но новое движе-

ние на свежем, морозном воздухе скоро и вполне восстановило наши силы.

Еще день пути, и мы снова на этапе той же самой конструкции, с той же для нас камерой, но уже с печкой в большей исправности. В виде предосторожности мы ложимся спать уже не на нарах, а на полу, поближе к дверям, чтобы в случае надобности можно было быстро призвать к себе кого-нибудь на помощь. Отчетливо встают у меня в памяти эти последние моменты перед нашим отходом ко сну. Мы страшно утомлены, а инцидент с угаром накануне, вероятно, все же оставил следы на нашем физическом состоянии. Чувствовалась, помимо простого утомления, какая-то усталость иного порядка: голова не работала, не хотелось ни о чем думать, и мы были рады предстоящему отдыху в течение ночи. К этому же располагал и сравнительно с другими более чистый и сколько-нибудь благоустроенный этап.

Я рано приготовил постели на полу у стены вблизи двери и, раздеваясь уже, сообщил жене, что у меня почему-то болит немного голова.

— Смотри, пожалуйста, не захворай еще ко всему,— сказала мне Роза.

— Ну, я слишком крепок и здоров теперь, чтобы хворать серьезно,— отвечал я.

И это были мои последние слова, после которых я крепко уснул, чтобы проснуться только недели через три в Нерчинске.

Я сразу впал в бессознательное состояние, температура страшно поднялась, и, издавая по временам тяжелые вздохи, я лежал без движения, как полумертвый. А между тем партии надо было двигаться вперед, меня, если бы я даже и умер дорогой, не имели права где-нибудь оставить: должны были довезти до Нерчинска. А до него при медленности нашего передвижения было еще далеко, не меньше двух недель.

Много горя перетерпела со мною бедная, милая Роза! Не говоря уже о том, что, вынужденная бездействовать в смысле лечения, она должна была взять на себя одну весь уход за мною, как за тяжелым больным; не говоря о том, что в пути, уложив меня на простые дровни, сама ютилась около меня на тычке, нередко сваливаясь в сугробы снега, ежеминутно рискуя отморозить себе и руки и ноги; не говоря о всем этом, на ее долю выпала тяжелая обуза нередко трудных, всегда неприятных, а подчас трагических объяснений с этапными офицерами.

Вот, например, сцена в с. Размахнинском. К поверке партии перед отправкой вздумалось явиться самому офицеру в слишком нетрезвом виде. Ведь это царь и бог в его маленьких владениях, и ему подчиняется не только вся команда, которая прямо дрожит перед грозным начальством, но и вся округа. Попробуйте противоречить ему или в чем-нибудь убедить этого владыку: его пьяный разгул не знает пределов и удержа, и безнаказаннно он может творить любое беззаконие. Я знаю много примеров этого рода. И таким же типом был размахнинский офицер.

Когда партия была выстроена и сосчитана, офицер потребовал, чтобы выходили политические. Мои привычные носильщики из уголовных бросились было, как раньше, в нашу камеру, где их ожидала Роза, совсем готовая в путь. Но офицер прикрикнул на них и приказал солдату привести нас. Вышла одна Роза; она уже предвкушала удовольствие от предстоящей беседы. Ее резонные объяснения о моей болезни и бессознательном состоянии, благодаря чему я не могу двигаться самостоятельно, были приняты офицером с ругательствами, с площадной бранью. Наконец, был отдан приказ поднять меня прикладами. Солдаты недоуменно идут в камеру и ни с чем возвращаются обратно: „Так что арестант лежит без памяти!“— „Врет! Притворяется! (так его и этак...)“. И новый приказ поднять его, не жалея прикладов.

Не знаю, чем бы кончилось это дело, если бы не случайное и благодетельное вмешательство какого-то несчастного пса, подвернувшегося под ноги свирепому офицеру; он и принял на себя весь пьяный гнев последнего.

Как мы не замерзли, как не отморозили себе рук и ног— трудно понять! 40—45 градусов мороза, вынужденное, неподвижное положение на дровнях целыми часами, плохая одежда у нас обоих, полная бессознательность и беспомощность одного и принудительное положение на краю экипажа с частым опрокидыванием в снег — другой,— все это, казалось, мало обеспечивало наше спасение, но, наперекор всему, оба мы перенесли все эти трудности дороги без серьезных повреждений и остались целы.

Милая Роза, даже и она, никогда не поддававшаяся слабости, не могла удержаться от слез впоследствии, передавая мне об этом эпизоде, когда мы были здоровы!

Но так или иначе, передвигаясь медленно и с большими трудностями для моей спутницы, мы добрались до Нерчинска. Последний станок был особенно мучителен и настолько дли-

нен, что к городу мы подъезжали часам к 10 вечера; нашу подводу — дровни с моим полуживым телом и сидящей сбоку женой — подвезли прямо к больнице.

В такой поздний час никого из медицинского персонала в больнице не могло быть, но Роза с величайшим трудом, с присущей ей настойчивостью добилась, наконец, того, что явился доктор. При взгляде на меня и при беглом осмотре он заявил Розе, что она напрасно беспокоится и напрасно тревожила его, так как у больного ясный отек мозга и он все равно должен умереть. Можно себе представить, как это могло подействовать на нее, но она не растерялась, и, наоборот, это придало ей энергии настоять на своем. Она отвечала доктору, что и вызвала его затем, чтобы он, в виду опасного положения, немедленно мог принять энергичные меры. По ее мнению, необходима была ванна, покой, лед на голову и пр., что в конце концов и было применено ко мне.

Между тем надо было решить вопрос о нашем помещении, а таковым могла быть только одна палата, занятая Емельяновым, заболевшим здесь также сыпным тифом, и Фриденсоном, оставшимся при нем в качестве сиделки. Так как по тюремным правилам, хотя и в больнице, нельзя было держать в одной палате здоровых мужчину и женщину, решено было водворить в ней нас, оставить там же больного Емельянова, а Фриденсона отправить в нашей партии дальше. Таким образом, один день Фриденсон и Роза совместно ухаживали за мною и Емельяновым. При своем отъезде Фриденсон, прощаясь со мной, вздумал меня поцеловать. Как раз в этот момент и всего на один миг, в первый раз от начала заболевания, я пришел в себя, сразу понял, вернее, вспомнил, что произошло со мною, и, обращаясь к Фриденсону, сказал: „Не целуй меня, заразишься, пожалуй!“ — и немедленно вновь впал в бессознательное состояние.

Решительно не знаю, как долго все это продолжалось, не знаю, что со мною делали, какие меры принимали, чтоб сохранить мое существование, но верно только одно: Роза не теряла энергии и уверенности, что поставит меня на ноги, несмотря на невероятную затрату ею сил, и, конечно, ничему другому, как ей и ее бдительному, умелому уходу, обязан я тем, что остался жив.

Наступил, наконец, момент, когда ко мне стало возвращаться сознание, стала возвращаться жизнь.

Отчетливо помню первый момент этого перехода из небытия к жизни, когда первые впечатления окружающего добрались

до моего сознания, пока только через посредство органа слуха. В то время как мои глаза были еще закрыты, до моего слуха дошли два голоса. Первый спрашивал: „Ну, как ваши дела?“ — на что второй голос отвечал: „У него температура нормальна, но у меня 40°...“ — „Так ложитесь у вас тоже тиф!“ закончил первый голос, и это заставило меня открыть глаза. Я сразу, ни минуты не медля, осмысливаю и оцениваю положение. Я вижу, что Роза действительно больна, настаиваю, чтоб она тотчас же ложилась, и в свою очередь, поскольку позволяли мне силы, начинаю ухаживать за нею, как за больной. Она не теряла вполне сознания, но в некоторой мере оно было у нее затемнено. Ее бредовая идея сосредоточивалась на деятельности ее сердца; ей казалось, что оно слабеет, отказывается работать, останавливается. И для ее успокоения, отчасти в силу собственной тревоги, я ежеминутно подползал к ее постели и слушал биение ее сердца. Успокоившись сам, я успокаивал и ее, и это действовало на нее благотворно.

Особенно тяжело нам было с ванной. Никакой прислуги нам не полагалось, кроме старика сторожа, бывшего каторжника; о женской нечего было и мечтать. А между тем войти в ванну собственными силами Роза не могла, так как она ослабела за этот месяц борьбы за мою жизнь.

Я тоже был слаб настолько, что мог только ползком перебираться от кровати к кровати. На беду мою, на другой же день после того, как я очнулся, у меня появились невероятные боли во всей правой половине груди, сильнейшее колотье при каждом вздохе. Мы все-таки придумали способ делать ванну моей больной: с большими трудностями я передвигал ее к краю постели, становился сам с противоположной стороны и осторожно сталкивал ее в ванну, поставленную у самой кровати, слегка поддерживая за край простыни. Труднее было извлечь ее обратно из ванны; для этого мы пользовались той же простыней, вытягивая ее теперь на себя, что и помогало моей больной выкатиться снова на постель. Дальнейшее — обтереть и закутать ее уже не представляло трудности.

Но боль в груди не оставляла меня и на следующие дни. Дождавшись доктора, я просил его послушать меня; он же, видимо, находил это излишним, быть может, боясь меня, как сыпно-тифозного, быть может, не веря мне и считая меня за симулянта. Но я настоял все же на своем и совершенно напрасно; едва прикоснувшись ухом к моей груди, он изрек: „да, что-то есть катаральное!“

Это классическое „что-то катаральное“, конечно, нисколько меня не успокоило и мне не помогло, и я решил обойтись в дальнейшем без его высоко-научной помощи. Правда, я боялся пневмонии, но мои ощущения говорили скорее лишь за плеврит и притом сухой. Я позвал фельдшера и упросил его дать мне чуть не полуаршинную мушку. От нее у меня нарвало огромный пузырь, но мне тотчас же стало заметно лучше, что и подтвердило мой самодиагноз. И справляться с моей больной мне стало также легче, очевидно — и силы мои понемногу начали восстановляться.

Еще недели две состояние Розы внушало мне опасение. Я принимал всевозможные меры, чтоб поддержать ее силы, и добился того, что температура стала падать. Тогда мы вздохнули свободнее: оставалась одна забота — подкормиться. Здесь нам на помощь пришли наши товарищи — Кузнецов и Чарушин, давнишние нерчинские жители, — так как наши собственные средства подошли к концу.

К этому времени нас посетила врачебная комиссия, назначенная, наконец, для исследования причин и характера распространения этой тюремной эпидемии. Во главе ее был врачебный инспектор области д-р Щеглов. Комиссия подробно расспрашивала нас о начале и ходе заболевания и пришла к заключению, что оба мы перенесли сыпной тиф, вероятно, заразившись от осмотренного нами больного в Чите, так как промежуток, прошедший с того момента до моего заболевания, как-раз соответствовал периоду инкубации сыпного тифа. Роза, очевидно, уже заразилась от меня, что и не было удивительно.

Еще какая-нибудь неделя-две и мы должны были продолжать наш путь. Емельянова давно уже отправили на Кару. Скоро пришел и наш черед, хотя мы далеко еще не чувствовали себя здоровыми.

Наш врач, д-р Шари, был слишком мягкий человек, но он не отличался большими достоинствами, как врач, и его помощь для нас была несущественна. Поэтому мы решили двинуться в путь, хотя и не окрепли еще сколько-нибудь основательно. К тому же для нас не было секретом и то, что доктор будет очень доволен нашим решением, — все же мы представляли для него некоторую обузу, и, наконец, надо же нам чем-нибудь отблагодарить его за заботы и попечения о нас, а лучшей благодарности, чем исчезнуть с его глаз, он получить от нас и не мог, и не желал.

Близится к концу наше $1^1/_2$-годовое путешествие через всю Сибирь — наше новое отечество. Подходят к концу мытарства по тюрьмам, этапам и больницам этой, такой богатой физически и морально страны, к ее несчастию, так долго игравшей роль какого-то сплошного пенитенциарного учреждения. Наше знакомство с нею пока слишком одностороннее, но проблески ее будущей для нас привлекательности все же достигали до нас. И в дальнейшем, когда пришлось мне половину моей жизни провести в ее холодных туманах, постепенно переходя от состояния полнейшего бесправия до вольного, свободного существования, — я больше и больше проникался симпатией и к ее суровому, но здоровому климату, и к ее красочной и колоритной природе и к ее сильным, самостоятельным и знающим себе цену обитателям, ее сынам. Нет, Сибирь не стала нам мачехой, она сумела заменить нам утраченную родину, и многие, многие из нас если не стали сибирскими патриотами, на всю жизнь сохранили в себе глубокую симпатию к этой обширной русской колонии, пока лишенной благ истинной культуры, отнюдь не по ее вине, и, быть может, в ближайшем будущем имеющей завоевать себе самостоятельное и счастливое положение.

В средине декабря 1884 г. с небольшой уголовной партией мы выехали из Нерчинска. Путь предстоял уже недлинный, притом же вся обстановка его изменила свой характер. Уже почти не было угрюмых, неотопленных этапов, и мы чаще всего останавливались в частных крестьянских избах. Оттого и сам конвой наш представлялся нам не стражами, следящими за каждым нашим шагом, а случайными нашими спутниками.

И в самом деле, зачем им зорко смотреть за нами, ведь уйти нам двоим, еще очень слабым и больным, было решительно некуда и незачем, и конвой, здраво рассуждая, предоставлял нам полную свободу и скорее заботился, и очень трогательно, о нашем благополучии. А мы пользовались этой призрачной недолгой свободой во всю, знакомились с простым безыскуственным коренным населением Забайкалья и впервые получили возможность узнать его и уже немного полюбить.

Прекрасное, холодное, но светлое, всегда залитое ярким солнцем, богатое по своей природе Забайкалье! Как долго, начиная с этих моментов, пришлось нам пользоваться его благами, на ряду со всем жизненным злом, со всеми подчас непереносно тяжелыми переживаниями, какие уже надвигались на нас!

Начиная от Сретенска, мы ехали по льду широкой Шилки к неведомому будущему, не сулящему нам больших радостей. Мы оставляем за собой село за селом и с каждым шагом приближаемся к конечной цели нашего продолжительного путешествия. Конец этапным мытарствам, начало новой, как сфинкс, неведомой судьбы!

Вот Шилкинский завод, вот, наконец, и Кара, где нам предстоит провести многие, многие годы, полные сурового мрака, подчас безысходной тоски и отчаяния, но иногда и с проблеском радости.

Здесь же нам было суждено разделиться: Роза должна пойти в женскую, а я в мужскую тюрьму; но разделиться в в этих условиях значит расстаться и, как оказалось впоследствии, расстаться уже навсегда!

ГЛАВА VI

КАРИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА

Введение.

На Усть-Каре мы пробыли недолго. Нас поместили в той же комнате, где происходила общая приемка арестантской партии, с которой мы приехали, и мы были свидетелями этой бесцеремонной приемки.

Заведующий Усть-Карийской уголовной каторгой сидел за столом и просматривал статейные списки арестантов. Иногда он обращался к вызванному с каким-нибудь грубым, иногда насмешливым вопросом, а иногда и отсылал кого-либо для воздания ему заслуженного возмездия в виде порки, напр., за растрату казенной одежды и пр.

Когда дело дошло до наших статейных списков, он взглянул на меня и буркнул: „Еще молодой человек!“, чем и была окончена наша приемка.

В соседней комнате мы позавтракали с женой в последний раз вместе. Вскоре ее увели в женскую тюрьму тут же на Усть-Каре, а меня повезли на Нижний промысел.

15 верст, которые мне предстояло сделать, были для меня уже сущим пустяком после тысячных расстояний, только-что нами проделанных. И вот при одном повороте нашей дороги перед моим взором открылась обширная пустая площадь, по средине которой возвышались какие-то, строения, обнесенные высоким бревенчатым тыном—палями.

— Вот политическая тюрьма,—сказали мне, указывая на это сооружение, мои конвойные,—а вон против нее—дом коменданта, куда мы сперва и проедем.

И, действительно, прежде всего мы подъехали к комендантскому дому, куда меня и ввели. Приличный дом, хорошая

обстановка, домашний уют—все это так мало подходило к соседней тюрьме, и сразу было видно, что тут живет начальство. Меня встретил комендант—жандармский офицер Бурлей, как я узнал позднее, и встретил довольно дружелюбно. Мне было приятно, что первое впечатление от людей, которые отныне будут распоряжаться мною по своему усмотрению, не было плохим. Весело обращаясь ко мне, Бурлей говорил: „А! вот вы, наконец! ведь мы вас давно уже ждем“. Под этим „мы“ Бурлей разумел, конечно, себя и моих будущих товарищей, соединяя всех как будто в одну общую семью. „Ведь вы ветеринарный врач,—продолжал он,—а нам его-то и недоставало“. Когда же я указал ему, что я лишь по диплому числюсь ветеринарным врачом и в ветеринарии окажусь, пожалуй, невеждой, он успокаивал меня, говоря: „Ну, это ничего, мы вас здесь всему обучим, ведь у нас здесь настоящая академия“.

Таково было мое первое знакомство с моим непосредственным начальством.

Отпуская меня, Бурлей пожелал мне всяких благ и заметил, что товарищи, вероятно, давно уже меня поджидают, и надо удовлетворить их нетерпение.

Два жандарма отвели меня в тюрьму; открылись ворота, и я оглянул пустынный и безмолвный двор тюрьмы без единого живого существа. Налево большое длинное здание со входом посредине,—это сама тюрьма, направо—отдельное строение, как я скоро узнал, кухня и баня.

Мы входим через гостеприимно открытые двери в общий коридор. С одной его стороны несколько дверей в отдельные камеры, с другой—между окнами длинный деревянный ларь, видимо, для продуктов, и, опираясь на него, стоит тюремный староста Л. Ф. Бердников, мой земляк, но много старше меня. Мы здороваемся, обмениваемся приветствиями, и я скоро оказываюсь в объятиях откуда-то внезапно появившегося моего приятеля и сопроцессника Ванички Калюжного. Он уже приготовил мне место в камере „Якутке“, где живет сам. Я вхожу туда, знакомлюсь со всеми новыми сожителями, и с этого момента я прочно водворен на жительство в Карийской политической тюрьме.

Не так скоро и легко удалось мне ознакомиться со всеми моими новыми товарищами, не так скоро я познал и царивший здесь дух и тот уклад жизни, какие установились за предшествующий период жизни в этом своеобразном общежитии.

И то, что я узнал в конце концов и что я сам пережил здесь, и является предметом моего последующего изложения.

1. Местонахождение и история Кары.

На границе Восточной Сибири и Дальнего Востока, между Забайкальской и Амурской областями, в реку Шилку впадает небольшая, но богатая речка Кара, при устье которой стоит село—Усть-Кара. В 50—60 верстах от Усть-Кары стоит село Горбица и далее Покровка, за которыми идут уже друг за другом семь почтовых не станций, а простых подстав лошадей для зимней езды, носящих характерные названия—„Семи смертных грехов“. Летнего тракта здесь не существует, и почтовая езда производится летом на пароходах и лодках, а зимой—по льду р. Шилки и Амура на протяжении многих тысяч верст, от станции Сретенской. Так стояло дело, пока не была проведена Амурская железная дорога, вероятно, значительно изменившая это положение.

Река Кара золотоносна, и на ней издавна были расположены прииски Кабинета его величества, скоро ставшие местом разработки золота каторжным трудом для казны. С этой целью по течению Кары образовалось несколько поселков с должным количеством тюрем, а именно: указанная выше Усть-Кара, в 15 верстах от нее—„Нижний“ промысел, в 4 верстах от Нижнего“—„Средний“, далее выше „Среднего“—„Верхний“ промысел и еще дальше „Амур“—уже в верховьях Кары. Для нас интересны три первые, так как на них сосредоточивались тюрьмы и обиталища свободных от тюрьмы арестантов, и тут же неподалеку разрабатывались так называемые „разрезы“ для добычи особо чистопробного червонного карийского золота. Между Усть-Карой и „Нижним“, в 4 верстах от последнего, находился еще небольшой поселок—„Отряд“, где имелась небольшая тюрьма и где помещалась часть тюремного конвоя с больничкой.

Еще в 20-х годах прошлого столетия по речке Каре и ее притокам инженером Павлуцким были открыты золотые россыпи. Весь этот золотоносный округ тотчас же был отчислен к Кабинету его величества, и управлять им с тех пор стали посылать из Петербурга исключительно лиц военного звания.

В 50-х годах здесь хозяйничал знаменитый заведующий приисками и каторгой Разгильдеев, оставивший по себе недобрую память человека-зверя, моривший людей голодом и работой, грабивший этих безответных, закованных в цепи рабов, чтобы обеспечить свой разгул и разврат, не чувствующий над собой другой власти, кроме своей злобы, похоти и человеконенавистничества. Он прокладывал первую дорогу от Усть-

Кары на „Нижний“ по каменистым горам и кряжам, сопровождающим течение реки Кары, до того трудную, что голодная каторга гибла здесь сотнями и тысячами от истощения и голодного тифа, или избиваемая на смерть плетьми и палками жестоких надсмотрщиков Разгильдеева. И сейчас еще на „Нижнем“ могут указать знаменитый рассадник заразы, именуемый „Разгильдеевским кладбищем“,—эти костяки, едва прикрытые землей...

Это гиблое по своей истории место отличается, однакоже, как и все Забайкалье вообще, своей красотой и, правда, суровой, но восхитительной природой. Зеленые, цветущие горы-сопки, или идущие длинным кряжем, или перерезанные узкими и широкими долинами — падями и подушками — по местной терминологии, создают такую причудливую конфигурацию почвы, что с каждым шагом для глаза открываются все новые и новые картины, одна лучше другой. Красота, оригинальность и разнообразие природы соединяются здесь с дикостью и полным отсутствием искусственности, что и производит чарующее впечатление для глаза.

Фиолетовые сопки от цветущих диких рододендронов,—богульник по местному,—сменяются зелеными долинами, изобилующими кустарниками голубицы и маховки—местные ягоды—и бесчисленным количеством красивейших, часто неизвестных в России, разнообразных цветов, от душистых ландышей и желтых лилий до высоких, стройных, разноцветных лилий и царских кудрей—саранки по-сибирски. Прибавьте ко всему этому вечно голубое небо, следовательно—массу солнечного света, и становится понятно, что короткое, очень короткое забайкальское лето искупает тоску и тяжесть суровой, продолжительной зимы, когда ноябрьские холода, часто доходящие до 45—48°, сменяются февральской настоящей и очень чувствительной оттепелью в 30° ниже нуля.

Таково было место, избранное для политических, осужденных по процессам на разные сроки каторжных работ в рудниках и заводах.

История политической каторги на Каре начинается с 1873 г., когда привезены были сюда пионеры ее, и оканчивается 89 и 90 гг., когда значительная доля их, человек 30, была выпущена в „вольную команду“ [1], а 13 человек долгосрочных, еще не имевших права на вольную команду, увезены в новую

[1] Заключенные, отбывшие значительную часть своего срока каторжных работ, так наз. сроки „испытуемых“, а затем „исправления“, получали право выхода из тюрьмы и жили на вольных квартирах, часто со своими семь-

тюрьму — в Акатуй. Таким образом, история Карийской каторги охватывается пятнадцатью с лишним годами. Пока не была отстроена специальная тюрьма для политических на „Нижнем" промысле, пионеры политической каторги или содержались в уголовной тюрьме на „Среднем", или жили на вольных квартирах.

Тюрьма эта для политических была отстроена в 1881 г., и в нее тотчас же были вселены все имевшиеся уже на Каре каторжане. Она представляла собой большое деревянное здание, разделенное на пять больших камер широким коридором, и была расположена на большом дворе, ограниченном или обнесенном высокими палями, совершенно изолирующими ее от окружающего мира. В одном углу этого двора за отдельным забором помещался еще небольшой дом, состоящий из коридора и десятка одиночек. Они всегда пустовали, но должны были представлять собой угрозу для строптивых арестантов тюрьмы при случае. Наконец, недалеко от одиночек, против главного тюремного здания, находилась кухня и рядом с ней баня. Каждая камера представляла собой большую, высокую комнату на 3 окна, с нарами по стенам, длинным деревянным столом со скамейками, большой лампой над ним и большой печью, вдвигающейся в камеру из коридора и оставляющей небольшое пространство между соседней стеной и печью, предназначенным для „параши". Только одна камера (больница) отличалась от остальных, так как в ней не было нар, замененных отдельными койками, и так как она имела определенную цель—помещение больных, если таковые оказывались: там же всегда жили товарищи врача, имевшие под рукой шкапик с лекарствами и необходимыми инструментами. Если больных в тюрьме не было, „больница" по составу своих обитателей ничем не отличалась от других камер. Каждая камера носила свое определенное название: Харчевка, Дворянка, Якутка и Академия или Синедрион,—происхождение которых имело частью свою историческую подкладку, в большинстве случаев исчезнувшую из памяти обитателей тюрьмы, стершуюся во мраке времен...

ями; они при этом подчинялись всем правилам, установленным для каторжан, но уже одно пребывание вне тюрьмы представляло собой большую и завидную льготу для них. Первые политические каторжане также жили в вольной команде (кроме долгосрочных Бобохова и Бибергаля), но эта льгота для них Лорис-Меликовым была уничтожена, и только в 1885 г. право выхода в вольную команду им снова было возвращено, но лишь в пределах всего 5%.

Первыми прибывшими на Кару каторжанами в 1873 году были нечаевцы Кузнецов и Николаев; за ними последовали в 1875 году—каракозовец Ишутин, находившийся до тех пор в Алгачах, и нечаевец Успенский, а в 77 году пять человек, осужденных сенатом по делу Семяновского и др., и в 78 году ряд осужденных по делу „Казанской демонстрации“ и по „большому“ процессу 193-х лиц. В конце того же 78 года прибыла на Кару и первая женщина—Е. К. Брешковская, к которой только в 80 году присоединились пять женщин (Армфельд, Кутитонская, Ковальская, Лешерн и Сарандович); все они были помещены в особой тюрьме на „Отряде“ близ „Нижнего“ промысла. В 79 году привезли из Архангельска Сергея Бобохова и присоединили его к Бибергалю в тюрьме на „Среднем“ промысле; в это время только они двое и содержались в тюрьме как долгосрочные, тогда как остальные жили или при гауптвахте, или на вольных квартирах.

В 81 году, как указано выше, была отстроена новая тюрьма на „Нижнем“, и с этого момента Кара стала центральным местом для каторжан, куда были привезены в начале 82 года все отсиживавшие свои сроки в центральных тюрьмах России —так называемая большая партия централистов—и все судившиеся по другим многочисленным процессам России.

2. Побеги.—Разгром 11 мая.—Конституция.—Уклад жизни.

Этот 82-й год был также и поворотным пунктом во взглядах правительства на Кару, совершенно не удовлетворившую его вожделений на возможность сломить волю осужденных.

В апреле и мае 82 г. произошли побеги из тюрьмы попарно 8 человек, причем Мышкин и Хрущев успели добраться до Владивостока, где и были арестованы. Именно в это время на Кару приезжал глава тюремного управления Галкин-Врасский и не пришел, повидимому, в восторге от установившегося там режима. „Это не тюрьма, а Запорожская Сечь“,—говорил он, посещая тюрьму, где уже в это время было 2 свободных койки с чучелами вместо людей. Немедленно после отъезда Галкина-Врасского со всем сопровождавшим его генералитетом бежали еще две пары, а через неделю после них еще два неудачника, арестованные тут же, около тюрьмы. Произошел переполох, обнаружены все побеги; вскоре все бежавшие арестованы, и начались жестокие репрессии. Тюрьма, где предполагалось сопротивление, была настоящим образом осаждена.

Ее обложили войском и ждали подходящего момента взять ее приступом. Осажденные не хотели сдаваться живыми и решили устроить из тюрьмы грандиозное аутодафе. На чердаках были выставлены часовые, следившие за движением осаждавших, а в самой тюрьме все роли были тщательно распределены между ее обитателями и приготовлены запасы керосина, сухих дров и пр. Но утомление и нервное напряжение до крайнего предела взяли свое: часовые забылись или уснули как раз в момент приступа; и спокойно спящая тюрьма была захвачена врасплох, ее обитатели избиты, арестованы и рассеяны по разным уголовным тюрьмам Кары. Расправа была жестока до последней возможности, и этот разгром стал известен под именем разгрома 11 мая 82 года.

Порядок был восстановлен; 14 человек наиболее опасных с точки зрения администрации были увезены в Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости, где они один за другим и погибли, остальные мало-по-малу были свезены в свою тюрьму и подвергнуты строгому режиму, что вызвало 14-дневную голодовку, закончившуюся некоторым смягчением режима.

Именно событие 11 мая в истории Карийской каторги послужило причиной и моментом, с которого администрация задумалась о преобразовании всей каторги для политических; с одной стороны, было установлено содержание на каторжном положении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, а с другой—открыто такое новое место для поселения каторжан, как Сахалин. Кара, таким образом, оставалась наиболее льготным пунктом из всех предназначенных для содержания политических каторжан, и это, конечно, не ускользнуло от внимания попечительной администрации. Именно с этого момента были задуманы новые репрессии, что и закончилось в конечном счете слиянием политической каторги с уголовной и переводом долгосрочных карийцев в Акатуй в 1890 году.

Трагедия карийских женской и мужской тюрем в 89 г. только подтолкнула администрацию к осуществлению ее плана этого слияния, чем и закончилась история Карийской политической тюрьмы.

С 82 г. контингент каторжан на Каре пополнился осужденными по процессам террористов 80—83 гг., Стрельниковскому процессу в Одессе, процессам В. Фигнер, Г. Лопатина, пролетариатцев 1 марта 87 г., и в то же время состав их убывал благодаря уходу на поселение уже окончивших свои сроки, а под конец и уходом в „колонию" 13 человек, не выдержавших тягот каторги.

Состав обитателей Карийской каторги был очень разнообразен. Здесь были квалифицированные и простые рабочие, чуть не чернорабочие, были и люди высоко интеллигентные и с определенным общественным положением; были молодые, едва начавшие самостоятельную морально-умственную жизнь, и люди с законченным развитием и вполне созревшим миропониманием; были люди, едва начавшие свою революционную карьеру, и, наоборот, в свое время занимавшие ответственные и значительные посты в движении, видные деятели последнего. И несмотря на это разнообразие, на разницу характеров и темпераментов, вообще все жили одной общей жизнью без потрясений, без проявления деспотизма одних и порабощения других, без проявления насилия отдельных групп или большинства. Все это было обязано удивительно счастливо и, можно сказать, идеально сложившейся общине или артели на основе сообща выработанных правил, на основах того неписанного, не формулированного в каком-нибудь кодексе правового порядка, той конституции, которая явилась плодом коллективного творчества и держалась твердо в уме и памяти каждого и бессознательно, одним живым примером воспринималась вновь прибывающими. Этот правовой порядок, создавшийся за 15 с лишним лет существования Кары, обеспечивал и внешние условия жизни карийцев, и внутреннее содержание ее. В первом случае он ограждал достоинство каждого в отдельности и всех вместе перед лицом всесильного начальства и обеспечивал невмешательство в духовную жизнь каждого заключенного, давал ему спокойное существование, возможное для людей, содержащихся под замком; во втором он же упорядочивал внутреннюю жизнь и в подневольном общежитии гарантировал личность от гнета и тирании большинства и от эгоизма отдельных лиц.

На ряду со сказанным, этот установившийся правовой порядок в начальном периоде истории Кары создал и оберегал дух вольности, широких и боевых стремлений, не только под замком, в тюрьме, но и на широком просторе вольной жизни, которая мыслилась не за горами: дух общей, широкой борьбы и здесь и там... Впоследствии, после потери вольностей, после разгрома 11 мая 82 г., он же стремился к облегчению наступившего тяжелого существования, к сведению на-нет или по крайней мере к смягчению тягости репрессий, чего в значительной мере и достиг, почти низведя режим до степени режима, бывшего до 11 мая.

Внешне-материальная жизнь карийцев также легко и безболезненно укладывалась в рамки установившихся принципов

артели: все материальные средства, откуда бы они ни поступали, пополняли общую кассу и шли на улучшение пищи, т. е. общего, для всех одинакового (кроме больных) котла. Индивидуальные же потребности, не одинаково оцениваемые всеми, как-то: табак, чай, сахар, мыло и проч., были выделены из общего потребления, и на них определялась возможная, смотря по общему бюджету, сумма на каждого члена артели в отдельности, которую он и расходовал по собственному усмотрению. Эта сумма была не велика, от 50 к. в худшие времена и до 1 р. 50 к. в лучшие на человека в месяц, и все же, хотя в минимальной степени, она удовлетворяла необходимую потребность в табаке, чае и пр., почему и называлась их „эквивалентом“: кариец мог курить дешевую „манчжурку“, выстирать белье мылом, приготовленным собственным карийским мыловаром, а некурящий мог получить лишний кусок сахара на „су“—стоимостью в одну копейку.

3. Хозяйственные работы.—Кухня.—Баня.—Женская тюрьма.—Начальство.—Цепи.—Бритье головы.

Общим хозяйством ведал избранный артелью „староста“, а обязанности поваров и „банщиков“ исполняли поочереди все члены артели—3 повара понедельно и 2 дежурных поденно. На улучшение котла еженедельно тратилось от 5 до 10 руб., что вместе с казенным хлебом, золотниками мяса на каждого и соответственным приварком (крупа, соль и пр.) делало пищу карийца не очень сытной, но достаточной для того, чтобы не очень мучиться от голода. Угнетало больше всего однообразие стола, где преобладала сухая каша из грубого ячменя, „дрот“ по-карийски, и черный хлеб. Многое зависело от инициативы поваров, но не все из них бывали на высоте своего положения. Памятны случаи, когда нетронутый бачок с пищей выставлялся за двери камеры в виде протеста против негодности обеда, или насмешливая квалификация „морской водичкой“ супа А. Калюжного—мичмана, и пр. Но зато лучшие и наиболее инициативные повара радовали полуголодную публику своими кулинарными измышлениями. Каждый повар за всю неделю своего дежурства старался принакопить продуктов к последнему дню, и тогда появлялись традиционные пироги, чаще из белой пшеничной муки с начинкой из каши с рубленым мясом. Такие пироги, величиной в 1 или $1^1/_2$ четверти и называемые „бroutnями“, составляли великолепный ужин, ради

которого охотно претерпевалось некоторое недоедание предшествующих дней недели. Лучшие повара умели как-то радовать публику и помимо пирогов-„бродней“. Иногда перед обедом по камерам разносился слух, что сегодня „каждый имеет“. Это значило, что повара умудрились из вареного мяса за несколько дней сохранить такое количество, что сегодня каждому карийцу в супе достанется по куску мяса. Бывало так, что повар умудрится дать каждому или небольшую котлету, или необыкновенно вкусный „мячик“, небольшой шар из свежего рубленого мяса, сваренный в супе. Но эти счастливые моменты были редки.

Истинное наслаждение для карийцев доставляла баня, обычно два раза в месяц. Дежурные банщики работали на совесть; баня всегда была жаркая, а горячей воды в „байкале“ хоть отбавляй. Байкалом назывался огромный, выше роста человека, деревянный бак, из которого выходило в топку печи глухое колено железной трубы, где вода и нагревалась до кипения в баке, вздымаясь на его поверхности бурлящими волнами. Отсюда и название—байкал, приуроченное к этому баку. Любители бани и пара нередко ходили в баню не раз и не два, часто и на другой день после банного их можно было найти там, пользующимися легким и особо приятным после прекращения топки паром. Зимой нередко показывались выбегающие из бани голые тела, на минуту бросавшиеся в снег и вновь возвращающиеся в жаркую баню; эти quasi-шотландские души признавались очень здоровыми и полезными.

Женской тюрьмы для политических специально не существовало. Чаще всего наши женщины содержались в старой женской тюрьме на Усть-Каре, нечто в роде одиночек с общим коридором, кое-как приспособленных для помещения политических, с намерением хорошо изолировать их от всего окружающего. Но иногда женщины переводились в небольшую тюрьму на „Отряде“, в четырех верстах от „Нижнего“ промысла и, следовательно, от мужской тюрьмы. Иногда и на Усть-Каре они разобщались по разным помещениям в зависимости от чрезмерного утомления, как следствии подневольного общежития.

Режим женской тюрьмы был отголоском режима мужской, а благодаря всегдашним тайным сношениям путем переписки обеих тюрем, каждая из них была всегда в курсе того, что происходило в другой. Женщины не были членами артели мужской тюрьмы, а составили свою собственную артель, главным образом на том основании, что имели гораздо боль-

ший процент больных, слабых и истощенных лиц, требующих усиленного питания; а это легло бы значительным бременем на бюджет мужской тюрьмы, чего они хотели избежать. Но так как они получали значительно больше денежных средств, чем мужчины, то весь избыток их, иногда очень значительный, в виду умеренных трат на свое содержание, они передавали в кассу мужской тюрьмы. Библиотекой женская тюрьма пользовалась на одинаковых правах с мужской, и все книги, получаемые женщинами, обычно поступали в общее пользование и пополняли общую библиотеку.

В общем укладе жизни мужской тюрьмы имели большое значение отношения с начальством. По установившемуся правилу все сношения с комендантом велись через старост, и только наши врачи составляли в этом отношении некоторое исключение, когда приглашались для подачи кому-либо врачебной помощи. Ни с комендантом, ни со смотрителем, ни тем более с дежурными в тюрьме жандармами никогда не велось никаких разговоров, кроме чисто деловых, хозяйственных; и тень всякого амикошонства с ними была совершенно исключена. Так сохранялось чувство собственного достоинства, и это отлично понималось начальством, не рисковавшим переступать определенных границ в сношениях с заключенными. Даже о налагаемых на кого-либо по существующим тюремным правилам обычных и неприятных репрессивных мерах, как бритье головы, кандалы и проч., жандармы сообщали, как бы конфузясь и не одобряя этих мер,—в сущности, вероятно, боясь отпора со стороны заключенных. Между тем на все законные требования, чего бы они ни касались, заключенные отвечали молчаливым подчинением, понимая всю бесплодность и вред неосновательных протестов. В частности, кандалы, надеваемые на не окончивших еще срок испытуемых, не причиняли большого неудобства, так как надевались только в исключительных случаях при посещении тюрьмы каким-либо высшим чином, а в остальное время лежали спокойно под подушкой. Совсем иначе относились карийцы к бритью полголовы. Эта в высшей степени неприятная операция производилась ежемесячно тупой бритвой неумелого цырюльника из конвойных солдат. Многие поэтому предпочитали побриться своими средствами, хотя вместо бритвы в этом случае приходилось пользоваться хорошо отточенным перочинным ножом. Это бритье головы, начиная с 11 мая, продолжалось до самых последних месяцев существования карийской тюрьмы и всегда являлось показателем установившегося тюремного режима. Когда в тюрьме все обстояло благо-

получно, цырюльник получал распоряжение побрить правую половину головы на небольшом расстоянии, не больше 1—$1^1/_2$ вершков выше уха. По мере же нарастающих для тюрьмы по какому-либо поводу репрессий нарастало и пространство бритой части головы, захватывающее часто всю ее половину от уха до верхушки темени. Бывало и так, что выраженный кем-либо протест против бритья, особенно со стороны лиц, так или иначе нужных начальству, низводил бритье всей половины головы до небольшого подбривания волос только за ухом. Так однажды, вскоре после такой операции, комендант попросил прийти к нему на квартиру д-ра Веймара. Веймар отказался, говоря, что придет, когда подрастут немного снятые волосы. Результатом такого заявления явилось то, что был отдан немедленно приказ брить голову как можно меньше около уха. Наручни, т.-е. цепи, связывающие руки, надевались только на „вечников",—осужденных на вечные каторжные работы, и то лишь на короткий срок в первом периоде „испытания"; приковывание к тачке, как очень тяжелое наказание, назначалось на три года по суду за попытки к побегам. Этому наказанию были подвергнуты Попко, Березнюк, Фомичев и Щедрин. Но Попко скоро заболел очень серьезно и от оков был освобожден, а Щедрин после 11 мая был увезен в Петербург; долго ли были прикованы к тачке Фомичев и Березнюк, мне осталось неизвестно, во всяком случае в 1885 г. они были уже освобождены от этого украшения. В наручнях при мне был только Зунделевич и то очень недолгое время.

Обыски на Каре повторялись раза по два в месяц, но начиная с 1884 г., они носили шаблонный характер, были очень поверхностны, исполнялись как лишняя, никому ненужная повинность и мало беспокоили заключенных.

4. Внутренняя жизнь на Каре.—Общежитие и его следствие. — Сириусы и вечерники. — Физические работы. — Огороды.

Переходя к описанию внутренней жизни политической каторги на Каре, необходимо прежде всего остановиться на характеристике ее моральной стороны. Всем нам известна тяжесть продолжительного одиночного заключения, когда живой человек оказывается как бы замурованным в глубокую могилу, лишенным общения с себе подобными, предоставленным влиянию своих, часто навязчивых, мыслей, отданным на произвол своего полунормального психического состояния. Тяжелое, неизмеримо

тяжелое положение! Но и оно перестает быть одиночным в строгом смысле этого слова, как только заключенному предоставляется право общения хотя бы с своими же товарищами-заключенными, хотя на короткое время; все же есть тогда исход накопившемуся болезненному состоянию психики.

Но не легко и годами продолжающееся подневольное сожительство людей, не подходящих друг к другу ни по характеру, ни по темпераменту, ни по развитию, даже ни по стремлениям и пониманию не только сложных, но и простых жизненных положений, ни по привычкам, наконец. Справедливо говорят, что достаточно поместить в одной комнате двух закадычных друзей, чтобы они сделались непримиримыми врагами. Что же должны испытывать люди, в большинстве чуждые друг другу и вынужденные годами пребывать вместе под замком? Не говоря уже о постоянном, неумолчном шуме и гаме, часто пустых, мало кому интересных громких разговорах, не говоря о горячих спорах, интересующих лишь часть беседующих (нельзя же наложить печать молчания на 20 и больше человек, и надо же им убивать избыток своего времени),—не говоря уже обо всем этом, одни и те же примелькавшиеся лица сожителей могут привести в бешенство и без того расстроенных людей... Не развивая далее этой темы, нельзя не упомянуть, что большинство карийцев всеми силами подчас жаждало одиночки, как необходимого отдохновения от принудительного общежития. Не даром в период относительных свобод, когда можно было на значительную часть дня уйти из-под замка камеры, в летние дни можно было видеть целые ряды палаток, сооруженных около паль из простынь, халатов и пр. Это была искусственная изоляция от посторонних глаз людей, наиболее настрадавшихся от вечного созерцания себе подобных...

Но однобразная, томительная жизнь тюрьмы скрашивалась двумя существенными элементами: занятиями и работой—с одной стороны, и развлечениями—с другой. Смело можно сказать, что при всем разнообразии состава тюрьмы ни один из обитателей ее не был лишен жажды начального, а также и дальнейшего образования. Научные и научно-учебные занятия являлись неизбежным спутником тюремной жизни. При избытке лиц, желающих и могущих взять на себя обязанности преподавателей, нашлось немало жаждущих науки, что и повлекло за собою образование целых школ с правильными и систематическими занятиями. Отсюда и популярное название „Академии" одной из камер, где сосредоточивались эти школы. Лица же, не нуждавшиеся в среднем и даже в высшем образовании, для

более серьезного и глубокого пополнения своего образования находили возможность в солидной библиотеке, имеющейся в распоряжении карийцев. Таким образом, Карийская политическая тюрьма являлась для одних школой и университетом, своего рода alma mater их, а для других местом свободного, без помех учета результатов их практической работы, последним этапом сведения счетов своей жизни и деятельности. Впоследствии, когда прошло время организованных школ, очень и очень многие увлекались изучением языков, и кое-кто, закончив изучение европейских, был не прочь приняться и за языки азиатские, что однакоже не осуществилось за отсутствием учебников. Попытки приступить к переводам книг с иностранных языков также не увенчались большим успехом. Три-четыре переведенные карийцами книги—„Детская гигиена" Уффельмона, „L'homme et l'intelligence" Ch. Richet и пр., к чему, кроме общего интереса, побуждал и интерес материальный, были, правда, изданы, но барышей для тюрьмы ожидаемых не дали. Причина этому лежала в трудности сношений с волей.

Нельзя сказать, чтоб общежитие 15—20 человек (и более) в одной камере не отражалось пагубным образом на занятиях заключенных. Обыкновенно все утро, время обеда и ужина, а также и внеурочного чая наполнялось таким шумом, разговорами и спорами, что сосредоточиться на умственной работе было невозможно. Самым удобным временем для таких работ, естественно, были вечера и раннее утро. Тут коррективом неудобств от общежития являлся мало-по-малу установившийся порядок. Желающие заниматься в камере делились на две половины: одна занималась с вечера до средины ночи и называлась „вечерниками", другая—со средины ночи до утра и носила название „сириусов"; название это произошло вследствие того, что за неимением часов в тюрьме средина ночи, почти 3 часа утра, узнавалась по появлению планеты Сириус, близ созвездия Ориона, в окнах тюрьмы. Вечерники обычно в конце своих занятий ставили самовар, будили сириусов и сами ложились спать. Порядок требовал, чтобы вся остальная публика камеры, уважая законное желание вечерников и сириусов, вела себя в это время скромно и воздерживалась от излишних разговоров. В большинстве случаев и они садились за стол с какой-нибудь книгой, когда и для них находилось место у лампы. Чаще они заканчивали свой день, ложась спать, и безмятежно погружались в объятия Морфея.

Работы физические процветали на Каре в усиленной степени. В период до 11 мая бывали и казенные работы в разрезах

по съемке надпочвенных торфов; но на эти работы приходилось смотреть как на приятное развлечение, как на пикник на свежем воздухе. Но администрация скоро нашла это удовольствие чрезмерно дорогим, требующим слишком усиленного конвоя, и раз навсегда от этого отказалась. Зато работы в мастерских в вольный период карийской истории продолжались вплоть до 11 мая. Мастерские были расположены за тюрьмой, там процветали слесарные и особенно столярные работы, там была сделана вся тюремная мебель, туда же уносилась для починки эта мебель, между прочим и те койки, в ящиках которых были вынесены в апреле и мае 82 г. 4 пары беглецов, что однакоже навсегда осталось тайной для начальства. Но после погрома 11 мая все мастерские были закрыты и все инструменты из тюрьмы были изъяты. Эта мера однако же не остановила работ; они продолжались тайно, инструментами, изготовленными ad hoc при самых примитивных условиях. Как на пример такого рода работ можно указать на подарок, сделанный от тюрьмы брату О. Э. Веймара, приезжавшему на свидание с ним. Подарок этот состоял из часовой цепочки— точной копии ножных и ручных кандалов, искусно изготовленных и тщательно отделанных. Изумление начальства при передаче этого подарка было так велико, что оно согласилось на передачу его Веймару на том условии, чтобы были указаны инструменты, какими он был сделан. Этот инструмент, единственный, был предъявлен и оказался простым железным гвоздем, частью насеченным, как напильник. Впоследствии, при новом завоевании свобод, около 87—88 гг. было уже много узаконенных инструментов в тюрьме, благодаря чему были сделаны большие стенные часы с очень верным ходом, токарный металлический станок, переплетчики устроили необходимые для этого производства станки, музыканты несколько глухих скрипок для своих упражнений и пр. А во исполнение и для практической пробы проекта неудачного воздухоплавательного аппарата Льва Златопольского наши слесаря-медники устроили точную модель аппарата с котлом, трубами и пр. [1]

К физическим работам нужно отнести, кроме только-что указанного, наблюдение за чистотой камеры. Было установлено систематическое мытье полов; приблизительно раз в один или два месяца каждая камера выносила на двор свое имущество, и ее обитатели принимались за чистку полов. Одни приносили воду и поливали ею полы, в то время как другие метлами и

---

[1] Об этом подробнее см. гл. V „От С.-Петербурга до Кары“.

швабрами протирали полы этой водой и смахивали грязную в один угол. Другая партия работников собирала и выносила грязную воду, а когда вся эта процедура кончалась и пол был достаточно чист, новая смена принималась вытирать полы тряпками досуха, после чего оставалось выждать, когда они подсохнут, и затем водрузить все камерное и частное имущество на места. Вся эта процедура никому не могла нравиться, но потребность в чистоте и элементарных гигиенических условиях была настолько всеми сознаваема, что протестов против этих мер обычно не бывало. К этому же разряду работ относится и стирка белья, чем, конечно, занимался каждый не желавший носить грязное белье. Бывали курьезы, как, напр., с Богдановичем, мывшим свое белье „химическим способом", т. е. настаивая его в растворе мыла в течение нескольких суток, а затем, не касаясь его руками, посредством двух палочек он полоскал его и развешивал на дворе; но в общем тюрьма добилась того, что за все время ее существования в ней не было заметно грязи, паразитов и т. д.

Два-три года подряд, в период относительных свобод, наши огородники принимались с весны разводить цветники, парники и огороды, пользуясь всеми пригодными для этого закоулками тюремного двора. В результате в разгаре лета двор тюрьмы представлял собой цветущий садик, распространявший аромат на всю тюрьму и радовавший взоры узников.

5. Развлечения карийцев.—Почта.—Репрессии.—Комендант Николин.—Джордж Кеннан.

Таковы были занятия и работы карийцев, поглощавшие значительную часть их времени, но на ряду с ними клапаном для накопившегося избытка энергии ума и души были развлечения. Сюда в первую голову нужно отнести шахматную игру, хотя далеко не все карийцы играли в шахматы. Она до того завлекала игроков, что они целыми сутками не отрывались от созерцания фигур, нередко путая обед с чаем и чай с ужином. По началу, правда, этому мешали надзиратели и жандармы, отбиравшие эту запрещенную игру, но каждый раз с быстротой молнии погибшая игра восстановлялась, благо материал для этого—мякиш черного хлеба—был всегда под рукой, что и заставило начальство в конце концов махнуть рукой на эту невинную забаву. Целые матчи и отдельные игры любителей продолжались безостановочно вплоть до конца существования Кары, а при игре наиболее крупных и талантливых игроков

нередко собиралась толпа заинтересованных зрителей, молча часами любовавшихся интересными комбинациями и замыслами противников и следивших за их выполнением. Карты и картежная игра были развиты слабо и только в последние годы: любителей было немного, да и карты доставались с большим трудом. Зато горячие споры по всевозможным вопросам поднимались ежечасно, увлекали большинство публики и тянулись иногда целыми днями. Споры мелкие по вопросам обыденной жизни кончались обыкновенным пари, и очень часто бывала слышна традиционная формула: „на три плитки!“ Это означало, что проигравший покупает на свой „эквивалент“ три плитки прессованного чая для угощения всей камеры. Но споры более серьезного характера, требующие вмешательства компетентных лиц, возникая в одной камере, часто переносились в другую, а иногда охватывали и всю тюрьму.

Особое оживление в тюремную жизнь вносили почтовые дни. Можно себе представить, с каким интересом к этим дням относились все обитатели тюрьмы без исключения: одни ожидали и нередко получали письма с родины от близких и дорогих людей, и эти известия из такого дорогого „далека“, понятно, как волновали и возбуждали получающего, тем более, что известия эти не могли быть сколько-нибудь часты; всех других почтовые дни интересовали получением допустимых в тюрьму газет и журналов. Не велик был комплект дозволенных газет и журналов [1], зато с тем большим азартом накидывались на них читатели и поглощали все от первой до последней строчки полученного. Читалось все частью вслух, частью в отдельности, и все прочитанное сейчас же комментировалось, поступало на общее обсуждение. К этому просоединялись сведения общего характера из частных писем, тоже немедленно становившиеся общим достоянием. Оживление, разговоры, шум в этих случаях захватывали тюрьму обычно на несколько дней и постепенно

[1] В тюрьме получались следующие журналы: „Русское Богатство“, „Мир Божий“, „Русская Старина“, „Врач“ и „Неделя“ и на частные средства „Revue de l'hypnotisme“, при чем первые три высылались редакциями бесплатно. Из газет дозволялись, смотря по настроению начальства, то самые реакционные в роде „Нового Времени“, „Света“ или „Биржевых Ведомостей“, то вдруг начальству приходило в голову заменить эти российские издания только местными, как, напр., иркутское „Восточное Обозрение“. С прибытием на Кару партии „пролетариатцев“ наша периодическая литература заметно обогатилась: стали получаться варшавские „Голос“, „Пшеглонды“ и др., часто иллюстрированные журналы-еженедельники, что было особенно ценно для карийцев в виду того, что эти издания часто давали сведения, не проникавшие в допускавшиеся к нам русские газеты.

замирали, и в конце концов жизнь тюрьмы приходила к своему нормальному состоянию.

Переписка с родными была чрезвычайно затруднена. Редкие письма с родины приходили, но писать дозволялось только родственникам от имени коменданта в виде небольшой открытки с уведомлением о здоровье и с просьбой прислать что-либо необходимое. Это было величайшее и бессмысленное зло, безусловно волнующее, часто выводящее из себя человека, так жаждущего столь небольшого утешения и отдохновения в интимной беседе с близкими и дорогими людьми.

Тюрьме приходилось переживать и хорошие и дурные времена. Когда по той или другой причине центру приходило в голову наложить репрессии на политических каторжан, что иногда бывало следствием напора на правительство со стороны революционеров на воле, это желание передавалось приказами на места ссылки. Местные власти принимались энергично приводить в исполнение распоряжения центральной власти, что обычно выражалось сокращением допускавшихся до тех пор вольностей, строжайшим применением инструкции, иногда наложением кандалов на не окончивших сроки испытания, бритьем полголовы, а за особые провинности приковыванием к тачке. В силу установившегося порядка среди карийцев такого рода репрессии, если они не переходили границ определенной законности, встречались молчаливо и без протестов. Зато вскоре же начиналось возвращение к старому порядку путем завоевания утерянных свобод, постепенно, шаг за шагом отвоевывая их явочным порядком. Этому помогали, с одной стороны, настойчивость и терпеливость объектов этих репрессий, а с другой, и невыдержанность местных властей, их неумение стойко выдерживать свою роль. Ведь все репрессии такого рода могут грозить серьезными столкновениями с заключенными, и начальству трудно не перегнуть палку через край, что не может не отозваться дурно и на них самих; притом же высшее начальство так далеко и так невидимо. И постепенно режим ослабевает, былые свободы (в сущности лишь тень их) возвращаются, и жизнь тюрьмы вновь входит в свою обычную колею.

В сущности вся история политической каторги на Каре представляла собой смену репрессий послаблениями, за которыми следовали новые репрессии и опять новые послабления; нечто похожее на акции и реакции, постоянно сменяющие друг друга. Уже с момента прибытия на Кару первых больших партий и особенно с конца постройки новой тюрьмы, что совпало с назначением во главе правительства гр. Лорис-Меликова

с его пресловутой „диктатурой сердца“, новый глава правительства начал измышлять новые и новые нападки на каторжан. По его распоряжению была уничтожена вольная команда, что стоило жизни тов. Семяновскому, который предпочел вовсе уйти из жизни, чем сесть снова в тюрьму, запрещена переписка с родными, началось сплошное ограничение вольностей заключенных, с чем не мог примириться даже заведующий политической тюрьмой полковник Кононович, ушедший в отставку. Заключенные чувствовали, что, несмотря на успешность отстаивания своих прерогатив до сих пор, в конце концов придется подчиниться начавшимся репрессиям и, вероятно, в гораздо большем размере. Это сознание создало в них ту тягу на волю, которая и была неудачно осуществлена в побегах 82 г., что повлекло за собою события 11 мая. После этого гражданское управление тюрьмой было передано в руки жандармов—коменданта тюрьмы и его штата нижних чинов. При этом новом управлении начался ряд новых мелких репрессий, сменявшихся послаблениями, пока дело не закончилось карийской трагедией 89 года, сопровождавшейся рядом самоотравлений уже при последнем коменданте Масюкове [1].

Характер коменданта тюрьмы в этом отношенни, конечно, всегда играет существенную роль. Особенно типичен с этой точки зрения был комендант Николин, прозванный „Котом“. Этот пронырливый, хитрый и бесцеремонный шпион и кляузник не мог быть спокоен, если не был занят каким-либо подлым делом в роде придирок к жандармам за попустительства заключенным, в роде желания учинить какую-нибудь неприятность отдельным лицам из этих последних и т. д. Подкармливание голубей в тюрьме он считал голубиной почтой и строго приказывал жандармам, чтобы голуби во двор тюрьмы не прилетали; курица, носящаяся по двору с бумажкой, привязанной к ее хвосту, чтоб она не садилась на яйца, когда это не нужно, по его мнению, несла записки в женскую тюрьму, и т. д. За отсутствием пищи для „Кота“ со стороны тюрьмы, он изобретал доносы на посторонних тюрьме лиц, на начальство уголовной каторги и пр. Такому коменданту были на руку приказы о репрессиях, исходящих свыше, и тюрьму спасала только необыкновенная трусость Николина. Это его качество было скоро открыто тюрьмою, и достаточно было слегка прикрикнуть на „Кота“, как он сбавлял тон. К счастью, его пребы-

[1] Об этом см. ниже, в главе VII „Карийская трагедия“.

вание на Каре было непродолжительно, и серьезно повредить кому-либо он так и не удосужился.

В последовательном порядке политической каторгой заведывали: до конца 81 г. полк. Кононович, ушедший в отставку, будучи не в силах примириться с репрессиями Лорис-Меликова, и замененный временно полковником Потуловым, бывшим полицмейстером в г. Чите, где он, по пьяному делу, чуть было не повесил несколько ссыльных поляков на городской площади среди бела дня. За Потуловым последовала передача тюрьмы в ведение жандармов, и первым комендантом был ротмистр Халтурин, человек жестокий и недалекий, за ним — ротмистр Бурлей, далее Шубин — безхарактерный самодур, Манаев — пьяница и вор, не постеснявшийся похитить получаемые карийцами деньги, за что пошел на поселение в Якутскую область; за Манаевым — снова Бурлей, безличный и безвредный субъект; наконец, Николин, Яковлев и Масюков, закончившие жандармское правление Карийской политической каторги.

Именно при коменданте Николине посетил Кару известный американский исследователь русской политической ссылки Джордж Кеннан. Он объехал всю Сибирь, виделся со многими политическими ссыльными как поселенцами, так и административными, тщательно собирал данные об условиях их жизни, изучал причины и следствия преследования русских социалистов, близко с ними сходился, брал от них всевозможные поручения, письма и проч. с намерением исполнить все их желания. Наконец, он добрался и до Кары, где надеялся, что его полномочия откроют ему двери политической тюрьмы. Но здесь он натолкнулся на коменданта Николина, скоро понял всю тщету своих надежд на ознакомление с тюрьмой и был вынужден даже опасаться за свою судьбу. Ему удалось только повидаться кое с кем из вольнокомандцев, пользуясь квартирой жившей в то время на Каре матери заключенной Натальи Армфельд, которую, как совершенно свободное и полноправное лицо, хотя она и жила вместе с дочерью, только-что вышедшей в вольную команду, он мог посетить несколько раз, соблюдая при этом крайнюю осторожность. Однако в тайные намерения Кеннана проник в известной мере комендант, установил за ним негласный надзор и даже мечтал о высылке его с Кары. Таким образом, не выполнив всех своих намерений, Кеннан должен был покинуть Кару, но он успел собрать много ценных материалов о политической ссылке, что и обнародовал в своих многочисленных работах в Америке и особенно в

своей книге „Сибирь и ссылка“, переведенной на русский язык и неоднократно изданной в России.

Как бы то ни было, эти вечные уколы и угрозы, это постоянное ожидание каких-либо новых нападений на устанавившийся режим, эта необходимость быть постоянно на-чеку нервировали публику, возбуждали ее, держали в постоянном нервном напряжении, что на ряду с подневольным общежитием часто с резко противоположными характерами и типами создало такое тяжелое, безвыходное существование, что надо было много выдержки, много терпения и сдержанности, чтобы хотя по внешности жизнь текла сколько-нибудь сносно, приближаясь к нормальной.

6. Библиотека.—Личные переживания.—Медицина.—Врачи.—„Петрушка“.

Этому терпению помогала в значительной степени карийская довольно богатая библиотека. В основу ее были положены книги, привезенные с собой большими партиями 80—82 годов, а затем библиотека пополнялась постоянными присылками новейших книг родными наиболее состоятельных членов артели. В результате составилась многотомная, могущая удовлетворить разнобразным научным потребностям библиотека, в которой преобладали отделы по философии, истории, социологии и политической экономии. Не отсутствовал и отдел художественной литературы, были почти все классики, много журналов, и все новое, выходившее на книжный рынок в России, попадало с небольшим запазданием на Кару.

Даже не допускаемая начальством литература часто проникала в тюрьму, или под видом вполне легальной (по нарочито наклеенной обложке), или пропускалась комендантом по неведению. Говоря вообще, образованность комендантов не доходила до такой степени, чтобы они могли разобраться в неведомой для них литературе и отличить дозволенную от недозволенной, особенно в литературе иностранной. Обычно бывало достаточно, чтоб на обложке не стояло слов, игравших роль жупела, в роде „революция“, „социализм“ и т. п., и книга беспрепятственно попадала в руки адресата, а от него и в библиотеку.

Все это давало возможность работать серьезно, вполне научно, и благодаря этому многие из карийцев стали людьми высокообразованными в широком смысле этого слова.

Можно сказать смело, не будь этого средства занять деятельный, не успокаивавшийся ум карийцев, их жизнь была бы беспросветно темна, и никакой правовой порядок, никакая конституция не помогла бы общей расхлябанности, а отсюда и гибели способных людей.

Переходя к личным переживаниям за продолжительный период пребывания в политической каторжной тюрьме, я мог бы сказать, что мне выпало на долю более льготное, более счастливое существование, чем кому-либо другому. Меня спасали мои специальные занятия, как студента-медика старших курсов. Чтобы быть полезным существенно для моих заболевших товарищей, я был вынужден самым усидчивым самым настойчивым трудом, самым тщательным изучением пополнять свое медицинское образование. К счастью, у меня была хорошая медицинская библиотека, которую я и использовал возможно наилучшим образом. Затем уход за больными, изучение их заболеваний, результатов моих терапевтических мероприятий,— все это занимало мое время и отстраняло меня от всех неприятных, отрицательных сторон, неизбежных в жизни замкнутой тюрьмы. Наши официальные врачи, в большинстве случаев, кроме Гурвича и Рогалло, своим чисто казенным отношением к делу и к больным помогали мне мало, и прибегать к их помощи мне приходилось не часто; в наиболее светлые промежутки карийской жизни ко мне обращались больные с воли, что, с соизволения коменданта, обеспечивало мне выход из тюрьмы, конечно, под особым конвоем жандарма.

Первоначально я пользовался руководством д-ра Веймара, приходившего в тюрьму из вольной команды. К сожалению, это полезное руководство было непродолжительно — Веймар умер меньше чем через год по выходе из тюрьмы, и вся медицинская практика легла целиком на мои плечи. При моих ограниченных познаниях в медицине мое положение было не из легких. Во всех сколько-нибудь серьезных случаях, а такие все-таки бывали, мне приходилось переживать очень тяжелые минуты сомнений, недовольства собой и сознания недостаточности моих познаний. В этих случаях я отказывался брать исключительно на себя моральную ответственность за успех лечения и прибегал к помощи наших официальных врачей, которые являлись таким образом в роли консультанта, оставлявшего больных с установленным диагнозом для систематического лечения на моих руках. Нельзя не упомянуть добрым словом докторов Рогалло и Гурвича, всегда и охотно являвшихся в тюрьму по первому требованию, очень гуманно и со-

чувственно относившихся к больным и значительно облегчавших трудную задачу для меня, хотя студента старшого курса, но еще человека не облеченного общественной санкцией в виде врачебного диплома. Поэтому знания и советы Рогалло и Гурвича в случаях острых заболеваний моих больных были для меня очень ценны и даже поучительны, зато с хроническими больными, как и с маловажными заболеваниями, я легко справлялся, не прибегая к помощи тюремного врача. За недостатком средств иногда приходилось конструировать целые аппараты, применительно к заболеваниям и руководствуясь принципами, описанными в учебниках. Так однажды при остром воспалении почек у одного товарища мы устроили сильную паровую баню из жердей, казенного сукна и простыней, вызывая пар наливанием воды на раскаленные камни и направляя его на тело лежащего в бане больного. Этот аппарат удостоился одобрения случайно посетившего тюрьму врачебного инспектора области, шутливо порекомендовавшего даже взять на него патент. С другими хроническими больными, свободно владеющими членами, но требующими также парового лечения, я поступал проще. Для них изготовлялась камера из двух обручей, на которые надевалась парусина или холст, больной садился на табурет, покрывался этой камерой, верхняя стенка которой пропускала его голову и плотно окружала шею, а под табуретом устанавливался парообразователь — накаленный камень, обливаемый водой. Такое сооружение карийские острословы называли не без остроумия „петрушкой", чем немало приводили в смущение моих больных. В общем могу сказать, что мои медицинские предприятия сопровождались неизменным успехом, и за время моей деятельности смертность среди карийцев была равна нулю.

7. Состав карийцев. — Уголовные на Каре. — Евсеев — „Курумба".

Снова возвращаясь к составу карийской тюрьмы, нужно сказать, что в общем это было собрание интеллигентных людей. Не взирая на присутствие здесь простых рабочих, часто малограмотных, все они за время сношений с революционерами и особенно за время пребывания в тюрьме совместно с людьми образованными настолько подняли уровень своего развития, что производили впечатление интеллигентов, интересовались и умели разбираться в сложных вопросах политической и социальной жизни. Наш старый товарищ Н. Геккер в своей

статье о Каре говорит приблизительно то же; оставляя в стороне крайности, говорит он, т.-е. людей наиболее одаренных и развитых, с одной стороны, и, наоборот, — наименее образованных, с другой, можно сказать, что состав тюрьмы в общем был выше среднего по своим умственным и моральным качествам.

И это мнение Геккера, хотя слишком обще, но правильнее характеризует состав заключенных карийцев в целом за весь период истории Кары. В самом деле, если исключить тех, кого мы называли „колонистами", весь остальной состав тюрьмы казался однородным, и только детальное, глубокое знакомство с отдельными лицами указывало в конце концов на разницу между отдельными слоями этого состава. Простые рабочие, крестьяне или ремесленники, получившие только самое элементарное образование путем общения с высшим по образованию слоем заключенных, постепенно и основательно впитали в себя серьезные познания и добились критического мышления, что дало им возможность на равных началах со всеми разбираться в самых сложных вопросах общественных явлений. А что касается этого высшего слоя заключенных, то в их отношении к первым не только не замечалось какого-нибудь превосходства, тщеславия и тем больше невнимательного или насмешливого отношения, но, наоборот, все они были проникнуты чувством самого искреннего товарищества и, не выказывая своих преимуществ, были всегда готовы притти на помощь нуждающимся и, кроме того, умели держать себя всегда на равной ноге при обсуждении всевозможных вопросов. Благодаря этому дружеская связь между всеми заключенными не только не порывалась, а более и более крепла и становилась теснее.

На беду для карийцев в их тюрьму попало несколько человек, не имеющих ничего общего с настроениями политических ссыльных, хотя некоторые из них и судились по политическим процессам... К счастью, все они не выдерживали режима тюрьмы, по своим моральным качествам и свойствам своего ума не могли отдаться умственным занятиям, не любили книги вообще и уходили в так наз. „колонию", т.-е. подавали прошение о помиловании. Таковы были, напр., Овчинников, сделавшийся впоследствии хулиганом — в худшем смысле этого слова, когда был на поселении в г. Акше; таковы были Циплов и Оссовский — чисто уголовные типы, ставшие политическими за случайную помощь этим последним при их побегах с поселения.

Пока они оставались в нашей тюрьме, они вели себя или старались вести себя так, чтоб не отличаться от остальной публики. Но отсутствие у них каких-либо интересов, присущих политическим, непривычка к книге и умственным работам и, наоборот, стремление к безделию и пошлым развлечениям, которых не было в нашей тюрьме, скоро сделали для них невыносимым пребывание среди несродной им публики. И вот сперва Циплов решил, по примеру других, подать прошение о помиловании и надеялся на такое же благополучие, какое постигло других „колонистов"; но он ошибся в расчете, должен был открыть свое подлинное имя, как оказалось, скомпрометированное в уголовном смысле, и был переведен в простую уголовную тюрьму, где, как было слышно, подвергался и телесным наказаниям. Впоследствии, когда я работал в тюремном лазарете, в числе амбулаторных больных приходил за освобождением от работ и Циплов. Тогда былого Циплова — с его импозантной и гордой осанкой, чувствовавшего себя равным всем нам и гордого званием политического — как не бывало; это был уже приниженный, угнетенный обыкновенный „шпана", заискивающий у персонала больницы, чтобы получить какое-нибудь облегчение от обязательной работы. Что сталось с ним впоследствии, мне неизвестно.

Другой, Оссовский, в тяжелый период 89 года, когда вслед за наказанием и смертью Сигиды последовали смерти в женской и мужской тюрьме, — убоявшись могущих наступить репрессий, предпочел просто выдать начальству конспиративный способ переписки с женской тюрьмой, за что и получил какое-то облегчение своей участи, а, главное, к обоюдному удовольствию был извлечен из тюрьмы. Дальнейшая судьба его и неизвестна и неинтересна.

А вот настоящий политический, не уголовный, но по своим внутренним качествам мало отличавшийся от двух предыдущих — Евсеев, осужденный на вечную каторгу за убийство шпиона Прейма, прозванный „Курумбой". Для него так же, как и для Циплова и Оссовского, тюрьма была невыносима благодаря полному отсутствию в нем каких-нибудь общественных, научных или других интересов, способных сколько-нибудь скрасить тюремную жизнь. Она развила в нем необыкновенное озлобление на всех, кто сколько-нибудь не походил на него, и особенно злобствовал он на представителей тюремной интеллигенции. Это нередко заставляло прорываться его злобе дикими ругательствами и угрозами в отношении отдельных

лиц. И кончил он тем, что благополучно ушел в колонию, подавши унизительное прошение с преподанием к стопам и пр.

8. Карийцы-народники. — Социал-демократическая струя.—Характеристики отдельных лиц. — Заключение.

Рассматривая состав карийцев со стороны их основных воззрений, нужно сказать, что с самого начала истории Кары вплоть до 83—84 гг. среди них преобладало или было почти исключительным мировоззрение народническое. В самом деле, начиная с первых карийцев — нечаевцев, за которыми последовали южные бунтари, участники процессов „землевольцев", по „Казанской демонстрации", 193 лиц и, наконец, „народовольцы" по процессам 80, 83 и след. годов,—все, быть может, с небольшими вариациями, исповедывали принципы чистого народничества. Кое-какие разногласия в понимании его основ (нечаевцы, бунтари, бакунисты, лавристы) большого значения не имели, ибо все они сходились к одной определенной основе этого мировоззрения — к народу, к народу угнетенному, темному, забитому, которому необходимо помочь освободиться от лежащего на нем и давящего его ярма и в особенности самоличными усилиями которого, и только ими, можно было добиться общего раскрепощения, свержения царского деспотизма и свободы, а в конечном счете и торжества социализма. Под этим общим термином — „народ" — мыслилось все население обширной России, включая сюда и городское мещанство, и всех рабочих, и особенно многочисленное крестьянство, обладающее при том прирожденными социалистическими навыками, как артельность, община и пр. Неудачи пропаганды в народе не разочаровали народников, так как они относились на счет его вынужденного и потому естественного невежества и темноты, как прямого следствия его тяжелой истории.

Таково было общее настроение карийцев вплоть до 84—85 гг., когда в тюрьму стали доходить слухи о новых настроениях среди революционной части русского общества. Вслед за разгромом „Народной Воли", как реакция против революционных неудач, сперва образовалась группа „Освобождение Труда", а вслед за тем и социал-демократическая партия. Слухи эти будоражили умы народников-карийцев, а когда в 85—86 гг. прибыли на Кару и представители нового движения, они нашли уже несколько подготовленную почву для их новой пропаганды. Для чистых, коренных народников были неприемлемы новые

мысли. Преувеличенное значение рабочего класса казалось им странным, в виду отсутствия такового в России, а пренебрежение крестьянства, как класса „мелко-буржуазного“, было противно их основным понятиям, так же точно, как представление о капитализме, как грядущем освободителе от рабства, о ничтожности значения личности в истории и пр. и пр.

Тем не менее среди карийцев нашлось несколько лиц, по преимуществу с заграничным и особенно германским образованием, которым эти новые учения оказались сродни. Сюда нужно отнести Зунделевича, Рехневского, отчасти Майера и кое-кого еще в небольшом количестве. Это не помешало разгореться среди карийцев новым горячим принципиальным спорам; появилась новая, неслыханная до сих пор терминология: „экономический материализм“, „классовые интересы“, „производственные отношения“ и „пролетариат“.

Принципиальные лица старого и нового направлений были непримиримы, но их споры не заходили за пределы научных, правда, очень горячих разговоров, и жизнь в тюрьме не изменила своего обычного порядка, и даже больше: новые идеи породили новые умственные интересы и скорее помогали, чем вредили общему течению жизни в тюрьме, как бы освежая застоявшуюся атмосферу ее. И так продолжалось уже до конца существования Карийской тюрьмы и последовавшей затем „вольной команды“.

Мое повествование о жизни Карийской политической тюрьмы не было бы полно, если бы я не привел здесь хотя бы очень немногих и очень кратких личных характеристик кое-кого из моих товарищей по каторге. Правда, часть их, как Якубович, Веймар и другие, слегка уже обрисованы мною в другом месте, иные будут очерчены в последующих главах. Здесь же я остановлюсь ненадолго еще на немногих типичных фигурах, наиболее ярко сейчас всплывающих в моей памяти.

Но прежде всего следует отметить таких корифеев начальной стадии революционного движения, как Долгушин, Ковалик, Войнаральский, Щедрин и др., и особенно Мышкин. Все они пользовались серьезным уважением и глубоким влиянием среди остальной массы карийцев, что с их стороны не вызывалось каким-либо желанием поставить себя выше других, показать чем-либо свое превосходство; совершенно напротив, такое явление было естественным следствием высокого качества их ума и души, их образования, также и уменья поставить себя в простые, естественные отношения ко всем подневольным сожителям. Никого из них я не застал уже в тюрьме, часть

их вышла на поселение в Якутскую область, другие увезены в Шлиссельбург, где они и сложили свои головы. Не место говорить о них здесь еще и потому, что они во весь рост уже освещены в литературе.

Но кое-кто из других карийцев сейчас встает перед моими глазами.

Леонтий Федорович Бердников, старый народник-землеволец, „Бухтей", по меткому прозвищу Ив. Калюжного, потому что представление о нем нераздельно с представлением о ларе, о мясе, о пайке и пр. Он мой земляк, уралец, из мещан Невьянского завода, инженер-технолог, специалист по мыловарению. Бердников умеет постоять за себя; тихий и спокойный по внешности, он, человек положительных, стойких правил, умел внушить к себе уважение своих сожителей, неизменно и всегда относившихся к нему с полным доверием. Он отличался солидными коммерческими и хозяйственными способностями, почему и был почти бессменным старостой тюрьмы. На его обязанности лежали все расчеты денежные и продуктовые с начальством, все заготовки необходимых предметов потребления, и он же являлся представителем тюрьмы во всех случаях, где требовались переговоры с комендантом, чтобы отстоять какое-либо право или отдельного частного лица, или всего тюремного коллектива. У него хватало такта всегда выдержать должную позицию, сохраняя престиж тюрьмы и умеряя нередко преувеличенные требования местной власти. Всегда ровный и благоразумный, „Бухтей" часто бывал чрезмерно расчетлив, нередко до мелочей, что подчас не соответствовало настроению публики, но, хорошо знакомый с нашим бюджетом и прекрасно изучивший характер каждого из своих сожителей, он всегда умело отстаивал свои положения и выходил победителем из всех хозяйственных конфликтов. Склонный преимущественно к практической деятельности, Бердников мало занимался теоретически, но книжки по избранной им специальности всегда были при нем. В былое время ради этой специальности он побывал и за границей и во всяком случае мог считаться недюжинным знатоком своего дела. У нас в тюрьме, при отсутствии средств, он сам варил мыло для общих потребностей и, сколько мне известно, пользовался для этого лиственичной смолой; где он добывал жиры, я не знаю, но для щелока пользовался обилием золы в наших печах. В 1885 году Бердников вышел в вольную команду, а вскоре и на поселение, обзавелся хозяйством в деревне на берегу р. Ингоды и остался там надолго, если не навсегда,

являясь культурным центром для коренного сибирского населения. Сейчас Л. Ф. стал партийцем-коммунистом и продолжает по-старому вести свое хозяйство, имея уже взрослых детей.

Фомичев, Григорий Иванович, — человек своеобразного типа и в своем роде unicum в тюрьме. В старое время он был убежденным социалистом-лавристом и видным пропагандистом, два раза привлекавшимся к суду; в первый раз (за военную пропаганду) был оправдан, по второму попал на вечную каторгу. За побег с дороги он был на два года прикован к тачке с увеличением срока испытания. Продолжительная созерцательная жизнь в тюрьме со склонностью к самоуглублению коренным образом изменила его взгляды и характер. Поначалу в его душу проникли сомнения в правоте его предшествовавшей деятельности, что вскоре перешло в критику его основных воззрений и под конец превратило этого когда-то убежденного социалиста в поклонника самодержавной власти, в монархиста. Идея эта возникла у Фомичева не сразу, видимо, он боролся с нею некоторое время, но раз затронутая психика не дала ему средств побороть возникшую навязчивую идею, и этот в свое время сильный духом человек должен был упасть. И характер его к этому времени сильно изменился. Из тихого, спокойного и вдумчивого человека Фомичев сделался подозрительным, нетерпимым, аггрессивно настроенным к своим старым товарищам, в которых он должен был видеть теперь своих идейных врагов. Отношение к нему этих последних однакоже было бережное и спокойное, так как было очевидно, что в нем имели дело с сильно нарушенным психическим равновесием. Но странное дело, Фомичев при столь резко изменившемся миросозерцании, наперекор обычному поведению всех заключенных, изменивших своим старым верованиям, и не думал подавать прошения о помиловании, чтоб воспользоваться теми благами, какие обычно сулил такой акт. Он, напротив, решил в глубине своей души, что если он признал свое поведение преступным, то обязан безропотно перенести то возмездие, какое ему было определено за него. На этом основании им было решено нести до конца свой крест каторжника, ни перед кем из властей больших и малых не заикаясь о перемене своих взглядов. Мне неизвестно, сопровождалось ли это моральное перерождение у Фомичева переменой также и его религиозных воззрений, сделался он или нет верующим сыном православной церкви, — повидимому, это так; но что его душевная жизнь получила значительную и очень значительную трещину, это

несомненно: рядом с нарушением его логического мышления его обуяла мания преследования, результатом чего получились нередкие насильственные выступления Фомичева против воображаемых врагов. Все это заставило удалить его, как человека душевно-больного, в лазарет, где он и оставался долгое время на излечении, но это не избавило его от переселения в Акатуй в 1890 г. как долгосрочного. Впоследствии на поселении, хотя он и воздерживался от аггрессивных выступлений, но его крайняя подозрительность, отсутствие логики в суждениях и пр. вынуждали товарищей несколько сторониться от него, несколько его оберегаться. На поселение он вышел в Забайкальскую область в 1893 г., затем вернулся в Россию и умер в 1910-х годах.

Адриан Федорович Михайлов был осужден вместе с Бердниковым в 1880 году по так называемому процессу Веймара. Он — старый народник еще до образования „Земли и Воли“ и затем член основного ядра землевольцев, участвовавший в акте Кравчинского по убийству шефа жандармов Мезенцова, где он играл роль кучера, управлявшего рысаком Варваром, умчавшим участников дела от преследования. С именем Адриана Михайлова связано очень много революционных эпизодов старого времени и много наиболее видных революционеров 70-х и 80-х годов. Он был кузнецом в имении Н. Богдановича, вместе с А. К. Соловьевым, впоследствии покушавшимся на Александра II (в 1879 г.), работал кузнецом в деревне близ Хвалынска, участвовал в освобождении из тюрьмы одного видного революционера в Москве и Войнаральского под Харьковом и пр., пока, вслед за делом Мезенцова, не был арестован, судим, приговорен к смерти и помилован 20 годами каторги. Михайлов был одним из сторожилов Карийской тюрьмы и всегда занимал очень заметное, видное по его влиянию положение среди товарищей. И немудрено, так как он обладал большим умом, солидным образованием и, главное, такой феноменальной памятью, что считался у нас ходячей энциклопедией. И действительно, в бесчисленных спорах, возбуждавшихся в тюрьме как по-серьезному, так и по пустому поводу, не было надобности искать справку в словаре Березина (единственная энциклопедия в нашей библиотеке); легко и просто вопрос решался хронологической или другой справкой у нашего „авирона“ — Михайлова: он помнит и дату события, и лиц, участвовавших в нем, мысль и цитату любого автора, любой исторический факт и пр., и воистину надо было удивляться тому множеству многосторонних знаний, какие укладывались

в этой недюжинной голове! Он обладал в то же время счастливым характером, свободно сходился с тюремной демократией и никогда не пользовался явными преимуществами своего ума и образования. Его большие, основательные знания во всевозможных областях не залеживались в одной его голове, напротив, он всегда был готов поделиться ими с каждым, кто в этом нуждался. По выходе на поселение Михайлову пришлось в 1906 г. еще раз отсиживать в тюрьме по милости Ренненкампфа уже по литературному делу, после чего он с семьей благополучно вернулся в Россию.

Нагорный, Осип Иванович, был простым, честным, прямым товарищем, очень спокойным и очень работящим. Он отличался ровным, рассудительным характером, стойко выносил бремя своих бесконечных лет каторги, никогда не выражая сожаления о своей судьбе, и никогда не изменял своим старым народовольческим идеалам. В самом начале 80-х годов, как пропагандист среди рабочих, он был привлечен к дознанию по делу об убийстве шпиона Прейма, причем на суде ему была придана возглавляющая роль в этом акте, и он был приговорен к смертной казни, замененной потом вечной каторгой. Здесь, на Каре, умело ведя себя среди подневольных сожителей, отнюдь не имея склонности ни к верховодству, ни к панибратству, наш мистер Пикквик, как добродушно его называли благодаря его росту и смешноватой степенности, стойко и спокойно пережил все тюремные невзгоды, ни на шаг не отступая от раз принятых им принципов. Мало искушенный в чисто практических делах, Нагорный замкнулся в область изучения особенно философии, что и помогло ему до конца выдержать свой намеченный ранее modus vivendi. После Кары и Акатуя Нагорный вышел в 1899 году на поселение в Забайкальскую область и, к немалому удивлению товарищей, очень успешно проявил себя в практической и даже финансовой деятельности, часто помогая увеличению благотворительного капитала колонии. Он умер очень рано для своих лет, уже вернувшись в Россию, приблизительно в 1915 году.

Диковский, Моисей Андреевич, — очень прямолинейная, твердая натура, неспособная к компромиссам и потому с трудом переживающая многие тюремные неприятности, где требуется выдержка и в своем роде дипломатия. Поэтому он причислялся в тюрьме к тем, так называемым „диким", которые во многих конфликтах заключенных с начальством, а иногда и между собой, оставались при особом мнении. Во весь период жизни на Каре Моисей посвящал много времени научным

занятиям, изучению языков и пр., но не был чужд и физического труда и доступных развлечений. Благодаря прямоте своего характера, он пользовался репутацией хорошего и верного товарища, каким и остался до сего времени. В конце 70-х годов он примкнул к киевской организации М. Р. Попова и Игн. Иванова, с ними судился, к полученным 15 годам каторги приработал еще 10 лет, благодаря попытке к побегу из тюрьмы, и вышел на поселение в 1899 году в Забайкальскую область, где, занявшись хозяйством и отчасти службой, жил до последнего времени и умер 2 февраля 1930 г.

Николай Санковский — оригинал по внешности и по своему внутреннему содержанию. При первом знакомстве со мною он поразил меня своим видом — бритой правой половиной головы и длинными волосами, отросшими почти в косу, левой ее половины. На его правильном и даже красивом лице светились добротой и какой-то résignation ласковые, голубые глаза, как прямое противоречие его привычкам никогда не соглашаться с положениями собеседника. Правда, эти несогласия никогда не захватывали его глубоко, и он легко мирился со своими неудачами в спорах. Но спорщик он был жестокий, и, казалось, в этом заключались его главные интересы жизни. Поляк-литвин, мало знакомый с русской жизнью, Санковский никогда не принадлежал к какой-нибудь организации и в своем террористическом акте — неудавшееся покушение на генерала Черевина — он выступил самостоятельно, без связи с партией, и заработал этим себе многолетнюю каторгу. Протестант и революционер в душе, он не был даже социалистом и, не отличаясь сколько-нибудь значительным образованием, был однакоже неглуп и в постоянных спорах показывал достаточную гибкость своего ума. Раз принятые на себя моральные обязанности он нес без отступлений, без оговорок, что он и доказал не раз в своей жизни. Переведенный в Акатуй в 1890 г. Санковский в тот же год покончил с собой из-за столкновения с начальником тюрьмы, борясь за свое человеческое достоинство.

Много и других оригинальных и красочных образов могла бы дать из своего состава Карийская тюрьма — она была богата населением, но я вынужден ограничиться приведенным в виду недостатка времени и места.

Заканчивая на этом свое сообщение, припоминаю все хорошие и дурные стороны жизни политической карийской каторги, и трудно сказать, которые из них превалируют в воспоминаниях, что оставило по себе наиболее сильное и длительное впечатление. Оставляя в стороне крупные трагические проис-

шествия, как разгром 11 мая, как самоотравления в 1889 г., все остальное, при ретроспективном взгляде на пережитое и рассказанное здесь, — все окрашивается в другом, исключительно розовом свете. На задний план отступают отрицательные, часто мрачные стороны жизни, все пережитые тревоги и волнения, и в замен их выступают радостные моменты, как бы мало их ни было, как бы ничтожна ни была их сущность; все минувшее, все беды, весь общий уклад тюремной жизни под замком, все то далекое, что так угнетало подчас и раздражало, становится теперь таким милым, близким и дорогим, и люди — наши подневольные сожители — вспоминаются, а при случае и встречаются как лучшие и желанные друзья...

ГЛАВА VII

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1889 ГОДА

1. Литература о карийской трагедии.—Документы. Переживания заключенных.

Конец 80-х годов минувшего столетия вписал не одну кровавую страницу в историю последнего царствования, и между ними якутская бойня и карийская трагедия в начале и в конце 1889 года, преимущественно останавливают на себе внимание всех, кто интересуется историей нашего революционного движения.

Описанию карийской трагедии 1889 года посвящено несколько воспоминаний. Первый историк этой драмы — Гр. Ф. Осмоловский[1] дал обстоятельное и фактическое изложение всего происшедшего тогда на Каре, но, живя в этот период времени вне тюрьмы, он мог говорить лишь как наблюдатель со стороны; он не знал и не мог знать всех переживаний заключенных, отделенных от него крепкими замками. Следующее описание Як. Стефановича[2] полно инсинуаций, как истый памфлет на всю карийскую каторгу, и уже по тому самому не может считаться относительно объективным историческим документом. Затем Л. Дейч в своей книжке[3] также посвятил немало страниц голому перечню событий того времени и часто руководствовался при этом той же брошюрой Стефановича.

Вот первые, уж очень давние источники.

Наконец, через долгое время после них вышла статья Е. Н. Ковальской „Женская каторга“, явившаяся заглавной

---

[1] „Былое“, 1906, № 6. Перепечатано в брошюре „Карийская трагедия“, Госиздат, Петроград, 1920 г.

[2] См. его „Дневник карийца“. Изд. „Новый Мир“, СПБ, 1906 г.

[3] Л. Дейч. 16 лет в Сибири. Изд. Н. Глаголева, СПБ, 1907 г.

статьей книги „Карийская трагедия“ [1]. Но и Е. Н. Ковальская, которая вольно или невольно явилась исходной причиной разыгравшейся драмы, так же как и Гр. Осмоловский, могла только глухо коснуться существа пережитого карийскими тюрьмами, так как сама она знала о нем лишь со слов других.

Все перечисленные воспоминания, посвященные одной и той же теме, касаются только внешней стороны ее, как простого, хотя и выдающегося эпизода былых времен, не освещая того внутреннего смысла и духа событий, который переживался самими заключенными. Именно этого-то глубокого внутреннего содержания, этой души всего дела не дали и не могли дать их авторы.

И я ожидал появления новых воспоминаний, нового описания, более живого, более идейно содержательного, а не простого только протокола событий. Мне мыслилось, что отозваться на такого рода запрос, осветить его всесторонне, выяснить причины сознательной гибели стольких людей — было делом и прямой обязанностью кого-либо из непосредственных участников протеста, еще оставшихся в живых.

Я ожидал, и мои ожидания не были тщетны.

В 1922 году появилась, наконец, правдивая статья Феликса Кона [2], где автор, сам участник описываемых событий и, главным образом, их заключительного момента, шаг за шагом излагает весь ход их от начала до конца. Он сделал то, чего не сделали предшествовавшие авторы. Он выяснил те мотивы, какими руководствовались в своем протесте его участники, почему они считали себя обязанными перед лицом тяжелой угрозы скорее пожертвовать своею жизнью, чем подвергнуть себя и других заключенных жестокому унижению их человеческого достоинства; одновремено с тем он вскрыл и причины относительной ограниченности числа участников протеста, причины, лежавшие в глубине психологии отдельных лиц, в зависимости от их индивидуальных положений, их сроков заключения, их усталости, перемен в настроениях и пр.

---

[1] Ст. „Карийская трагедия (1889). Воспоминания и материалы“. Госиздат, П., 1920 г., стр. 77. Кроме воспоминаний Е. Н. Ковальской и Гр. Ф. Осмоловского, в сборник включена еще любопытная статья В. Петровского, обозревающая архивный материал о карийских событиях 1888 — 1889 гг. Описанию трагедии 1889 г. несколько страниц посвятил и С. М. Степняк (Кравчинский) в его книге „Царь-чурбан, царь-цапля“ (Госиздат, П., 1921 г., стр. 132—135). Прим. редакции.

[2] „Кара“ в сборнике „Каторга и Ссылка“, 1922 г., № 3. Изд. Общества бывш. политических каторжан и сс.-поселенцев.

Эта статья Ф. Кона, я должен признаться, не могла не всколыхнуть во мне заглохших уже под покровом времени воспоминаний, настолько тяжелых и сильных, что несмотря на длинный ряд минувших годов, каждый миг всего заключительного периода пережитой тогда драмы так отчетливо встает перед моим умственным взором, как-будто эта драма сейчас проходит перед моими глазами...

Она же побуждает меня и с своей стороны прибавить к существующим уже воспоминаниями несколько штрихов, быть может, небезынтересных, со стороны человека, не принимавшего участия в протесте, но близкого свидетеля и очевидца всех событий как в силу моего официального положения в тюрьме[1], так и по дружественной связи со многими протестовавшими, и частью коснуться и своих собственных переживаний.

Но при этом я имею в виду главным образом заключительный, последний, ноябрьский период всей карийской драмы, и в обстоятельное изложение Кона мне остается лишь внести несколько штрихов, его дополняющих, несколько поправок автора, где память ему изменила, несколько дополнений, которые либо были виднее со стороны, либо вовсе не были ему известны.

Кроме того, в настоящее время опубликованы те официальные документы, которые непосредственно относились к событиям, переживавшимся тогда тюрьмами. Эти события могут быть ныне восстановлены в строго точном, хронологическом и последовательном порядке, а эта точность за давностью времени могла исчезнуть из памяти авторов.

Поэтому, не ставя здесь себе задачи описывать общий уклад жизни карийской политической каторги, что сделано мною уже в предшествующей статье, я перейду к краткому описанию всех пережитых тюрьмами перипетий за это жестокое время, последовательно перечислю все события, подготовившие почву для ноябрьских дней, чтобы можно было точнее уяснить смысл событий, и подробнее коснусь лишь наиболее жгучих моментов последнего периода.

Но забегая несколько вперед, не могу сейчас же не заметить, что в этот период — от момента увоза Е. Н. Ковальской с Кары, 11 августа 1888 г., до конца ноября 1889 г., — т.-е. в течение более 15 месяцев, жизнь карийских тюрем была

---

[1] Я заведывал тюремной аптечкой и фактически являлся тюремным врачем товарищей-заключенных.

сплошным, беспрерывно нескончаемым кошмаром. Этих 15 месяцев было слишком достаточно, чтобы окончательно истрепать нервы и без того измученных людей, выбить их из их нормального психологического состояния и тем подготовить почву к решительному и роковому протесту на защиту единственного оставшегося у заключенных достояния — их чести...

Этот столь продолжительный кошмар для людей, лишенных свободы, оказался невыносимым. Многие не выдержали, свернули свое знамя, сдали оружие и ушли, как изменники общему делу и своим былым идеалам, другие затаили в себе накопившуюся злобу на сложившиеся условия и, быть может, копили энергию для новых выступлений; третьи нашли, наконец, выход в отдаче их жизни Молоху ненависти, злобы и вражды и решили покончить с собой...

Но попытаюсь говорить по порядку.

2. Комендант Масюков. — Корф и Ковальская. — Увоз Ковальской 11 августа. — Первая голодовка трех женщин.

В 1888 г. комендантом Карийской тюрьмы был жандармский офицер—ротмистр (полковник) Масюков, еще не так давно бывший уездным предводителем дворянства, перешедший на службу Отдельного корпуса жандармов, чтобы поправить свое промотанное состояние. Человек без ума, без воли и характера, он совершенно не понимал, как нужно было вести себя с политическими заключенными, и потому часто попадал впросак. Его бесхарактерность и простая трусость часто ставили его в смешное и неприятное положение не только перед заключенными, но и в среде местного чиновничества и даже в среде его подчиненных нижних чинов. Циник, картежник, кутила — Масюков никому не внушал сколько-нибудь уважения к себе, а присущее ему недомыслие не позволяло ему понимать нередко насмешливое к нему отношение. Можно было ожидать каких угодно эксцессов от такого коменданта, не будь у него под рукой двух-трех толковых жандармов, которые нередко сдерживали Масюкова, указывая ему на преимущества простой целесообразности перед параграфами инструкции. Но в августе 1888 года и этих сдерживающих начал для него не оказалось, и произошло то, что ни в каком случае произойти было не должно.

В это время Кару вздумал посетить проездом приамурский генерал-губернатор барон Корф. В нашей мужской тюрьме его

пребывание не оставило никакого следа; не то было в женской. При выходе оттуда со своей свитой 5 августа Корф заметил сидящую во дворе Е. Н. Ковальскую и потребовал, чтобы она встала.

— Встать! — обратился к ней Корф, на что Ковальская отвечала:

— Я не признаю вашего правительства и перед его представителями не встаю.

— Я вас заставлю уважать правительство и власть, — сказал Корф, на что Ковальская вновь отвечала:

— Да, вы можете меня уничтожить, но я все-таки останусь при своих убеждениях[1].

Немедленно после этого столкновения бар. Корф дал распоряжение Масюкову отправить Ковальскую в распоряжение губернатора Забайкальской области и тотчас же оформил это распоряжение секретным предписанием губернатору (7 августа 1888 г. № 462) о строгом препровождении и содержании в Верхнеудинской тюрьме Ковальской, под названием „секретной арестантки № 3“[2].

Получив такое распоряжение, Масюков вообразил, что Ковальская, а вместе с ней, быть может, и другие женщины, жившие с ней в одном помещении, непременно будут сопротивляться такому внезапному увозу с Кары, и счел более благоразумным произвести этот увоз внезапно ночью, не стесняясь при этом никакими средствами, не соображая, что такая мера должна быть чрезвычайно оскорбительна для женщин. И вот... Среди темной ночи 11 августа 1888 г. в $4^1/_2$ часа утра в женскую тюрьму ворвались смотритель Бобровский и офицер Архипов[3] в сопровождении нескольких жандармов, сельского старосты и уголовных арестантов, схватили спящую Е. Н. Ковальскую и раздетую вынесли из тюрьмы, а на утро увезли с Усть-Кары. Весь этот эпизод сопровождался настолько возмутительными подробностями, со стороны названных лиц

---

1 „Кара“ — XXVIII—XXIX кн. „Историко-рев. библ-ки“ журнала „Каторга и Ссылка“. Ст. А. Фомина. Стр. 120.

2 Там же: „Инструкция к увозу Ковальской“, стр. 192.

3 В официальных документах имени Архипова не упоминается, но я твердо помню, что у нас сохранилась уверенность в участии этого офицера в ночном походе на Ковальскую.

было допущено такое грубое издевательство над Ковальской[1], что оставшиеся в тюрьме ошеломленные женщины — Ковалевская, Смирницкая и Калюжная — не нашли другого выхода, как протестовать голодовкою.

Необходимо сказать, что это возмутительное издевательство над беззащитной женщиной, если оно имело место, было и оскорбительно, и не нужно, не оправдывалось никакими соображениями. Перемещения заключенных из тюрьмы в тюрьму по воле начальства никогда не вызывали никаких протестов со стороны заключенных. Этого не позволяла издавна выработанная система отношений к власти: поскольку последняя своими требованиями не покушается на честь и достоинство заключенннного, эти требования исполняются беспрекословно. Было много примеров увоза разных лиц с Кары или перевода в другие тюрьмы, даже в одиночки, и никогда Кара не думала протестовать против этого. В данном же случае нелепость насильственного и грубого изъятия Ковальской из тюрьмы увеличивалась еще тем, что сама Ковальская стремилась к переселению в какую бы то ни было другую тюрьму и неоднократно заявляла об этом.

Тем временем, а именно 16 августа, на Усть-Каре появились наклеенные на телеграфных сталбах листки, говорящие о том, что трое государственных преступниц, желая придать наиболее широкую огласку факту оскорбительного обращения с Ковальской во время ее изъятия из тюрьмы, решили уморить себя голодом и отказались принимать пищу. На этот факт комендант реагировал довольно просто: он решил скрыть его и доставленные ему жандармом Кравченко шесть листков, сорванных со столбов, просто уничтожил, не доводя об этом до сведения высшей власти[2].

Голодовка трех женщин продолжалась, мужская тюрьма пока ничего не знала о происходящем, так как сношения с женской тюрьмой к этому времени были очень затруднены. Масюков не мог не донести об этих событиях губернатору и запрашивал его о мерах, какие он должен принять к голодаю-

---

[1] Ковальская рассказывает: „На меня набросились, когда я спала в постели. Куском моего же одеяла заткнули мне рот и потащили на руках через двор на улицу, где уже стояла приготовленная телега". Далее на земской квартире Ковальскую надзирательница переодела в казенное белье при помощи двух уголовных мужчин, причем, по словам Ковальской, тут же стоял Бобровский и продолжал издеваться над ней, за что она успела дать ему пощечину (там же, статья А. Фомина, стр. 121, прим. К—ой).

[2] Там же, статья А. Фомина, стр. 124.

щим. На это он получил краткий ответ: „Если не хотят есть, пусть не едят, только чтобы пища была ежедневно приносима“ [1].

3. Отзвук в мужской тюрьме.—Следствие над комендантом.—Прекращение первой голодовки.—Приезд фон-Плотто.

Только через 4 дня мужская тюрьма получила известие о голодовке женщин и не могла не реагировать на этот факт. Со своей стороны и Масюков, перепуганный неожиданными для него последствиями своей бестактной и ненужной выходки, искал способа выйти из неприятного положения. Он понимал, конечно, что мужская тюрьма не останется равнодушной перед фактом голодания женщин, вызванном его бестактностью, и метался в поисках средств успокоить взволнованные страсти; но средств этих он не находил, пока более толковый, чем он, его вахмистр Голубцов не натолкнул его на мысль дать свидание одной из голодающих, Марии Васильевне Калюжной, с ее братом, Иваном Васильевичем, заключенным в мужской тюрьме. При этом имелось в виду, что Иван Васильевич, как человек благоразумный, не настроенный остро к Масюкову, сумеет благотворно подействовать на сестру, а через нее и на других протестанток в интересах спокойствия в обеих тюрьмах.

Но комендант ошибся. Калюжный вовсе не был настроен по-обывательски и не был склонен ради формального внешнего „спокойствия“ пренебречь принципом; тем менее он был способен оказать какое-либо моральное давление на волю сестры. Он открыто заявил об этом коменданту. Второе свидание Калюжного с сестрой и Смирницкой, совместно с особым делегатом тюрьмы (Рехневским), как и третье (вместе с Позеном), также не дали желаемого Масюкову результата: голодовка продолжалась, мужская тюрьма также, видимо, волновалась, не доверяя коменданту в его попытках, если не оправдаться совсем, то значительно смягчить свою вину. Он хорошо понимал, что если мужская тюрьма не станет на его сторону, его конфликт с женской тюрьмой закончится не скоро. И этот безвольный, трусливый, но в сущности не злой человек готов был на всевозможные уступки тюрьмам, а впоследствии не остановился даже перед обманом и фальсификацией документов. Теперь же, видя, что тюрьма не доверяет его показаниям, он предложил назначить над ним настоящее след-

[1] Там же, стр. 124.

ствие, обещая всячески этому содействовать. Произошел небывалый факт, невиданное доселе явление: формальное следствие заключенных над их непосредственным начальством, предоставившим следователям и судьям полную неприкосновенность и всяческое содействие со стороны всех его подчиненных.

Наши следователи, товарищи в вольной команде, Осмоловский и Лозянов, приступили к делу энергично. Они свободно выезжали в Усть-Кару, допрашивали официально и жандармов, и надзирательницу, и обывателей, — словом, всех сколько-нибудь причастных к делу увоза Ковальской лиц и собирали всевозможные слухи, в обилии циркулировавшие на Усть-Каре.

Комендант выполнил в точности свое обещание и предоставил не только полную свободу действий нашим следователям, но и содействовал им, разрешая своим подчиненным давать им свои показания, допуская свидания следователей с тюремщиками и пр. Конечно, все это вместе взятое, как и незаконные поездки Ив. Калюжного и других в женскую тюрьму на свидания с голодающими, все это было прямым правонарушением, превышением власти, за что отчасти он и получил выговор[1]. Но Масюков был так испуган, так растревожен всем происходившим, что безоговорочно соглашался на все, благо высшее начальство было неблизко.

Но, с другой стороны, это обязывало и тюрьму, так как именно от нее, от ее следователей комендант ждал и был уверен в беспристрастном приговоре.

Тюрьма тем временем кипела и волновалась. Разноколиберность ее состава не могла обеспечить сколько-нибудь единодушного решения, и, можно сказать с уверенностью, большинство ее не стояло за крайние меры, не вполне одобряло протест женщин и даже было склонно не видеть в поступке коменданта очень большого преступления, вернее, считало рассказы о нем преувеличенными. Меньшинство, хотя и было всецело на стороне протестующих, предусматривало возможность тяжелых последствий в ближайшем будущем и стремилось в настоящем как-нибудь успокоить волнение. Отсюда, как временный выход, и явилось следствие над Масюковым и просьба к протестующим прекратить голодовку до конца этого следствия.

Женщины приостановили голодовку на десятый день, но мы чувствовали, что, каковы бы ни были результаты след-

---

[1] За свидание Калюжного с сестрой от Департамента полиции и от военного губернатора (там же, стр. 124).

ствия, они не смогут разрешить дела протестующих женщин, твердо сохраняющих свои позиции; а между тем само следствие, естественно, парализовало наши действия по отношению к коменданту, всецело отдавшемуся на справедливость своих подначальных.

Следствие было закончено, но не могло дать ясных, конкретных результатов; показания свидетелей были увертливы, неоткровенны, часто противоречивы; ожидаемого подтверждения или опровержения инкриминируемых коменданту преступлений не получилось. Оно не могло удовлетворить ни ту, ни другую сторону: женщины чувствовали себя оскорбленными в их человеческом достоинстве и решили послать ультимативное заявление жандармскому управлению с требованием удаления с Кары виновных в их оскорблении (28 августа); у нас же пока продолжались непрестанные, нескончаемые совещания с целью решить, в какой форме поддержать трех женщин, обрекающих себя на невозможное существование и в своем протесте остающихся как бы в одиночестве, всеми забытыми. После долгих трений восторжествовало, наконец, предложение послать и от нас начальнику жандармского управления в Иркутске фон-Плотто заявление, что при создавшемся положении необходимо произвести расследование, наказать виновных и гарантировать тюрьмы в будущем от повторений грубости и издевательства над заключенными[1]. В ответ на это тюрьма получила уведомление, что фон-Плотто скоро самолично явится на Кару.

Известие это имело своим результатом по крайней мере то, что для протестующих женщин стала ясна невозможность вновь начать голодовку до формального рассмотрения дела. Было необходимо ждать, но ожидание это было нелегкое. Положение протестующих женщин было невыносимо: подкрепляя свое требование об удалении коменданта бойкотом его, женщины лишали себя самого необходимого: писем, посылок, денег, права переписки и всех известий, приходящих из внешнего, внетюремного мира. Бойкотирующие своим бойкотом били жестоко самих себя, совершенно не видя выхода из созданного ими положения. Напряжение их нервов достигло тех крайних пределов, когда людям жить становится не в моготу.

Проходили месяц за месяцем. Суровая забайкальская зима давала себя знать. Трескучий мороз как бы леденил наши тела

[1] Донесение Масюкова Иркутскому жандармскому управлению от 9 сентября 1888 г. (там же, стр. 125).

и наши сердца, как бы проникая в глубину наших душ, и мы нервничали, раздражались, сердились друг на друга, были выбиты из колен, побросали свои обычные занятия и переставали владеть собой.

Только в 20 числах февраля 1889 г. приехал, наконец, ожидаемый с таким нетерпением Плотто. У нас его встретило общее заявление, что успокоения можно достичь только удалением Масюкова: услышав то же самое в женской тюрьме, он торжественно обещал это исполнить.

После отъезда Плотто началось новое томительное ожидание, наиболее трудное для женской тюрьмы, благодаря бойкоту коменданта. Женщины не пускали его на порог своей тюрьмы и не принимали ничего, что должно было проходить через его руки; в нашей же тюрьме наступила некоторая передышка от тревог и беспокойства. Измученные предшествовавшими волнениями, заключенные были рады наступившей тишине и, хотя эта тишина была достаточно тревожной, в виду всегда возможной вспышки протеста в какой-нибудь форме, все же они пользовались ей как отдохновением.

Так прошло еще около трех месяцев. К этому времени три протестантки были переведены на Отряд, и все женщины были соединены в одной тюрьме.

4. Лето.—Новая голодовка всей женской тюрьмы. 4-дневная голодовка мужской тюрьмы.—Слухи о телесном наказании.—Готовность умереть Калюжного.

Наступил конец мая. Красивая карийская природа уже давала себя чувствовать, в воздухе носились ароматы весны, на нашем дворе, огороженном палями, садоводы и огородники пытаются воссоздать подобие грядок для овощей и газонов для цветов; за палями уже появились цветы, залитые солнцем верхушки сопок уже давно стали фиолетовыми от сплошь покрывающего их богульника, уже появляются и ландыши... Но этот расцвет природы на этот раз не гармонировал с настроением тюрмы, и в наших камерах неожиданно наступило уныние.

В женской тюрьме за это время произошло следующее: 22 мая Ковалевская, Смирницкая и Калюжная, а за ними Добрускина и Салова, вновь подали фон-Плотто заявление, в котором говорили, что так как, несмотря на его личное расследование и обещания, Масюков остается на своем месте,

они вновь прекращают все сношения с ним и через него не будут принимать даже казенного пайка.

Остальные женщины (Корба, Якимова, Ивановская и Сигида) тоже подали аналогичное заявление, присовокупив, что если через три дня не последует удовлетворительного ответа, они прибегают к той же мере, другими словами, к голодовке[1].

Таким образом, приблизительно 26 мая, мы узнали, что женская тюрьма, на этот раз уже в полном составе, не удовлетворенная умеряющим вмешательством мужской тюрьмы, и, главное, в виду того, что в течение трех месяцев, вопреки своему обещанию, начальство не убрало коменданта, вновь объявила голодовку.

Новая встряска нервов, сходки, дебаты,—и вопрос о присоединении к голодовке женской тюрьмы был решен большинством голосов, чего до сих пор мужская тюрьма счастливо избегала.

Мирский выпускает краткую, но весьма выразительную прокламацию, где сравнивает решение тюрьмы с японским харакири.

Я тщетно убеждаю своих больных (Павла Иванова, Волошенко и др.) не голодать, что дурно отзовется на их здоровье, но меня не слушают... Местами собираются небольшие кучки унылых людей, не одобрявших общего решения, но подчинившихся ему по той или другой причине... С 27 мая голодовка началась без предъявления каких-либо требований, с единственной целью поддержать протестующих женщин[2]. Наступило общее молчаливое уныние, и даже жандармы, чувствуя что-то неладное, ходили, повеся нос.

К счастью, все это продолжалось недолго. Дня через два после начала нашей голодовки комендант вызвал меня к себе на квартиру и убедительно доказывал мне, что он ни в чем неповинен, что рад бы уйти со службы немедленно, так как считает себя совершенно непригодным для такой должности.

---

[1] 24 мая Масюков телеграфировал и Фон-Плотто и губернатору: „Представляя почтой девять заявлений преступниц, в которых они просят удалить меня с должности коменданта за то, что якобы вы обещали им это в феврале, иначе 25 мая они будут голодать. Инициатива Ковалевской... Прошу указаний“... На это военный губернатор в тот же день повторил свое обычное: „Если будут голодать — пищу все же оставлять, подавать“. (Там же, стр. 126).

[2] Но 30 числа, когда женщины еще продолжали голодать, Масюков на свою телеграмму об этом вновь получил характерный ответ губернатора: „Администрации безразлично, будут ли они есть или не будут. Продолжайте поступать, как приказано. Хорошкин“. (Там же, стр. 128).

„Тут нужно очень умного человека, чтобы управиться с такими людьми, как все вы, куда же мне до этого, когда каждый из вас много умнее меня“, говорил он, впадая в жалобный тон... В то же время он выражал глубокое сожаление и, казалось, вполне искренно, что все это так тяжело повернулось и что эти голодовки его самого страшно мучают, и он принял все зависящие от него меры, чтоб ускорить свою отставку, чему мешает канцелярская волокита. При этом Масюков надеялся, конечно, что, убеждая меня, он убедит и тюрьму в его правоте, но так как это не подействовало на последнюю, то на четвертый день голодовки он вызвал к себе старосту и дал такое исчерпывающее доказательство того, что им использованы, и с успехом, все меры для удовлетворения предъявленных женщинами требований, что дальнейший протест всем казался ненужным, излишним. Правда, впоследствии мы узнали, что документы коменданта были фальсификацией, но временно они возымели свое действие—голодовки обеих тюрем были приостановлены.

До этого момента на мою долю выпадали те же тяжелые переживания, какие испытывала вся тюрьма: все тревоги, все неоправданные надежды были достоянием всех в одинаковой мере. Но с момента начала нашей голодовки начинаются и мои личные треволнения, на которых коротко мне и хотелось бы здесь остановиться.

Несколько ранее описываемого момента, еще в апреле или в начале мая месяца, до нас дошел слух о специальном распоряжении генерал-губернатора барона Корфа распространить на политических заключенных на о. Сахалине репрессии, обычно применяемые в уголовных тюрьмах, не исключая и телесных наказаний. Невыносимо тяжелое душевное настроение, уже 8 или 9 месяцев царившие в тюрьме, в связи с этим слухом породило у некоторых лиц твердую уверенность, что дело, поднятое частью женской тюрьмы, не обойдется без какого-либо решительного и радикального шага и приведет к роковым результатам. Только-что приостановленные голодовки не могли гарантировать от новой вспышки протеста женщин, и это тем самым еще более подкрепляло указанное настроение. По крайней мере именно теперь впервые обратился ко мне Сергей Бобохов—этот честный и почти святой юноша—с вопросом: снабжу ли я его каким-нибудь ядом, если дело дойдет для него до необходимости умереть. Разговор этот носил еще прелиминарный, так сказать—академический характер, перед нами не стояло еще вопроса о протесте самоубийством во всем его роковом значении, хотя намек о возможности применения

телесного наказания уже и стоял перед нами, и я говорил Бобохову, не желая его обманывать, что это было бы для меня чрезвычайно тяжело, что это противоречит всему моему духовному складу, но что я был бы вынужден ему содействовать.

С другой стороны, в частых беседах с моим другом, близким товарищем и однопроцессником, Иваном Васильевичем Калюжным, я ясно сознавал, как и он сам, необходимость гибели его вслед за вероятной гибелью его жены и сестры, а эта вероятность в глубине души не была тайной ни для него, ни для меня. Меня поражало спокойствие, с каким он говорил о смерти, как о неизбежном для него выходе из создавшегося положения. В этом настроении милый, несчастный Ваничка жил с того момента, как побывал на свидании с сестрой еще при первой их голодовке, в августе 1888 года. Он так слился с их жаждой протеста, так живо чувствовал их оскорбление в себе самом, что не отделял себя от них и решил итти до конца рука об руку с ними. Он свыкся с мыслью о неизбежности смерти, выносил в себе эту идею и уже переставал смотреть на себя, как на живого, активного члена тюрьмы. С каждым новым днем, который приносил нам новые скорпионы, эта уверенность его в неминуемой гибели укреплялась больше и больше.

— Не забывай, что со смертью сестры и Нади,—говорил он мне,—для меня в моей личной жизни ничего не останется, а своей смертью я подкрепляю их жертву и умираю не даром. Да они и знают, что вслед за ними непременно по их стопам последую и я.

Каковы бы ни были мои доводы, его опровергающие, в этом случае они не могли иметь никакого успеха—так твердо и бесповоротно было его решение. Но решение это пока было его единоличным решением, и он хорошо понимал, что нужен большой факт произвола со стороны власти по отношению к нам, чтобы подвинуть на такой протест всю тюрьму или ее часть, нужен новый и большой скорпион.

И этот скорпион не замедлил явиться.

5. Сигида и ее жертва.—Третья голодовка и перевод трех женщин в Усть-Кару.—Декларация Корфа 26 октября.

Со времени последней голодовки прошли июнь, июль и август, а обещанного удаления Масюкова не произошло. Измученная напряженностью положения протестующая часть женской тюрьмы заговорила опять о новой голодовке. Тогда не

выдержала недавно прибывшая на Кару Надежда Константиновна Сигида. Как человек нервный, впечатлительный, убитый своим собственным горем (ее муж, отправленный на о. Сахалин, умер в тюрьме), измученная тюрьмой и дорогой, она попала на Кару как раз в разгар неурядиц, когда страсти протестующих достигли своего апогея. Вместо покоя и тишины она нашла в тюрьме полнейшую разруху; здесь царило внутреннее несогласие и внешняя безысходная борьба. Сигида не могла перенести такого положения, и когда там вновь заговорили о голодовке, она вызвалась к коменданту и пыталась нанести ему пощечину в расчете на то, что битый чиновник должен быть уволен немедленно.

В один невеселый день, именно 31 августа, заключенные, и без того всегда возбужденные нерадостными слухами о безвыходности положения женской тюрьмы, пытались на разные лады представить себе исход создавшегося положения. Кучки гуляющих по двору товарищей группировались, как всегда, по сходству отношения к переживаемым событиям. Часть публики, тоже обычно, в щели между палями старалась разглядеть, что происходит за нашей оградой во внешнем мире. Вдруг раздался возглас: „Кого-то привезли к коменданту!"—и большинство кинулось к палям, чтоб собственными глазами увидеть, в чем дело. Оказалось, действительно, что к коменданту привезен кто-то из наших товарищей-женщин. Никто из нас не знал в лицо Сигиду, но путем исключения можно было думать, что это не кто другой, как она. Скоро мы увидели, что пробыв недолгое время у коменданта, она была выведена с крыльца его дома под усиленным конвоем, но совершенно спокойная по внешнему виду, и не отвезена обратно в свою тюрьму, как надо было ожидать, а уведена в особую казарму, значит, арестована.

Было ясно, что произошло что-то необычайное, что Сигида приезжала не даром в это тревожное время. И действительно, в тот же или на другой день мы узнали обо всем происшедшем почти на наших глазах. Да, Сигида и вызвалась к коменданту для того, чтоб нанести ему оскорбление действием, и сделала это! [1]

---

[1] 31 августа 1889 г. Масюковым была отправлена губернатору телеграмма „Преступница Сигида была вызвана мною сегодня на квартиру для личных со мною объяснений, где нанесла мне оскорбление действием. Сигида временно помещена в карцер караульного дома". (Там же, стр. 126).

Этот факт дал новый толчек для тревоги и волнений ибо перед заключенными встал новый вопрос: что сделают с Сигидой?

Самоотверженная женщина хорошо понимала свое положение, она шла на верную смерть, отдавала себя в жертву ради покоя измученных товарищей. Но, увы, она не рассчитала всех возможных последствий своего поступка и не учла могущих произойти от него результатов.

На нашу тюрьму этот факт произвел потрясающее впечатление, но не вызвал никакого выступления, кроме молчаливого выжидательного положения. Не так отозвалась на него протестующая часть женской тюрьмы в количестве семи, а потом восьми человек. Они немедленно объявили третью и последнюю голодовку, наиболее ужасную, продолжавшуюся по одним сведениям 12, а по другим 14 и 16 дней. Мотивом ее была поддержка Сигиды, в сущности совершенно бесцельная, на которую меньше всего рассчитывала сама Сигида. Когда это последнее было сознано голодающими, их мотивировка голодовки изменилась, они ограничились требованием перевода на Усть-Кару в отдельную тюрьму трех человек, очевидцев первоначального исходного факта всего протеста—очевидцев увоза Е. И. Ковальской с Усть-Кары, т.-е. Ковалевской, Смирницкой и Калюжной. Положение женской тюрьмы стало нестерпимым, и если бы не подоспело согласие комендатуры на этот перевод и не состоялся сам перевод их на Усть-Кару, дело тогда же могло окончиться самым печальным образом.

Комендант, ясно понимая, что эта ничтожная мера может успокоить голодающих, с своей стороны принял все меры к переводу на Усть-Кару хотя бы Ковалевской, по его мнению, зачинщицы всего дела. Губернатор согласился с его доводами, и Ковалевская была переведена на Усть-Кару в ту же камеру уголовных, где была помещена Сигида.

Калюжную и Смирницкую предупредили, что с ними будет поступлено так же, если они будут вести себя по-старому (sic!).

Удивительное непонимание со стороны властей всего создавшегося положения! Они как будто и не догадывались, что таково именно и было желание этих двух протестанток, измученных продолжительным голоданием, что они сами шли на этот компримисс и искали его. Словом, Калюжная и Смирницкая на такое предупреждение отвечали, что будут голодать, пока не выделят и их, как Ковалевскую.

От губернатора еще раз последовал его стереотипный ответ на это заявление: „могут голодать, сколько им угодно, пищу давать“ [1].

Тем не менее 22 сентября Калюжная и Смирницкая были переведены в женскую уголовную тюрьму, где уже сидели Сигида и Ковалевская.

Отправка на Усть-Кару трех главных протестанток прекратила голодовку, и инцидент должен был считаться исчерпанным.

Проходит еще некоторое время, и всех нах жестоко поражает уже совершенно невероятное и неожиданвое событие: 26 октября при необыкновенно торжественной обстановке комендант, под защитой ряда штыков и обнаженных шашек, в присутствии целого штата тюремных и военных властей, на виду у нас вскрыл запечатанный конверт и приказал кому-то прочитать заключавшуюся в нем бумагу. При гробовой тишине, при взволнованных лицах присутствующих представителей власти, при необычайном волнении самого коменданта, мы услышали новое распоряжение генерал-губернатора, приблизительно в следующих выражениях: применять к заключенным, в случаях нарушения ими тюремной дисциплины, телесные наказания наравне с уголовными и, в случаях надобности, прибегать к военной силе, не стесняясь последствиями... [2].

— Вот и все—закончил эту сцену растерянный и взволнованный комендант, уходя первым и увлекая за собой сконфуженную и как бы пристыженную публику.

А мы остались, пораженные неожиданностью, несмотря на то, что никогда не питали излишних иллюзий на благородство

---

[1] Там же, стр. 130.

[2] Вот подлинный текст этой грозной инструкции генерал-губернатора от 30 сент. 89 г.: „Неоднократно повторяющиеся беспорядки среди государственных преступников мужской и женской тюрьмы вынуждают прибегнуть к мерам строгости. Поэтому предписываю полковнику Масюкову коренным образом изменить обращение с ними, без всякого снисхождения взыскивая за всякий проступок, о чем предупредить их. За каждое действие скопом переводить всех на продолжительное время на обыкновенное арестантское довольствие и лишать всего, что разрешено иметь за собственные деньги, не исключая и письменных принадлежностей и тому подобное. В случае сопротивления при аресте кого-нибудь из них или по другому какому случаю употреблять вооруженную силу, не стесняясь за последствия. Отдельно провинившихся и зачинщиков подвергать без малейшего послабления телесному наказанию, наравне с уголовными преступниками. Подполковнику Масюкову и всякому начальству строго воспрещается входить к ним без установленного конвоя солдат и жандармов и обязать постоянно иметь впереди себя двух жандармов при посещении тюрьмы или при разговоре с преступниками“. („Кара и другие тюрьмы“, стр. 131).

и благосклонность к нам ставленников царского режима. Когда же мы понемногу пришли в себя и должным образом оценили происшедшее, нам стало ясно, что правительство решилось при первом же удобном случае применить свою угрозу, и прежде всего приходила в голову мысль, не отзовется ли это новое постановление на Сигиде.

Теперь уже многие открыто заговорили о необходимости серьезного отпора этому новому оскорблению, не ожидая его фактического применения, о протесте в единственно оставшейся форме — самоубийстве. Первым в этом смысле высказался Бобохов, к нему примкнул Калюжный, успевший близко сойтись с ним на почве единомыслия по этому вопросу. Около них начала формироваться группа лиц, пришедших к тому же неизбежному выводу, и потянулись тяжелые покаянные дни самоуглубления, самоанализа.

С этого момента мне пришлось стать в невыразимо тяжелое положение, до сих пор еще при воспоминании приводящее меня в трепет. Именно передо мной, как единственным человеком, стоящим у аптечного шкафа, владеющим всеми медикаментами и знающим их употребление, передо мной одним стала дилемма—или быть отравителем самых близких и дорогих мне товарищей, или отказать им и тем самым стать ненавистным препятствием к осуществлению их задачи, перед самой их гибелью.

Я должен сознаться, что задача эта была для меня непосильной... и мне было нелегко уклониться от того, что в некотором роде возлагали на меня обязанности моего официального положения.

Вскоре после тяжелой сцены 26 октября Бобохов снова обратился ко мне с тем же вопросом об яде, но на этот раз уже было видно по ясным глазам этого человека не от мира сего, что в глубине души его уже назрело окончательное решение протестовать своею смертью даже против одного покушения на оскорбление и насилие.

И опять я колебался дать утвердительный ответ, старался уклониться от ответственности и говорил, что нет еще настоятельной необходимости в смерти, что угроза наказанием не есть еще наказание и что чаша эта минует нас...

— А если накажут Сигиду,—спрашивал Бобохов,—дашь тогда нам яд?

И я должен был ответить утвердительно, не чувствуя в себе уверенности, что найду силы собственноручно отравить людей.

А события тем временем шли своим чередом. Мы жили в неведении о том, что творится в женской тюрьме, так как способ нашей переписки уже был ликвидирован благодаря доносу полу-уголовного Оссовского. Этот довольно длинный промежуток времени от 26 октября—момента объявления „манифеста“ о телесном наказании—до ноябрьских дней, почти месяц, прошел, правда, в большой тревоге под Дамокловым мечом неизвестности, но все же сравнительно тихо, без особых волнующих слухов и фактов, если не считать явной обособленности формирующейся группы будущих протестантов. А факт этот не мог быть незаметным и не мог не волновать остальной публики.

6. Наказание Сигиды.—Смерть ее и трех женщин.—12 ноября в мужской тюрьме.—Первое отравление 16 человек.

Вдруг по тюрьме разнеслась тревожная весть, что Сигида, наказанная розгами, умерла и вслед за нею погибли Ковалевская, Смирницкая и Калюжная [1]. Не умею описать степени

---

[1] Приговор над Сигидой—наказание ее 100 ударами розог—был приведен в исполнение помощником заведующего Нерчинской каторгой Бобровским 7 ноября 1889 г. Сигида немедленно отравилась и в ту же ночь умерла. Немедленно после этого отравились Смирницкая, Калюжная и Ковалевская и были отправлены в Нижне-Карийский лазарет, где Ковалевская умерла 8 ноября, а остальные 9 ноября. После донесения об этом губернатору Масюков получил в ответ: „Принять все законные меры к сохранению порядка в государственной тюрьме, не делать никаких уступок и послаблений против существующих правил“ (там же, стр. 132). Много позднее мы узнали, что приговор Корфа довольно долго висел над головой несчастной Сигиды. Прежде всего доктор Гурвич отказался признать состояние ее здоровья пригодным для применения к ней наказания розгами; впоследствии он отказался и присутствовать при этом наказании; затем начальник уголовной каторги Гомулицкий также не нашел для себя возможным наказывать женщину розгами и категорически отказался, таким образом, от прямой своей обязанности. Только прибывший на Усть-Кару помощник заведующего Бобровский, жестокий и наглый человек, уже проявивший себя в акте увоза Ковальской 11 августа 1888 г., добровольно взял на себя эту миссию, но и он, как говорят, постеснялся или побоялся раздеть Сигиду перед наказанием.

Он соединил в себе и обязанности палача, и функции доктора. Взглянув на приведенную страдающую Сигиду, он просто заявил: „Выдержит“ и приказал приступить к экзекуции.

В результате Сигиду принуждены были перенести в камеру и отдать на руки ее товарок. Последние в притихшей камере при помощи уголовных отгородили простынями один угол и там долго успокаивали наказанную. В ту же ночь Сигиды не стало.

того ужаса, каким поразили нас эти известия. Тревога тюрьмы дошла до крайнего предела, и для многих тотчас же встал ребром вопрос о дальнейшем их существовании. Известия, полученные из вольной команды, вполне подтвердили эти факты и дополнили их еще новым: в вольной команде сделал попытку убить себя двумя выстрелами в голову Наум Геккер; облитый кровью, он отправлен в лазарет...

Все сомнения отлетели в сторону: мы стоим перед фактом уже примененного телесного наказания к одному из наших товарищей, и этот факт уже повлек за собой четыре, а, может быть, и пять смертей.

И передо мной теперь уже определенно встал вопрос: буду ли я способствовать смерти своих товарищей или нет?

Положение мое было тем труднее, что я не разделял взглядов протестующих, не принимал участия в их решении. Понимая и даже сочувствуя их настроениям, я не находил в себе силы присоединиться к ним, итти с ними по одному пути. Бессилие, эгоистическая жажда малоизведанной жизни или инстинктивный протест натуры против чисто славянских форм пассивного протеста и теплющаяся надежда на возможность активной борьбы в будущем, или, наконец, все эти побуждения в их совокупности—сталкивались с моими симпатиями и с моим дружеским отношением к большинству из них и особенно к Калюжному. Все это делало мое положение невыносимым, и по мере того как формировался кружок протестующих, я отходил от них дальше и дальше и замыкался в себе. Только короткие беседы с Калюжным, в которых он старался выяснить мне свою личную психологию, причины, толкающие его к смерти, только его мягкое и дружеское отношение да иногда полуофициальные переговоры кое с кем из его единомышленников связывали меня с этой группой, и тем тяжелее было мне решить в самом себе вопрос—помочь им отравиться или отказаться от этой тяжелой роли.

Как было бы просто заготовить смертельную дозу яда для себя и для других, и как трудно дать таковую только другим, а самому остаться невредимым.

Однакоже необходимость последнего, ясно мною сознаваемая, необходимость не только выдать имеющиеся у меня яды, но и обсуждать способ их употребления, надежность их действия и пр., другими словами, просто и хладнокровно отправить на тот свет 10—15 лучших из моих сожителей,—настолько нервировала меня, настолько была противна всему существу, что я чувствовал себя совершенно расстроенным, подавленным,

больным, доходящим почти до психоза. По временам мне приходила в голову мысль: не пойти ли и мне, чтобы окончить это невыносимое психическое состояние, по следам протестующей группы? Но самый простой и легкий анализ этой мысли говорил мне, что это не было бы протестом с моей стороны против жестоких репрессий, не было бы отстаиванием своего достоинства, а было бы проявлением только эгоистического желания избавить себя от невыносимого положения, таким роковым образом ставшего передо мной.

Еще раз Бобохов пришел ко мне все с тем же требованием, но я уже был так расстроен в этот момент, был так непохож на самого себя, что беспомощно развел руками и, отыскав Ваничку Калюжного, признался ему откровенно, что предстоявшая роль отравителя мне не по силам и что если группа не может обойтись без меня и имеющихся у меня ядов, то пусть кто-нибудь из них возьмет из аптечки все, что угодно, но без моего личного участия...

Очевидно, мое душевное состояние было слишком ясно для Бобохова, Калюжного и других; по крайней мере, с этого момента я был оставлен в покое.

Не знаю, действовал ли Бобохов с согласия своей группы, в качестве делегата, или он обращался ко мне по собственной инициативе, но для меня было ясно, что дело шло об яде для всех участников предстоявшего протеста. Впрочем, ни Ив. Вас. Калюжный в беседах со мной во весь этот период и никто другой ни разу не поднимали этого вопроса, из чего я заключил, что Бобохов был ко мне делегирован или, во всяком случае, о результатах переговоров со мной доводил до сведения всей группы.

Наступило 12 ноября. Убитое, унылое состояние всех обитателей нашей тюрьмы бросалось в глаза даже и дежурным жандармам. Что-то явно происходит в тюрьме, недоступное их пониманию. Нам казалось, жандармы поняли, что до нас дошло известие о только-что происшедшем в женской тюрьме, и общечеловеческим чутьем они чувствовали, что что-то должно произойти еще, что и у нас это не может пройти бесследно, тюрьма не может не реагировать на такого рода чрезвычайные события, но чем может разрешиться это напряженное состояние—им оставалось неизвестным. Унылая молчаливость одних, сосредоточенная замкнутость в себе других, таинственные переговоры третьих не могли не броситься в глаза, и удивительно, что дежурные жандармы не приняли каких-либо, хотя бы самых простых мер, чтобы предупредить несчастье.

В половине этого дня ко мне пришел Иван Васильевич с очевидной целью проститься навсегда. Он был совершенно спокоен, даже радостен; его милые, всегда немного насмешливые глаза, смотрели весело, удовлетворенно, и, казалось, ничто не смущало эту душу, пришедшую к окончательному решению— перейти к небытию. Разговор, конечно не мог касаться чего-либо другого, помимо готовившегося самоотравления. Видя, как тяжело все это действует на окружающих, а в том числе и на меня, он старался, сколько мог, успокоить меня и на выраженное мною сожаление, что я не имею сил последовать его примеру, убедительно доказывал, какая была бы ошибка итти этим путем без достаточно сильного убеждения в его необходимости. Сам же он находится, по его словам, в исключительном положении, так как погибли уже две его личные привязанности в лице его жены и сестры, за которыми уже легко последовать и ему.

— Мне даже совестно перед другими,—говорил он мне, улыбаясь:—до такой степени мне одному так легко уйти от жизни.

Тяжелые минуты прощания не могли продолжаться долго, и оба, расстроенные до последней возможности, мы расстались. Спазмы подступали к моему горлу, я уткнулся в подушку и до вечера не поднимал головы.

Настал и вечер: прошла вечерняя поверка, и наступил трагический момент. Из соседней камеры, „Якутки“, где собралось большинство решившихся умереть, раздалось стройное пение, как сигнал, за которым должны последовать приемы приготовленного яда одновременно в других камерах.

Никто не спал в эту ночь в нашей камере, все вслушивались в происходящее по соседству. Я помню, в каком-то полузабытьи я следил за всяким шумом за ближайшей ко мне стеной, а там время от времени раздавались тихие шаги Маньковского, нашедшего в себе силы и решившегося ухаживать за умирающими, да изредка с обычным шумом и откашливанием снимался со своего места Козырев, чтобы пройти за печку к параше. В таком томительном ожидании прошла ночь при всеобщем молчании.

В нашей камере присоединились к протестующим Адриан Михайлов и Спандони. Но у меня совершенно не сохранилось в памяти: оставались ли они оба дома или уходили на эту ночь в соседнюю „Якутку“; вернее последнее.

С наступлением утра через смежное отверстие с „Якуткой“ мы узнали от Маньковского, что в этой камере все спокойно

спали всю ночь и никто из принявших яд не умер. Стало немного легче на душе, а вскоре нас уведомили, что и в других камерах случаев смерти не произошло. Миновала первая опасность, и по крайней мере стало неизвестно, решатся ли повторить этот неудавшийся опыт приговорившие себя к смерти, не наступит ли реакция в их настроении.

Как только прошла утренняя поверка и можно было выйти из камеры, я начал обход своих больных, в том числе и 16, принимавших яд. Большинство из них я встретил уже на ногах бодрствующими и, видимо, ненастроенными оставить мысль о новой попытке умереть. Было жаль и тяжело смотреть на некоторых из них: в их бодром спокойствии была видна решимость не отступать от раз принятого решения, а мне было особенно нелегко смотреть на Бобохова и Калюжного, в глазах которых, при всем их внешнем спокойствии, я видел тихую, ни перед чем не отступающую решимость; мне грезились в них уже признаки смерти и глубокое сожаление о неудаче первого опыта. В „Синедрионе" одевались после сна Нагорный и Пашковский, тоже тихие и спокойные. Только последний выразил мне свое неудовольствие, предполагая, очевидно, во мне причину неудачи, думая, что я, именно я и сознательно, дал всем такой яд, который мог их только усыпить на ночь без всяких других последствий.

— Это жестоко,—говорил он,—обмануть нас в такой момент и дать мало действующий яд.

Я не стал его разуверять в моей причастности к делу, но в глубине души был доволен неудачей, постигшей его, как и всех других. Бобохов, Калюжный, Кон, Михайлов и кое-кто еще держались в стороне и обсуждали возможность новой попытки; неудача не обезкуражила их, и они решили повторить попытку, не откладывая в долгий ящик, немедленно.

Снова день, полный тревоги, снова искание путей как-нибудь выйти из положения для большинства тюрьмы, а для группы отравляющихся—снова опасение, как бы не догадалось о происходящем начальство и какой-нибудь мерой не помешало их намерению. Ни Бобохов, ни кто другой больше не обращались ко мне за ядом; было ясно, что обошлись без моего участия. Желание большинства заключенных выйти из создавшегося положения было так велико, что кое-кто из публики высказался за невозможность дальнейшего пребывания в этой атмосфере смерти, что было бы лучше, если бы кто-нибудь из группы, хотя бы один человек действительно умер; это могло бы подействовать отрезвляющим образом на других и привело

бы к концу кошмар самоубийств. Близорукая точка зрения, как это будет ясно из последующего.

7. День 13 ноября.—Новое отравление.—Спандони.—Михайлов.—Болезнь Дейча.—Смерть Бобохова и Калюжного.—„Каукус".—Конец трагедии.

Наступил и вечер второго дня 13 ноября. Снова молчаливо мы разошлись по своим углам. Никому не приходила мысль заняться каким-либо делом, только Дейч и Стефанович в своем углу, противоположном от моего, строчили свои дневники. Мы вновь при гробовой тишине ожидали сигнального пения из „Якутки", которое не замедлило раздаться...

Отчетливо встает в памяти момент, когда оставшиеся на этот раз в своей камере А. Михайлов и Спандони, удалившись к своим койкам, на глазах у остальных 12 человек глотали свою отраву. Не прошло четверти часа после рокового пения в „Якутке", как мое внимание привлекли истерические рыдания, раздавшиеся с места Спандони. Я тотчас же бросился к нему и употребил все меры успокоения разволновавшегося и неутешно рыдавшего Спандони, в самый последний момент не нашедшего в себе силы на вторичную попытку лишить себя жизни. Я указывал ему, что при состоянии его здоровья, при его больном сердце нет никакой надобности напрасно мучить себя, что его нервный припадок есть прямое и естественное следствие насилования своей природы и что человеку не свойственно умирать по нескольку раз. Не могу помнить точно, как и чем я утешал измученного душевно и физически Афанасия Афанасьевича, но в конце концов мне это удалось, и я перешел к Адриану. Против моего ожидания он не только не спал, но, совершенно напротив, сон повидимому, от него, совсем отошел, зато он не мог пошевелить своими членами и лежал в какой-то истоме. В то же время он постоянно чувствовал какое-то раздражение в нервных кожных окончаниях, небольшой зуд кожи и указывал мне на эти места очень точными анатомическими терминами... У него, между прочим, я осведомился о том, что на этот раз в качестве отравы был употреблен чистый морфий, и это вселило во мне опасение, что на этот раз дело не обойдется без смерти. Посоветовавшись с ним и кое с кем другим из присутствующих, я решил имеющиеся у нас в аптеке яды немедленно уничтожить. Это было необходимо, во-первых, для того, чтобы не было повода думать, будто отсюда была взята отрава, и, во-вторых, чтобы не было

повода для обвинения со стороны высшего начальства нашей комендатуры в послаблении и непредусмотрительности. Словом, я забрал из шкафа все, что носило характер ядовитости, и часть просто выбросил в окно или в парашу, а другую часть, как, напр., мышьяк, что было бы опасно развеять по воздуху или растворить в жидкости, решил сжечь, что и исполнил в пространстве между стеной и печкой, где стояла параша и находилась вытяжная труба. При этом я предупредил публику, чтобы она на некоторое время воздержалась от посещения этого места. Однако же вскоре туда прошел Дейч, пробыл там довольно долгое время и, вероятно, надышался не вполне еще вышедшими следами паров мышьяка. Результатом именно этого обстоятельства, как я думал тогда и думаю сейчас, Дейчу сделалось дурно. Он почувствовал сильные боли в области живота с сильнейшей рвотой, при сильной слабости, неважном пульсе и т. д. Это сильно встревожило публику как в нашей камере, так и в „Якутке", откуда послышались взволнованные голоса с требованием объяснения причины происшедшего у нас волнения и шума. К счастью, все скоро прекратилось. Дейч понемногу пришел в нормальное состояние, а я провел остаток ночи около Михайлова и Спандони, хотя частью успокоенный тем, что оба они чувствовали себя сносно.

Но из переговоров через отверстие в стене, смежной с „Якуткой", под утро мы уже знали, что Бобохов и Калюжный, просыпавшиеся в течение ночи по нескольку раз, принимали новые и новые порции яда и довели себя до состояния полной безнадежности. Говорили, что сперва проснулся Бобохов и, чувствуя начало действия принятой им дозы, с радостным криком: „действует", подошел к столу, где стоял пузырек с морфием, глотнул его без всякой меры и кинулся в объятия Калюжного, тоже подкрепившего себя новой и значительной порцией яда.

Поутру, когда прошла поверка, я тотчас пошел в „Якутку". Мне было достаточно поверхностного взгляда на Бобохова и Калюжного, лежавших рядом на маленьких нарах камеры, чтобы видеть ясно, что все их жизненные счеты покончены. Не могу выразить душевной боли, охватившей меня при виде этой картины, спазмы сдавили горло и, стараясь скрыть свое волнение, я подошел к проснувшимся Волошенко и Санковскому. Указывая на Бобохова и Калюжного, Волошенко обратился ко мне:

— Что ж ты не приводишь их в чувство, не отваживаешься с ними?

Я безнадежно махнул рукой и, кажется, сказал, что морально не имел бы права на это.

— Ах, так!—отмахнулся Петро и протянул мне руку, чтобы я помог ему подняться с нар. Санковский бодро вскочил с своей постели и заявил в пространство: „Пока еще жив“.

Я подходил к только-что наполовину проснувшемуся Кону, лежавшему на тех же нарах, что и первые, и по его пульсу и зрачкам убедился, что и он вне опасности. На его вопрос об остальных я мог только указать на маленькие нары, назвать умирающих Бобохова и Калюжного и, волнуясь и торопясь, обходил остальных своих новых больных. С ними все обстояло благополучно. Теперь я вновь подошел к Бобохову и Калюжному. Они спали безнадежным глубоким сном, не реагируя ни на какое возбуждение, с безжизненными лицами, с твердым, очень редким пульсом, с сильно суженными зрачками и издавали редкие глубокие хрипы вместо дыхания. Глубокое коматозное состояние. Их дело было кончено, и дыхание их с каждым часом становилось реже и реже... Было ясно, что еще несколько часов, и их увезут от нас уже трупами. Эти два человека, наиболее настойчиво искавшие смерти, нашли свое успокоение, протестуя и борясь с диким произволом, и пали жертвой этой борьбы за человеческое достоинство, не утраченное и в арестантской обстановке [1].

---

[1] Иван Васильевич Калюжный охарактеризован мной выше, в главе „Процесс 17-ти“. Это был жизнерадостный, веселый и остроумный малый, один из самых симпатичных наших товарищей. С его живой общительностью и подвижным нравом уживалось серьезное отношение к разнообразным знаниям, изучению которых он часто предавался с необыкновенной энергией. Также энергично, в часы отдохновения, он отдавался и своим любимым развлечениям, забывая об окружающем, и всегда был любимым и веселым собеседником, душой общества. Рядом с этим нельзя было не видеть в нем глубокой убежденности и преданности общему делу, сопряженной с безграничной способностью к самопожертвованию, что он и доказал своей смертью. Сергей Николаевич Бобохов, в самом юном возрасте попавший в тюрьму и ссылку, не изведав жизни, с удивительной стойкостью сохранил в себе воспринятые взгляды и убеждения. Казалось, с годами он только больше укреплял их в себе, не утрачивая чистоты своего характера. Анархист по убеждениям, честно относящийся к людям и глубоко верящий в их самосовершенствование, он много работал над собой и своим образованием и умел вставить свое веское слово в спорах, живо затрогивающих его умственные интересы. Всегда ровный, тихий, вдумчивый человек, Бобохов умел поставить себя в такое положение, что не было человека в тюрьме, кто бы не относился к нему с уважением. Даже Стефанович, которого нельзя заподозрить в излишнем пристрастии к людям, писал о нем, а Дейч в своей книжке цитировал это место: „Бобохов — идеально честное, житейски наивное, непорочное существо. Бобоховы посылаются на землю как бы для того, чтобы наглядно удостоверить людей в возможности во-

Далее все пошло своим чередом. Я просил притти доктора Гурвича, чтобы, с одной стороны, констатировать смерть Бобохова и Калюжного и, с другой — помочь мне опорожнить пузырь у некоторых больных и принести нужный для этого катетер.

Вскоре явился и Масюков, окруженный свитой жандармов и солдат, и, стоя в дверях нашей камеры, униженно просил без сопротивления выдать ему аптечный шкаф; в то же время прерывающимся от волнения голосом он убеждал нас в своей непричастности ко всему происшедшему. Аптечка, не содержащая в себе теперь ничего вредоносного, была выдана ему невозбранно, и он удалился со своей свитой.

Заключение.

Наша общая тюремная драма на этом и закончилась. Казалось, что предположение некоторых из нас о том, что одна или две смерти товарищей создадут реакцию в настроении группы отравлявшихся и остановят эпидемию самоубийств, оправдалось. Жизнь понемногу начала приходить к норме. Последующие события — посещение тюрьмы начальником жандармского управления Плотто и прокурором и посещение губернатора Хорошкина с его успокоительной речью, говорящей, что наша жизнь „дорога" для правительства и пр., далее, сведения, полученные через коменданта Масюкова, об его скором переводе с Кары и, наконец, бумага, объявленная тем же Масюковым об отмене распоряжения о телесных наказаниях, — все это постепенно успокаивало наши нервы, жизнь брала свое, пережитое постепенно отходило на задний план, впечатления пережитого кошмара постепенно затирались, и, казалось, все кончилось тем, что на нашем кладбище прибавилось лиш-

---

площения божества. Будучи снисходительны к другим, сами они остаются людьми неизменной чистоты, как хрусталь, ничто скверное не в состоянии пристать к ним. И быть такими, каковы они, не стоит им ни малейших усилий. Их можно только встретить в передовых оппозиционных движениях. Иногда они „неудобны" своей доброй простотой, мягкой прямотой и идеальной прямолинейностью; иногда даже вредят практическим целям этих движений, но тем не менее они всегда остаются лучшею их красою". И Бобохов был искренно верующим в грядущее счастье человечества, для которого он не задумывался принести себя в жертву, что и отметил в своей посмертной записке, занесенной им карандашом на полях книги, последней книги, которую он держал в руках, приблизительно такого содержания: „Не теряйте бодрости, братья, боритесь за стоящие перед вами идеалы и верьте, что они наступят рано или поздно, как, умирая, верю и я".

них шесть могил... Спандони приступил по поручению группы к составлению биографий почивших товарищей, что, однакоже, по его собственному признанию, ему не удалось. Со своей стороны, П. Ф. Якубович по собственному почину сделал то же самое, и из-под его пера вылилось действительно прекрасное описание жизни и психологии двух незабвенных товарищей, которое, к сожалению, затерялось, не увидавши света.

Казалось, не может быть несчастья, которое не излечивалось бы временем и не побеждалось бы жизненными силами еще не совсем забитых, хотя и измученных людей. Только оставшиеся в живых протестанты заняли несколько обособленное положение группы интимно связанных между собой лиц, естественно не желавших делиться своими интересами и переживаниями с остальной публикой... Эта группа получила даже несколько ироническое наименование „каукуса". Остальному большинству тюрьмы казалось, что за окончанием всех пережитых за 15 месяцев тревог не могло быть причины для такого обособления; казалось, что с уничтожением для нас угрозы телесного наказания все заключенные стали в одинаковое положение, и не может быть более деления на участвовавших и не участвовавших в протесте смертью лиц. Если же такое обособление существует, то, следовательно, обособляющаяся группа лиц считает себя лучше, честнее, достойнее других по той или другой причине — отсюда некоторая ирония в слове „каукус".

И только теперь из слов Ф. Кона для меня, как и для большинства заинтересованных товарищей, наконец, открылись глаза на происходившее в тюрьме скрытно от всех непосвященных. Только теперь и я во всех деталях, а не по догадкам, знаю, что две смерти дорогих товарищей не заканчивали предпринятого протеста и, что, не приди своевременно бумага, окончательно ликвидировавшая вопрос о применении к нам телесного наказания, последовало бы еще не одно самоубийство...

По словам непосредственного участника описанных здесь фактов, дело происходило следующим образом. После смерти Бобохова и Калюжного, казалось бы, протест против злоупотреблений власти своей силой, борьба за свое человеческое достоинство у заключенных закончилась. Но на самом деле это было не так. Ведь, если и теперь не будут отменены репрессии, объявленные нам 26 ноября, в том числе и телесное наказание, значит, мы ничего не достигли. Очевидно, для лиц, до сих пор протестовавших своей смертью, дело нисколько

не изменилось, и они должны продолжать свой протест. Нельзя же допустить, чтобы администрация могла подумать, что какие-то бунтари попробовали бушевать и успокоились. Ясно, что необходимо продолжать этот протест-борьбу, и ясно также, что обязанность эта лежит на семи оставшихся еще живых протестантах. Ими решено было между собою, не посвящая в это решение всю тюрьму по понятным причинам, повторить отравление еще двум человекам, но не сейчас, а через пять месяцев — срок, в течение которого будет ясно отношение администрации к только-что пережитым фактам. Эту первую задачу взяли на себя Кон и Серг. Диковский, а еще через пять месяцев за ними должны были последовать еще двое и т. д. Естественно, что это мрачное, тяжелое решение должно было держаться в секрете, и отсюда некоторая обособленность этой группы лиц, некоторая „кружковщина", „каукус", о чем говорено выше.

Ясно, что трагедия Кары еще не была изжита, и ей предстояло бы пережить еще много горестных, тяжелых волнений, если бы власти не сдались как раз накануне истекшего пятимесячного срока и если бы у нас не была получена следующая телеграмма из Хабаровска от 5 декабря 1889 года на имя губернатора: „Прошу обратить внимание, во избежание недоразумений, что, по разъяснению министерства, телесному наказанию могут быть подвергаемы политические только из непривилегированных сословий и всякий раз с моего разрешения. Сообщите, что вызвало большую летом голодовку. Корф"[1].

Это обстоятельство закончило борьбу и успокоило тюрьмы.

Таким образом, Кон вскрыл таинственные для нас решения, странную обособленность небольшого числа оставшихся протестантов и сделал ясным до сих пор остававшееся непонятным их поведение... Последовательность их в роковом решении — во что бы то ни стало добиться отмены ужасного постановления—заслуживает величайшего уважения и не должна быть забыта и теперь по истечении стольких лет.

Мне остается немногим дополнить мое описаное карийской трагедии. Один из последовательных участников описанного протеста, Сергей Диковский, в одной из откровенных бесед со мной много позднее ноябрьских дней, говорил мне, какое тяжелое впечатление на всю их группу производил своим видом я; они ясно видели, что для меня было невыносимо решиться так активно способствовать их смерти, раз сам я не

---

[1] Там же, стр. 195.

принимаю в этом участия; поэтому они решили не мучить меня больше, оставить меня в покое, чем объясняется, что вслед за моим последним разговором с Бобоховым уже никто не обращался ко мне по вопросу о яде. Зато группа единогласно решила, по словам С. Диковского, если не подействует и новый яд (морфий), последовательно друг за другом прибегнуть к более простому средству — самоповешению. Какой ужас вселило это сообщение в мою душу, я предоставляю судить читателю.

Разве могло тогда дело ограничиться только двумя случаями смерти и разве можно не видеть в этих смертях спасения всех остальных? Я долго не мог успокоиться под влиянием этого сообщения и, понятно, каким ужасом веет на меня еще и сейчас от этого тяжелого воспоминания.

Что касается до неудачи, спасительной неудачи первого отравления (12 ноября), то оно было обусловлено следующим. Еще задолго до ноябрьских дней со стороны, от вольных торговцев, тюрьме было предложено купить несколько кусков китайского опиума в виде грубых укатанных комков, величиною в добрую репу каждый. Приобретение это забылось и припомнилось как раз ко дню, назначенному для первой попытки отравиться. Приготовлением яда, как мне говорили, занялся Адриан Михайлов, но он не нашел необходимым ни сделать какой-нибудь предварительный опыт с этим опиумом, чтобы убедиться в его силе, ни обратить внимание на то, что порции его были крайне недостаточны в виду возможных в нем посторонних примесей, и, наконец, самый опий не был превращен в мельчайший порошок, что было бы необходимо для быстрого и полного его усвоения. Все это обмануло принимавших яд и тем самым спасло многих. Морфий же, употребленный 13 ноября, как я думаю, был дан также в недостаточной дозе, в расчете на то, чтобы он не вызвал рвоты; он только крепко усыпил принявших его, и тем не дал им возможности повторить прием, который теперь после первого, даже в гораздо большем количестве, рвоты бы не вызвал, как это доказали результаты на Бобохове и Калюжном.

ГЛАВА VIII

С КАТОРГИ НА ПОСЕЛЕНИЕ

Мне было 35 лет, когда я вышел на поселение в Забайкальскую область.

Но прежде чем говорить о моих поселенческих годах, следует остановиться на периоде нашей жизни в „вольной команде".

После известной „карийской трагедии" 1889 года политические заключенные во всех правах были уравнены с уголовными. Это значило, что мы должны были подвергнуться всем тяготам и неприятностям, которым подчиняются уголовные арестанты в их повседневной жизни. Но простая справедливость требовала при этом, чтобы и все льготы уголовных также были применены к нам полностью. А это обстоятельство разделило нас на две далеко неравные половины. На долю долгосрочных 13 человек выпала вся тяжесть такого уравнения с уголовными: их [1] перевели в Акатуевскую тюрьму, на всех наложили цепи, заставили работать по-настоящему в шахтах рудника, перемешали в камерах с уголовными и пр. Остальные же, отбывшие половину срока „исправления", были выпущены в „вольную команду" на том же „Нижнем" промысле, где была наша тюрьма. Таким образом, для всех почти 30 человек[2] нашей тюрьмы эта мера — нивелировка с уго-

[1]. В Акатуевскую тюрьму были переведены как долгосрочные след. лица: Дзвонкевич, Диковский Моисей, Дулемба, Зунделевич, Иванов Павел, Левченко, Маньковский, Нагорный, Санковский, Спандони-Басманжи, Тищенко-Березнюк, Фомичев и Якубович.

[2] В вольную команду вышли: Бойченко, Волошенко, Дейч, Златопольский, Диковский Сергей, Козырев, Люри, Мартыновский, Мейер, Мирский, Михайлов, Пашковский, Попов, Прибылев, Преображенский, Рехневский, Старынкевич, Сухомлин, Фомин Алексей, Яцевич и женщины: Добрускина, Ивановская, Корба и Лешерн.

Кроме того, в этих же условиях уже жили вышедшие раньше: Давиденко, Зубржицкий, Красовский, Лозянов, Медведев-Фомин и Колтановский.

ловными — сказалась прямым облегчением участи, ибо жизнь в вольной команде считалась большой льготой, которой до сих пор наша тюрьма пользовалась только в размере $5^0/_0$ всех имевших право на нее.

В числе вышедших в команду был и я.

Здесь я вынужден сделать оговорку. В последующем описании как жизни в вольной команде, так и на поселении, всего на протяжении 15 лет, я пытаюсь восстановить в памяти все эпизоды, характеризующие эту жизнь. Память сохранила многое, но еще большее, вероятно, из нее выпало, оставив лишь слабую тень былого; сохранилось в памяти, конечно, больше всего то, что связано с моими собственными переживаниями, наиболее ярко уцелело в памяти то, что касалось непосредственно меня самого, и потому да не посетует читатель, если я слишком много, почти исключительно, в своем изложении говорю о себе. И пусть не подумает он, что мною руководит при этом желание занять его внимание исключительно моей особой. Совсем нет. Но я не мыслю другой возможности характеризовать долгую 15-летнюю жизнь людей моего круга иначе, как описывая подробно перипетии моей собственной жизни, попутно захватывая все, что прямо или косвенно соприкасалось с ней.

А. В ВОЛЬНОЙ КОМАНДЕ

1. На воле! — Отъезд акатуевцев. — Природа. — Занятия.

Итак, после долгого прозябания в тюремных стенах, мы на воле. Правда, воля эта значительно ограничена, пределы нашего передвижения не велики, с Нижнего промысла мы без особого разрешения отлучаться права не имеем, ежедневно два раза тюремные надзиратели-жандармы нас „проверяют“ и пр., но все же мы на воле и мы вправе располагать собой по собственному усмотрению, чему до сих пор так основательно препятствовало обязательное общежитие. Теперь каждый находит себе дело, каждый устраивается по своим склонностям и симпатиям. Впервые за много лет мы не мешаем друг другу, и каждый из нас предоставлен себе, может по желанию уединиться или пребывать среди той группы лиц, какая ему по душе и кажется ему ближе. Нет больше того тягостного, подневольного сожительства, столь утомительнаго еще так недавно.

Быстро образовалась своеобразная артель, в нее перенесены все главные параграфы тюремной неписанной конституции, так как в сущности, за небольшими исключениями, конституция тюрьмы автоматически была перенесена и на волю.

Первые шаги нашей вольной жизни были омрачены тяжелым сознанием участи 13 человек, отправляемых в Акатуй. Мрачными красками обрисовывалось для нас их будущее существование: непривычная работа в рудниках, совместная жизнь с уголовными, до нелепости строгий режим под управлением „Шестиглазого“ [1] — все это вместе взятое не могло обещать ничего хорошего. Тем тяжелее было для нас, как-никак уходящих на волю, отделяться от судьбы тех, с кем приходилось до сих пор делить все невзгоды общего существования. Эта разница в наших положениях ложилась на нас как-будто укором и доставила нам много тяжелых минут.

Отправка 13-ти предполагалась немедленно, но нам удалось добиться от коменданта права по крайней мере попрощаться с отъезжающими товарищами. Это свидание произошло в тюрьме, куда всех нас пустили ненадолго накануне выезда акатуевцев. И это тяжелое свидание, где со многими из товарищей мы попрощались навсегда, оставило в нас неизгладимо горестное впечатление.

Природа Забайкальской области восхитительна; здесь же, по течению речки Кары, красота местности исключительна. Не очень высокие горы — сопки, прихотливо сменяющиеся долинами — „падями“, так радуют глаза своим разнообразием, что мы, привыкшие к однотонности тюремных стен и „палей“, наслаждаемся с каждым шагом развертывающейся перед нашими глазами новой и новой картиной природы. Широкий простор полей сменяется или скалистым утесом, врезывающимся в течение речки, или зеленеющими холмами с цветущим багульником на их вершинах. Хороша особенно старая „разгильдеевская“ дорога, идущая с Нижнего промысла к Усть-Каре. Теперь от нее осталась только небольшая тропинка, но когда-то она широко строилась начальником каторги Разгильдеевым, этим легендарным зверем в человеческом образе, уморившим на ней немалые сотни подвластных ему уголовных каторжан. Теперь мы можем ходить по ней на вершинах сопок, любуясь и широтой горизонта и вековыми деревьями, а вечерами наш путь будет освещать бесчисленное множество светляков по обеим его сторонам.

---

[1] Якубович. „В мире отверженных“. — Начальник Акатуевской тюрьмы Архангельский фигурирует там под именем Шестиглазого.

Богатая сибирская флора, далеко оставляющая за собой европейскую, как-будто сосредоточила здесь все экземпляры цветов, обычно растущих по разным районам Сибири. На ряду с разноцветными, красивыми лилиями здесь можно найти и душистые ландыши, и изящные анемоны, и невинные швейцарские эдельвейсы.

Все это теперь наше, все для нас доступно, и до известных пределов мы вольны идти, куда хотим, группой или в одиночестве, смотря по желанию. Даже суровость климата нас не обескураживает, хотя предстоящая зима, мы знаем это, способна заморозить все живое и пугает нас своей продолжительностью. Но всегдашнее неизменное солнце на голубом небосклоне, прячущееся за тучи лишь в короткие промежутки летних гроз, смягчает впечатление даже трескучего мороза.

Но прежде чем восхищаться всей этой роскошью природы, мы должны были озаботиться своим устройством. Необходимо, следовательно, упомянуть об общих условиях нашей внетюремной жизни на первых порах.

Первая наша забота заключалась в размещении всех новых вольных жильцов. Немногих домиков, принадлежавших нашим старым вольнокомандцам, было недостаточно. Делу помогло начальство: оно предоставило в наше распоряжение три или четыре казенных дома, оставшихся свободными после ликвидации уголовной каторги в „Нижнем". В них разместилось большинство нашей публики, а кое-кто еще взял в наем отдельные комнаты у обывателей, и жилищный вопрос был скоро урегулирован.

Перед нами возникли новые вопросы.

Само собой понятно, что мы, еще не окончившие своих сроков каторжане, не могли быть уверены в том, что, сравненные в правах с уголовными, не будем привлечены к каким-либо обязательным работам. Этот вопрос довольно долго подвергался обсуждению, пока не выяснилось, наконец, что никаких работ на нас возложено не будет. Но лично мне и в вольной команде пришлось пребывать в исключительно благоприятных условиях, как признанному „врачу политических".

Мой прямой интерес побуждал меня пристроиться к работе в местном арестантском лазарете. Это давало мне возможность получить практическую школу, в своем роде клинику, где можно было бы не без пользы применить приобретенные за вре-

мя студенчества и за долгие годы тюрьмы теоретические познания. С другой стороны, это могло бы заменить обязательные работы в том случае, если таковые будут применены к нам, как это первоначально предполагалось. Доктор Гурвич, еще остававшийся в это время тюремным врачом на Каре, заявлял положительное желание привлечь меня к работе в лазарете, хлопотал об этом и усматривал во мне своего помощника. На первый раз он возложил на меня обязанности аптекаря при лазарете, так как штатный аптекарь Вульпес в это время уезжал в отпуск для лечения.

Итак, не без пользы для себя в течение месяца я был единственным аптекарем на Каре; в то же время я приглядывался к порядкам в самом лазарете и к методам лечения, правда, очень примитивным, проводимым доктором Гурвичем.

Через месяц по приезде Вульпеса, и особенно еще несколько позднее, после отъезда Гурвича и замены его доктором Кухтериным, я оставался почти единоличным хозяином всего лазарета на 100 кроватей, и, по крайной мере, в течение трех четвертей года не было ни одного скорбного листка, не написанного моей рукой. Но об этой стороне моей деятельности я буду еще говорить в связи с отношениями, установившимися у меня с докторами Кухтериным и Каменевым.

В наших новых условиях прежде всего было необходимо организовать общую артельную кухню. С этой задачей справились быстро, так как испытанные ранее повара были налицо, в помощники им пошли все по очереди, а кухню и столовую устроили в самом большом отданном нам начальством доме. Нашлись охотники, пожелавшие заняться уходом за скотом, которого оказалось на первых порах три головы: две коровы и одна лошадь. Труднее было организовать поставку для них сена, но и это вскоре устроилось, благодаря отданному в наше распоряжение покосу, куда отправлялись наиболее способные из нас и приспособленные к полевым работам. Кое-кто обязался ежедневно носить им пропитание, так как покос отстоял от нашего обиталища довольно далеко. Но это происходило уже в конце следующего лета, теперь же наступающая зима вынуждала подумать об организации другого, более насущного дела — заготовки дров. Но и с этим делом артель справилась, так как людей, сохранивших полностью свои силы, среди нас было достаточно.

Так, Лозянов, Яцевич, Давиденко, Бойченко и др. скоро сделались специалистами сперва по дровосечному, а потом по сенокосному делу. Это были, конечно, трудные работы, но и

они не были лишены особой прелести, привлекавшей к ним и других, более слабых физически лиц, как Волошенко, Майер, Михайлов, Батогов и пр.

Жизнь на лоне природы целыми неделями, особенно в хорошую погоду, в благоустроенных шалашах собственного изготовления была очаровательна и заманчива для всех, почему эти отдаленные от промысла и от жандармского надзора места работы охотно и часто посещались многими, особенно женщинами, в виде приятных прогулок на воздухе...

Сказать правду, наши работники не сразу оказались на высоте своего положения. Но необходимость работ, с одной стороны, соревнование — с другой, в результате выработали из них настоящих работников, способных удовлетворить самые строгие требования.

Наиболее трудным было дроворубное дело, но такие крепкие физически люди, как Лозянов и Яцевич, стоя во главе дроворубов, а за ними и другие исполняли взятые на себя обязанности с наилучшим успехом. Они сваливали большие лиственничные деревья и перерезали их на аршинные дрова, складывали в саженки, которые потом и развозились по домам.

2. П. Т. Лозянов.—Н. В. Яцевич.—И. Ф. Волошенко. Т. И. Пашковский.

Малое, но посильное участие на алтарь артельного благополучия прилагали по слабости сил и здоровья: Н. А. Люри, А. А. Фомин, И. Ф. Волошенко, Л. Г. Дейч, Т. И. Пашковский и Л. Ф. Мирский, и отчасти люди семейные: В. И. Сухомлин, Ф. Ю. Рехневский и А. Ф. Медведев-Фомин; у последних было достаточно хлопот по дому и семье.

Остальные, остававшиеся с нами до выхода на поселение очень короткий срок (С. Д. Диковский, Ф. Я. Кон и А. Н. Козырев), в отношении полезности для артели в расчет на принимались совсем.

Из всех перечисленных только-что лиц мое внимание останавливается на Лозянове, Яцевиче, Волошенко и Пашковском.

Павел Тимофеевич Лозянов, приземистый, крепкий человек, с хорошим басом, и потому неизменный участник нашего хора, был чудесный товарищ, всегда готовый на любую услугу всякому. Типичный семинарист по внешности, слегка угловатый, но крепко скроенный и сшитый, он был добродушнейшим существом, неизбежным собутыльником в нередких теперь попойках и в то же время вдумчивым, морально креп-

ким и стойким в своих основных воззрениях. В 1879 г. он участвовал в предприятиях М. Р. Попова в Киеве, вместе с ним судился, получил 14 лет каторжных работ и отбывал их на Каре. В вольную команду он вышел много раньше нас и тюремную трагедию 1889 года переживал на воле, тщательно исполняя все поручения тюрьмы, пещась о ее нуждах и интересах. В конце 1892 года Лозянов был отправлен на поселение в Якутскую область, и в 1903 году умер в Якутске.

Николай Васильевич Яцевич, попавший на каторгу почти несовершеннолетним юношей, так усидчиво, так много занимался своим образованием, так основательно использовал для этого тюремное пребывание, что в конце концов мог бы считаться одним из самых образованных и знающих людей в России. Его исключительно выдающиеся способности поражали каждого, кто приходил с ним в соприкосновение; не даром, по свидетельству его сопроцессника, еще по пути из Харькова в Сибирь, при встрече с ним одного опального русского литератора, он поразил его до такой степени, что тот невольно воскликнул: „Какой гениальный этот юноша!“ [1]. Главной специальностью Яцевича на Каре была философия, но он не игнорировал и другие области науки, как история, социология, экономика и пр. С знанием, умом, памятью и находчивостью он сочетал привлекательную внешность, ровный, терпимый и сдержанный характер, что и делало его всегдашним советником в трудные минуты жизни в тюрьме, и редко бывало, чтобы его веское слово не являлось выражением мнения если не всех, то огромного большинства. Если бы Николаю Васильевичу было суждено жить долго, это был бы неоценимый сотрудник в строительстве жизни родины, которую он так любил, нелицеприятный советник в трудных моментах, выпавших на ее долю. К сожалению, очень частая болезнь русских выдающихся людей рано и быстро свела его в могилу. Теперь здесь, в вольной команде, Яцевич отдался физическому труду, утомленный книгой, философией и беспрерывным отвлеченным умствованием. В 900 годах, после поселения в Забайкальской области, Яцевич вернулся на родину, но прожил недолго и умер, не дождавшись победы освободительного движения.

Несомненно сильной, колоритной фигурой нашей кампании был Волошенко, Иннокентий Федорович, близкими его товарищами называвшийся по старой кличке „Петро“. Хотя он и

---

[1] В. С. Ефремов. Маленькое дело.—«Былое», 1907 год, кн. V. Отзыв о Яцевиче С. Н. Южакова.

был уже с расстроенным тюрьмами здоровьем, но по справедливости считался очень дельным, способным к широкой инициативе человеком. Отличаясь метким остроумием и находчивостью, он был необыкновенно горяч в спорах, всегда остроумен, подчас насмешлив, великолепный диалектик, владеющий софизмами и парадоксами, часто приводящими в тупик его собеседников. Петро был большой умница, теперь уже отчасти забросивший книгу, но в свое время большой эрудит, умеющий пользоваться и сейчас своими знаниями. Как представитель старого, уже отжившего течения в движении, он не прочь сейчас воспринять новое направление и вложить в него многое свое, к чему его влечет его сознание. Он пользуется несомненным уважением окружающих, и к его словам всегда прислушиваются с особым интересом, ибо, кроме присущего ему остроумия и горячности, от него всегда услышат хоть и резкое, но правдивое слово, хоть и острую, но справедливую оценку момента. Кроме того, он был олицетворением непреложности пути к достижению целей, стоящих перед освободительным движением, и никогда не отступал от поставленной задачи перед самым трудным и тернистым путем. Тюрьма расшатала его здоровье, и больной, малосильный физически, Волошенко не был в состоянии взять на себя какой-нибудь ответственный труд, но тут и там он всегда и с готовностью шел на помощь во всякой работе, и из его физических усилий все-таки получалась кое-какая польза. Зато он незаменим в дружеских собеседованиях, и никогда ни одно собрание не обходилось без него. Окончив свои сроки каторги и поселения, он в 1903 году выехал в Россию уже настолько слабым и больным, что не мог принять участия во вновь возникшем симпатичном ему движении, и в 1908 году скончался.

Тит Ильич Пашковский, несмотря на недостаточность своего общего образования, на малое отношение и связь с русской революцией, как поляк, представлял собою вполне положительный тип революционера, не отступающего от раз начертанного пути, до конца преследующего свою цель, энергичного и стойкого борца. Мне уже пришлось говорить о нем раньше [1], притом в таком тяжелом периоде его жизни, в такой мрачной обстановке, где лучше всего сказывались его мужество и решительность. Пашковский, несомненно, сознательно принимал участие в деле 1 марта 1887 г. и тем заработал себе 10-летнюю каторгу. Высокий, статный, красивый малый,

---

[1] В главе „Карийская трагедия“.

он был очень флегматичен и, как часто бывает с этой породой людей, был очень привязчив и в своих привязанностях постоянен. Это он и доказал своей смертью, будучи уже на поселении: он застрелился в 1894 г., как говорят, узнавши о крушении надежд на свое личное счастье.

3. Я. И. Зубржицкий. — Вл. Красовский.

Несколько человек из нас были совершенно в стороне от артельных работ по разным причинам. В большинстве это были лица, на которых были возложены иные, тоже необходимые для артели обязанности, как, напр., Красовский, или освобожденные от них по болезни, или, наконец, отмежевавшиеся от артели по тому или иному поводу.

В числе этих последних был Ян Иванович (Фаддеевич) Зубржицкий, оторвавшийся от нашей артели в виду его эксплоататорских наклонностей. Он занялся смолокурением, получил какой-то подряд, нанял рабочих и устроил небольшое смолокуренное заведение. Вполне понятно, что ригоризм товарищей, в сущности, склонных одобрить всякую инициативу, чего бы она ни касалась, никак не мог примириться с наемным трудом, в основе которого всегда заметна тенденция к наживе на чужой счет. Ведь это тоже выжимание „прибавочной стоимости“, и... Ян Иванович попал под бойкот.

Правду говоря, не это одно было причиной такого бойкота Зубржицкого. Он был своеобразного типа человеком. Жмудин по происхождению, рабочий по профессии, хотя и довольно способный, но совсем мало образованный, он возомнил внезапно о своих талантах так много, что ко всему окружающему относился, если не свысока, то очень пренебрежительно. За долгие годы тюремной жизни он без какой-либо системы бросался на чтение любой книги, хватал верхушки ее и тотчас же проявлял себя пропагандой вычитанной, но неправильно понятой идеи. Так, использовав историю наполеоновских войн, он бросал без стеснения в публику исторические реплики, часто перепутывая события, противореча самому себе и с жаром отстаивая свои мнения. Немало анекдотов сохранилось в памяти карийцев, источником которых было невежество Зубржицкого.

Не обладая высокими нравственными качествами, не признающий интеллигенции, Зубржицкий, естественно, должен был держаться в стороне и отойти от общей артели. Однакоже он сохранил в себе настолько мужества и стойкости, что и

в тяжелый период репрессий над Карой не поддался искушению и не присоединил своего имени к списку „колонистов". В конце 1892 года Зубржицкий вышел на поселение в Якутскую область, где и умер уже в близкие к нам дни.

Совсем другим человеком был Владислав Красовский—Красусский, как его обычно называли. Это такой же рабочий, как и Ян Иванович, но он единолично занимался слесарным ремеслом, лудил кастрюли, чинил самовары и делал много полезных вещей для обывателей и для товарищей. У него не было склонности к наживе, к прибавочной стоимости и пр. Это честный рабочий, не менее способный, чем Ян Иванович, и так же, как последний, он мог бы заняться выгодным для него предприятием при помощи наемного труда; но ему претило и рабство рабочего, и хозяйничанье, и он предпочитал быть хозяином одного себя. Польский рабочий на Юге России, Красовский, пережив идеалистический период революционной деятельности, уже сознательно подходил к изменению тактики, в сторону политической борьбы. Вместе с Гобстом и Предтеченским он предпринял изготовление взрывчатых снарядов, что для одного из них кончилось виселицей (Гобст) и продолжительной каторгой для остальных. В тюрьме Красовский, сколько мог, старался пополнить свое образование более или менее систематическим чтением; он всегда оставался самим собою, скромным тружеником, добрым товарищем и продолжал иногда под веселую руку забавлять окружающих пением своей излюбленной песни: „За Неман! за Неман!" — поскольку это позволял ему утраченный уже голос. Впоследствии, по выходе на поселение, он подыскал себе место по своей специальности, что-то в роде механика на водокачке одной из станций Забайкальской жел. дороги, где, повидимому, и провел остаток своей жизни, никому не кланяясь и ни от кого не завися.

4. „Ванечки" — И. Ю. Старынкевич и С. И. Мартыновский.

Темп нашей вольнокомандской жизни рознился значительно от тюремного. Оно и понятно: нет вынужденного общежития, когда некуда было уйти от чрезмерно примелькавшихся и надоевших сожителей. Общия собрания первых дней, собрания, похожие на веселые вечера, не лишенные давно запретной выпивки, скоро прошли. Люди стали озабочиваться своим устройством, применять свои силы к какому-нибудь делу, организовывать предприятия или работать в одиночку. Не стало

слышно былых горячих дебатов, не поднималось споров по поводу выеденного яйца—явных признаков избытка свободного, незанятого времени. Теперь, наоборот, каждый из нас чем-либо занят, к чему-нибудь пристраивает свои силы, и, что называется, „убивать время“ нам не приходится.

Жизнь в тюрьме нередко обусловливает возникновение тесной дружбы между отдельными лицами или группами их. Сходство характеров и темпераментов, иногда единомыслие в возникавших вопросах или общий тюремный интерес связывают отдельных лиц между собой, что потом на протяжении более или менее долгого времени часто переходит в тесную дружбу. Такая группировка, возникшая в тюрьме, была перенесена и в вольную команду.

Вот, например, наши „Ванечки“—Старынкевич и Мартыновский. Они, устроившись при доме, где можно было завести маленькое хозяйство, приобрели себе сперва одну, а потом и другую лошадь и занялись, как говорили наши острословы, „извозом“,—в действительности же, утомленные многолетним книгоядением в тюрьме, решили временно предаться свободной жизни на лоне природы. А что может способствовать этому больше, чем собственные лошади, собственный „выезд“! К тому же этот выезд оказался чрезвычайно полезным для общего хозяйства артели в ближайшее же время.

Иван Юльевич Старынкевич, без преувеличения можно сказать, был любимцем всей тюрьмы. И сейчас он был живым, экспансивным, жизнерадостным юношей, каким 10 лет назад он вступил в тюрьму. С привлекательной внешностью он соединял открытый, прямой, честный характер, обладал душой, склонной всегда отзываться на всякий запрос со стороны его подневольных товарищей. Всегда веселый, подчас беспечный „Ванечка“ был очень умен и потому нередко являлся неизбежным арбитром в возникавших конфликтах с начальством, а иногда и во внутренней тюремной среде. Продолжительные тюремные годы он использовал для саморазвития наилучшим образом, очень много читал по истории, экономике и обществоведению и обладал недюжинным даром слова, что делало его как теперь, так и впоследствии на воле очень влиятельным человеком. Прямота и непреклонность были основными чертами его характера, и, ставши смолоду революционером и народовольцем, он остался таковым до конца своей жизни. Известно, что, еще будучи студентом 1-го курса в Москве, всего восемнадцати лет, он взял на себя вину своего младшего брата, попавшегося с прокламациями, и, гордо, вызыва-

юще державшись на процессе, получил 20-летнюю каторгу. Известно далее, что на пространстве всей своей жизни, вплоть до смерти от истощения в 1920 г., он ни на один шаг не отступал от основных принципов своего миропонимания, сложившегося в нем с юности и укрепившегося за годы тюрьмы и ссылки. Бедный, дорогой Ванечка! В нем погибла крупная индивидуальность, одаренная большими умственными силами, в иных условиях жизни способная быть полезной на любом поприще, а его обаятельные моральные свойства оставили в памяти каждого, его знавшего, незабвенный милый образ дорогого товарища...

Сергей Иванович Мартыновский, неразлучный друг Старынкевича и потому идущий под общей рубрикой „Ванечки", составлял по своему характеру и внешним его проявлениям совершенную противоположность своему другу. Сосредоточенный и молчаливый, решительный и стойкий, Сергей Иванович много работал над собой со времени заключения еще на каторжном положении в крепости, а потом и на Каре; любовь к книге и связала его тесной дружбой с Старынкевичем, с которым они и работали совместно, помогая друг другу и друг друга пополняя.

Многие, многие годы однообразной жизни исключительно умственного труда, в котором надо было топить все порывы молодости и душить темперамент, наконец, прошли и выход на волю позволил им обоим отойти, отдохнуть на время от книги и расправить затекшие члены на вольном воздухе в полезной физической работе. Вот чем объясняется стремление этой пары обзавестись своим хозяйством и зажить отчасти особой жизнью.

5. Проезд наследника.—Таинственное путешествие на Усть-Кару.

В начале лета 1891 г. нас начал волновать один неожиданный вопрос. Предстоял проезд мимо Усть-Кары из кругосветного путешествия наследника русского престола, впоследствии царя Николая II. Наше непосредственное начальство, бывший смотритель карийской тюрьмы Николай Феофанович Пахоруков, и все другие уверяли нас, что обстоятельство это никоим образом касаться нас не может. Вполне уверенные в этом, мы не представляли себе возможности какого-нибудь внезапного нарушения обычной нашей жизни, как вдруг на Усть-Кару наехало все областное начальство: губернатор об-

ласти со всем своим штатом и все тюремное начальство с новым заведующим нашей и акатуевской каторгой—подполковником Томилиным во главе. Имелось в виду подготовить прием наследника на Усть-Карийской пристани и обезопасить его дальнейший проезд.

Не могу не отметить здесь небольшой эпизод, происшедший лично со мной, показывающий, до какой степени все же был слаб надзор за нами в условиях далекой сибирской жизни. На Усть-Каре в качестве сторожила жил купец Рифман, по прозвищу Дагинский. Купец этот очень благоволил нам, всегда нас кредитовал по нужде и исполнял всякие наши поручения. Сам он занимался тайной скупкой золота у хищников (тайных искателей золота), расплачиваясь с ними по преимуществу спиртом, и горной полиции никогда не удавалось поймать его на месте преступления. Как раз во время только-что указанного начальственного съезда на Усть-Каре паралич разбил старика-отца этого Рифмана. Необходимо было оказать ему врачебную помощь; между тем официальной медицине эта семья не доверяла и охотнее обратилась бы к какому-нибудь ламе, если бы таковой оказался на лицо. Им пришло в голову обратиться ко мне. Удивляться этому было нечего, так как престиж „политических врачей" был проложен незадолго до этого бескорыстной и чрезвычайно полезной деятельностью доктора Веймара, погибшего тут же на Каре в период его самоотверженной работы пять лет тому назад. Да и мне самому как за время пребывания в тюрьме, так и в вольной команде удалось уже завоевать симпатию моих многочисленных пациентов. Итак, Рифману вздумалось призвать на помощь меня. С этой целью они обратились к губернатору и Томилину с просьбой позволить мне выехать в Усть-Кару, но получили категорический отказ. Тогда они решили поступить иначе. И вот однажды вечером ко мне заявился родственник Рифмана, фельдшер Фейгин, и просил поехать с ним на Усть-Кару, чтобы оказать пособие больному старику. Узнав, в чем дело, я пытался объяснить посланному, что моя поездка бесцельна, серьезной помощи больному я оказать не могу, что, наконец, он сам—толковый фельдшер и может выполнить без меня все, что в этом случае можно сделать. Но все мои доводы разбивались о простое соображение посланца, что мое путешествие необходимо, хотя бы для успокоения растерявшихся родных больного, и это соображение заставило меня согласиться на поездку.

— Я привел вам чудного иноходца, на котором сам Рифман не раз спасался от погони за ним горной полиции, — говорил

мне этот посланец Рифмана,—и мы меньше чем в час доедем до Усть-Кары, вы пробудете у нас с часок, на том же коне вернетесь и раньше, чем к утру, будете дома. Таким образом, начальство и не узнает о вашей поездке, — убеждал меня этот человек.

Это таинственное путешествие в хорошую теплую ночь прельщало меня самого, еще не забывшего постоянной тюремной неподвижности, и мы отправились и совершили ее беспрепятственно.

Возвращаюсь к эпизоду проезда наследника. Спокойствие наше в виду этого проезда однакоже было непродолжительно. Как только наследник стал подъезжать к Усть-Каре, нас всех с свободными женами и детьми собрали в одну кучу, отвели в пустую уголовную тюрьму и заперли в ней, уверяя, что такой арест не протянется больше одного дня. На деле же вышло другое: мы просидели всей гурьбой в этой позабытой тюрьме целую неделю, предоставляя свое тело неисчислимому количеству изголодавшихся и высохших до степени носящейся по воздуху пыли клопов. Такого количества этой нечисти мы не видали, несмотря на весь предшествовавший опыт. Некоторое спасение мы нашли в том, что тюрьма не запиралась, и большинство из нас жило на тюремном дворе... Однакож присущая нам всем жизнерадостность с значительным оттенком юмора сделала то, что даже и этот исключительный клоповник, куда нас заперли во славу будущего императора, не приводил нас в смущение. Мы беседовали на всевозможные темы, часто читали что-нибудь вслух, спорили, смеялись, даже играли в шахматы и пр. или обсуждали новые хозяйственные предприятия.

Так безмятежно и закончилось наше сидение.

6. Врачи Кухтерин и Каменев. — Приют арестантских детей. — Заведующий каторгой Томилин.

О самом себе много говорить мне бы не хотелось. Однакоже я должен упомянуть, что мои официальные занятия и обязанности избавляли меня от физического труда почти совершенно. Работа в лазарете отнимала у меня половину дня, а после этого мне приходилось бегать по больным товарищам и обывателям. Такая практика постепенно развивалась, и это ставило меня, в сущности бесправного, как бездипломного, врача, в натянутые отношения с официальным доктором. Таких докторов после отъезда доктора Гурвича у нас было

два: Кухтерин, старший врач, заведующий всем лазаретом, и его помощник Каменев, в ведении которого был „Отряд“ — небольшое отделение лазарета специально для солдат. Именно доктор Кухтерин смотрел на меня косо, особенно вначале, но поделать со мной ничего не мог. Но и он кончил тем, что, разрушив лазарет и переведя его остаток на Усть-Кару, уже к концу моего пребывания в вольной команде вызвал меня же полечить его жену, да еще вместе с моей, тоже неофициальной, акушеркой. Таковой была П. С. Ивановская, нередко помогавшая мне во многих случаях.

До какой степени оба наши врачи были малосведущи, показывает один факт, резко врезавшийся в мою память. На „Отряде“ у доктора Каменева уже недели две был тяжело болен один солдатик. Призванный на консультацию Кухтерин спросил меня, не найдется ли у нас такого аппарата, которым было бы можно выкачать гной из нарыва без доступа воздуха. Я указал ему на прибор Дьёляфуа, который мог бы, по моему мнению, удовлетворить этому требованию. Забравши инструмент (троакары со шприцем), Кухтерин уехал и на другой день объявил мне, что ни он, ни Каменев, ни фельдшер при всем напряжении сил не могли проколоть нарыв троакаром прибора. Я в категорической форме выразил Кухтерину свое полное недоумение и утверждал, что таким инструментом можно было бы проколоть человека насквозь. Кухтерин рассердился и предложил мне поехать с ним и попытаться оперировать больного, отчего я и не думал отказываться. По приезде на „Отряд“ мы трое отправились в палату к больному и нашли его очень истощенным, с высокой температурой и с огромным нарывом на левом боку от подмышечной области до тазобедренного сустава, притом очень поверхностным, под кожей. Достаточно было захватить складку кожи и проколоть ее, чтобы огромное количество гноя вылилось через это отверстие. Не было никакой надобности ни в троакаре, ни в каком другом инструменте, кроме простого ножа. Сконфуженные доктора молча ушли на квартиру к рюмке водки, а я, очистивши больного, пришел к ним, когда их завтрак был уже закончен.

— Ну, хирург! — встретил меня добродушный Каменев, — выпьем после трудов!

Так и кончился эпизод с этим больным, и я до сих пор не понимаю, что и где кололи троакаром наши доктора.

Можно было бы рассказать много эпизодов чисто анекдотического характера о наших докторах, и вполне понятно, что внешне приличные и даже чуть не товарищеские отноше-

ния с Кухтериным не были лишены с его стороны некоторой неискренности. Не хочу глубже вдаваться в анализ его отношений ко мне и моим товарищам, ведь и он когда-то в дни молодости не был чужд политическим увлечениям и даже был отмечен в анналах Департамента полиции. Совсем не то представлял собой доктор Каменев. Это был простой, открытый и, я бы сказал, симпатичный человек, если б его не съедало слишком излишнее пристрастие к искусственному возбуждению алкоголем. Оно убило в нем и волю, и душу, и знания и лишало его способности сосредоточиться на деле. Только временами в нем просыпалось сознание погибающей жизни, он возвращался тогда мыслью к забытой медицине и становился милым, хотя и жалким человеком.

Много внимания и хлопот потребовал от меня приют арестантских детей, которому ни один из докторов не хотел уделить частицу времени. И случилось следующее: летом 1891 г. воинский начальник полковник Сухомлинов не мог выбрать лучшего места под лагерь как бывшее кладбище Разгильдеева.

Выше я говорил уже, что в былое время этим Разгильдеевым были погублены сотни арестантов, умерших от побоев и от голодного тифа. Понятно, что раскопки под лагерь такого кладбища вскрыли всю нечисть, до сих пор похороненную, хоть неглубоко, в земле. Появились заболевания брюшным тифом. Приют, расположенный у устья небольшого ручья, принимавшего сток воды из лагеря, не избег заражения, и 20% детишек переболело тифом. Все они были на моем исключительном попечении, что в конце концов вызвало со стороны приюта желание чем-нибудь меня отблагодарить в виду моего скорого отъезда. С соизволения своего непосредственного начальства приют торжественно преподнес мне подарок с соответственной надписью („В благодарность за лечение детей").

Но в эпизоде этом не безынтересно отношение к нам заведующего нашей и акатуевской каторги полковника Томилина. В каждый свой приезд на Кару он считал себя обязанным побеседовать с нами. Это был гвардейский офицер, повидимому, не лишенный образования, неглупый, а главное, совсем незлой, даже добродушный человек, старавшийся избавить нас от излишних неприятностей репрессивного характера. Надо думать, что только в силу материальных невзгод Томилин пошел на эту полицейскую службу, так мало было в нем соответствующих этой службе навыков. Итак, приезжая на Нижний промы-

сел, он всегда собирал нас в кучу и довольно добродушно с нами беседовал. При мне это повторялось раза 4 или 5. Беседа начиналась с вопроса, нет ли у нас каких-либо жалоб и просьб, и так как таковых никогда не оказывалось, Томилин начинал посвящать нас в дела своего управления, в надежде улучшения нашей и особенно акатуевской жизни, и пр. В конце же своей речи он неизбежно обращался ко мне и заявлял, что моя работа в лазарете ни в коем случае не останется без вознаграждения. На мое заявление, что я об этом меньше всего думаю и работаю исключительно по своей доброй воле, без всякой мысли о вознаграждении, он всегда прибавлял: „Нет, всякая работа должна быть оплачена, и я хлопочу об этом". Так как эти хлопоты Томилина ни к чему не приводили, то вполне понятно, что просьба заведующей приютом о выражении мне признательности за попечение о детишках нашла в нем живое сочувствие, и он разрешил ей выразить эту признательность фактом, в сущности, не имевшим еще примера в жизни ссыльно-каторжных. Они оба сожалели только, что не могли располагать подарком более ценным.

В дальнейшем хлопоты Томилина закончились для него неожиданным афронтом. В один прекрасный день, уже почти накануне моего отъезда на поселение, мы узнаем, что в официальном приказе губернатора был сделан выговор Томилину за его неуместные ходатайства о ссыльно-каторжных. Но надо отдать справедливость Томилину, его этот выговор отнюдь не обескуражил, он пустил тогда в ход все свои личные связи и знакомства и добился того, чтобы местом моего поселения была назначена не Якутская область, как это практиковалось обыкновенно, а Забайкальская; кроме того, по его же настоянию, немедленно по выходе на поселение я был даже определен на службу.

7. Несколько эпизодов из медицинской практики.

Здесь не будет лишним прибавить несколько эпизодов из моей врачебной практики. Еще будучи в тюрьме и работая совместно с доктором Веймаром и под его руководством, я после его смерти был вынужден взять его дело в свои руки. И тогда дело не ограничивалось только тюрьмой и моими товарищами, мне нередко приходилось выходить из нашего жилища для пользования кого-нибудь из начальства (смотритель и его присные, сам комендант) и часто по вызову товарищей-

вольнокомандцев, которые иногда доставляли мне и частную практику от обывателей, конечно, конспиративно. Тепер же на воле, кроме лазаретной деятельности, ко мне повалили больные со всех сторон. Этому значительно способствовала довольно плохая репутация врачей Кухтерина и Каменева, частью обрисованных мною выше. Эти люди—или чиновники в полном смысле этого слова или как доктор Каменев, горький пьяница, утративший всякое представление о медицине. Они не могли внушить уважения и веры в себя своим пациентам, и эти последние предпочитали обращаться в старое время к Веймару, а теперь ко мне. Таким образом, при всем моем сознании недостаточности моей практической подготовки, мне пришлось взять на себя эту трудную задачу, которая часто ложилась на мои плечи непосильным бременем.

Волнуясь и мучаясь за своих тяжелых больных, я не мог не сознавать, что, будь я более вооружен должными знаниями, я мог бы, быть может, найти наилучшие мероприятия для борьбы с тяжелыми заболеваниями, чем те, какими вынужден сейчас ограничиваться. И я думал дни и ночи, выискивая в памяти, а часто и в книгах, новые и новые комбинации средств, чтобы как-нибудь выручить больного, вырвать его из когтей смерти... Но, к счастью, очень тяжелых случаев со смертельным исходом у меня было немного, сколько помню, всего два: жена одного тюремного надзирателя с чрезвычайно тяжелой формой воспаления легкого (крупозное), умершая почти внезапно на третий день болезни, и одна старушка, также умершая внезапно, через три дня после моего осмотра, от причины, так и оставшейся неизвестной; но и в этих случаях я имел некоторое моральное право успокоить себя: в первом случае потому, что весь критический день для больной я должен был провести не дома, а в 15 верстах на Усть-Каре, приглашенный же Кухтерин ограничился приказом обтереть больную спиртом и только. „Как мы ее вытерли, так она и захрипела и отдала душу богу“,—говорила мне мать больной. Во втором случае у больной старушки я констатировал только небольшую флегмону на ноге, ничем решительно не угрожавшую, а дня через 4—5 я узнал, что она внезапно умерла.

Вся остальная моя практика шла очень благополучно и нередко доставляла мне удовольствие и самоудовлетворение. Помню случай с Витей Бенедиктовичем, мальчиком лет 4—5. Его отец пришел ко мне, когда Витя был болен уже недели две и лечился у своего медицинскаго штата. Бенедиктович служил на горном кабинетском прииске на Среднем промысле в

4 верстах от нашего поселка. Изверившись в методах лечения своих эскулапов (два местных фельдшера и один наезд издалека приискового врача), отец Вити решил обратиться ко мне. Я застал больного в тяжелом состоянии, с высокой температурой и с обоюдосторонним воспалением легких. Никакие рекомендованные кем бы то ни было средства не помогали мальчику: он температурил, дышал тяжело и был почти без сознания. Я повторил и проделал все, что говорили мои книги и мой малый опыт, но какого-либо изменения в ходе болезни не добился. 5—6 дней я ходил к нему и повсюду встречал только недоумевающие взоры родных мальчика и иронические улыбки приискового фельдшера. „Вы все еще мучаетесь с ним? Напрасно! Все равно умрет", говорил он мне при встрече. Но однажды в старой знаменитой газете „Врач" (проф. Манасеина) я наткнулся на удивительное сообщение об излечении подобного же больного ледяными ваннами. Я предложил испробовать это крайнее средство отцу мальчика и нашел с его стороны полное сочувствие моему предложению. Говоря правду, положение было настолько критическим, что надежд на выздоровление сына он уже не питал никаких и охотно шел на все, что бы ему ни было предложено. С большой сердечной тревогой и с неописуемой жалостью к больному мы с его отцом окунули мальчика в ледяную воду, не обращая внимания на мольбы бабушки не мучить мальчика, дать умереть ему спокойно. С замиранием сердца я ждал на другой день результатов моего героического приема и в глубине души не надеялся на благополучный исход. Какова же была наша общая радость, когда оказалось, что температура больного сразу упала, и он стал быстро поправляться. Через какой-нибудь месяц Витя Бенедиктович со своим отцом с гордостью приехали ко мне специально показаться, а еще через несколько времени я получил в подарок его фотографическую карточку, долго после того хранившуюся у меня.

Однажды я был поставлен в большое затруднение. В 30 верстах от нас, в деревне Шилкинский Завод, была у меня пациентка, маленькая Милица Смирнова. Меня не раз возили туда без особого разрешения со стороны начальства, которое, конечно, знало об этом, но предпочитало молчать и не препятствовать моим отлучкам.

В один из таких заездов, покончив с пустячным заболеванием Милицы, я уже собирался домой, как хозяин дома заявил мне, что на кухне меня ждет еще больная. Оказалось, что эта почтенная женщина уже с неделю тому назад вывих-

нула себе руку в плече и местный фельдшер вправить ее не сумел. Предстояло мне испробовать здесь мои силы и уменье. Теоретически понимая механизм вывихов, я однакож никогда не имел с ними дела практически. Поэтому понятно, как меня испугало это предложение, да сделанное еще в такой форме, которая никак не допускала и мысли о том, что я-то не смогу справиться с этой задачей. — „Она только и ждет политического доктора, — сказали мне, — потому и не ехала никуда". Мое положение было не из приятных, но делать было нечего, надо было приступать к делу. Признаться сказать, я больше думал в этот момент не о том, как я буду вправлять вывих, а о том, куда мне ее для этого направить и как объяснить мой неуспех. Но меня несколько успокаивало присутствие в квартире моих хозяев случайно заехавшего к ним фельдшера Размахнина. Не то, чтобы я надеялся на его знания или ловкость, а просто при виде этого здорового, молодого парня предположил, что у него будет достаточно сил оттянуть больную руку, сколько надо, чтобы вправить вывих. В надежде на это мы и пошли с ним к больной. Довольно истощенная, еще не старая женщина жалуется на вывих в плече уже больше недели назад, который лишает ее возможности работать и вызывает страшную боль. Осмотрев больную, я заставляю Размахнина тянуть изо всей силы руку вниз, а сам пытаюсь вправить головку плеча на ее место. Я вижу, как напрягает силы Размахнин, как он краснеет от усилий, а плечо у нас все ни с места. Три-четыре раза повторенный прием не приводит к желаемой цели. Начинаем совещаться, какой прием употребить еще; думаем о простой, чисто народной манипуляции — вправление вывиха пяткой ноги оператора, но я не решаюсь прибегнуть к нему, так как вспоминаю мельком про случай перелома головки плеча при таком способе.

Чтобы не уронить своего престижа, и почти с полным сознанием безнадежности, без какого-либо указания где-либо в литературе, почти интуитивно, по вдохновению решаю попробовать свой собственный, сейчас пришедший мне в голову метод. Прошу больную сесть на стул по средине комнаты и заявляю ей, что я ни секунды не причиню ей какой-либо боли, но что прошу ее при этом распустить руку как плеть, отнюдь не напрягать никакой мышцы. Больная послушно и охотно идет мне навстречу. Я охватываю правой рукой кисть правой же вывихнутой руки больной, коленом правой ноги между ее и моей рукой стараюсь оттянуть больную руку вниз и несколько наружу, подбородком надавливаю на выступ лопатки,

а левой рукой изнутри от грудной клетки пытаюсь вставить головку плеча на ее место. Достаточно было довольно мягкого надавливания пальцев левой руки на головку плеча в этом комбинированном приеме, как она действительно вскочила на место с легким щелканием, и рука оказалась вправленной.

— Ну вот,—воскликнула довольная больная,—а он мне вертел, вертел руку во все стороны, индо дух захватило.

Этот случай снискал мне славу костоправа, а на утро по приезде на Усть-Кару и в ожидании новых лошадей какой-то полицейский чин потребовал со мной свидания. Я уже предположил, что мой незаконный выезд за 30 верст от места жительства вызвал законную репресию со стороны моего начальства. Но оказалось, что это племянник моей больной, уже уведомленный за ночь о благополучном излечении его тетки, счел своей обязанностью зайти и засвидетельствовать мне свое почтение за мое участие к его близкой родственнице.

Ограничиваюсь этими случаями из моей практики и, чтобы закончить слишком растянутое повествование о вольнокомандской жизни на Каре, кратко укажу на наши интеллектуальные устремления и на вопросы, которые продолжали интересовать нас.

8. Настроения.—Политика.—Ф. Ю. Рехневский.—А. И. Зунделевич.

Хотя с выходом на волю все мы в значительной степени оторвались от книги, все же текущая литература не могла быть нами заброшена полностью, а волнующие общество вопросы теперь просачивались в нашу среду даже скорее и легче, чем раньше—все же таки мы были на воле! В свободные от работы вечера публика собиралась отдельными группами и обсуждала прочитанное или дошедшие до нас иным путем новости. Но текущее время в сущности отличалось таким затишьем, какого, кажется, еще не бывало. Реакция царила во-всю, и все революционные общественные элементы занимались пока выработкой миросозерцания и в лучшем случае собиранием сил.

Но в атмосфере, окружающей русскую общественнось, чувствовались уже грозные признаки возрождения революционной мысли. Идеи марксизма, быть может, не вполне оформленные, начинали владеть умами молодежи, а к 1890—1891 гг. марксизм уже достиг известной степени гражданской зрелости. Правда, легальных выступлений его еще не происходило, но

уже чувствовалась в близком будущем полемика о материалистическом понимании истории, об экономическом материализме и пр., когда будут ломаться копья русских передовых журналов и когда скрестятся острия мысли Михайловского и Бельтова с К°. А всему этому не были чужды и наши вольнокомандцы. К тому же несколько лет тому назад до нас дошли впервые отзвуки русской социал-демократической мысли. Кое-кто еще в тюрьме горячо воспринял эти новые идеи и вынес их с собой на волю. Если принять во внимание, что большинство наших товарищей того времени были народники, то станет понятным, вокруг чего вертелись беседы большинства, когда оно настраивалось на серьезный лад. К этому следует прибавить, что хотя переживаемое безвременье слишком ярко отражалось в доступной нам литературе, все же, с одной стороны, иностранные источники приносили нам известия о партейтагах и международных конгрессах, а с другой—в отечественной литературе просачивались мысли, указывающие, что революционное настроение нарастает все больше и больше и приобретает при том характер массовый. Все это давало пищу, правда, не частым, но подчас энергичным беседам.

Наиболее ярким сторонником этих новых идей в нашей, по преимуществу народнической, среде был Тадеуш Рехневский. Еще в тюрьме, поддерживаемый Дейчем, Зунделевичем и кое-кем еще, Рехневский постепенно впитывал в себя общий дух марксизма и теперь, в описываемый период, становился ярым сторонником социал-демократических идей.

Фаддей Юльевич Рехневский был ярким представителем революционной польской интеллигенции. Он получил образование в России, сперва в немецкой школе, а затем в университете, который и окончил в Петербурге. Это немецко-русское воспитание отнюдь не оторвало его от Польши, но значительно приблизило к России. И будучи в очень близких отношениях с такими деятелями „Пролетариата", как Куницкий и Варынский, Тадеуш был близко связан и с „Народной Волей", являлся связующим звеном между обеими партиями и был даже инициатором и организатором этой междупартийной связи. Человек очень образованный и очень способный, Рехневский обладал мягким, спокойным нравом, был, как истый европеец, всегда ровен и вежлив, никогда не уклонялся от артельных обязанностей, как бы они ни были тяжелы, и снискал себе за короткий срок уважение всех товарищей. В Тадеуше мы совсем не предусматривали поляка, и никакой самомалейшей тени в разнице наших национальностей с ним не чувствовалось:

это был добрый малый, хороший товарищ, готовый всегда разделить и горе и радости, выпадающие на общую долю. Казалось, что ему предназначена в будущем большая роль в революционно-общественной деятельности, как умному, знающему, убежденному и стойкому в своих воззрениях социалисту. Судьба однакож судила ему другое, и, окончивши все сроки своей ссылки, он уехал на родину, и в попытках примкнуть к движению, уже достаточно расчлененному, слишком преждевременно умер.

Арон Исакович Зунделевич (Мойша или Зунд в товарищеской среде) был поистине замечательным человеком по своим способностям, уму и характеру. Его революционная карьера началась с образования кружка в Вильно, что скоро заставило его уехать за границу. Вернувшись оттуда нелегальным в 70-х годах, он примкнул к организиции „Земля и Воля", а затем и к „Народной Воле". За границей он воспринял идеи немецкой социал-демократии, но в то же время был сторонником террористической борьбы, чем и объясняется его вступление в „Народную Волю", где он, как участник Липецкого съезда, был членом Исполнительного Комитета. Как человек, обладающий живой, практической сметкой, он был незаменим именно в тех областях, где требовались хладнокровие, расчетливость и уверенность в себе. Никто лучше его не организовал переходы через границу при посредстве контрабандистов, с которыми он сумел свести близкие, почти дружеские отношения. Именно он вывозил из-за границы крупные и устойчивые типографии для „Земли и Воли", а затем для „Народной Воли". Он же устраивал удачные побеги и он же вместе с А. Д. Михайловым вел переговоры с Соловьевым по поводу его покушения на Александра II. Наконец, и в области принципиальных решений Исполнительного Комитета его веское мнение и слово не оставалось без серьезного влияния на этот последний.

Здесь же, на каторге, Зунд был скромным, в высшей степени терпимым, не показывающим своего превосходства товарищем, одинаково ко всем идущим на совет или утешение, всегда готовым оказать моральную поддержку или выступить примиряющим элементом в нередких товарищеских спорах. Будучи сам человеком большой моральной красоты, Зунд оказывал сильное умственное и нравственное влияние на всех его окружающих. Не даром к нему, как к духовнику, шли все обиженные, все падающие духом, все разочарованные, и каждый находил в нем здоровое участие и поддержку и уходил

от него, если не всегда утешенным, то облегченным и успокоенным. Только прямые ренегаты не находили в нем участия, а его чистой совести причиняли тяжелые страдания. Такая роль утешителя и советника, взятая на себя Зундом, обусловливала для него неизменное уважение со стороны всех товарищей. Издавна разделяя взгляды социал-демократии, в возникающих теоретических беседах в тюрьме Зунделевич становился на сторону марксизма и всегда, неизменно мирно и спокойно, неотступно и разумно отстаивал его принципы. Осужденный на бессрочную каторгу по процессу 16-ти народовольцев в 1880 г., после продолжительного каторжного положения, он был отправлен на Кару, где в 1884 и 1885 гг. я застал его еще в ручных и ножных кандалах. В 1890 г. его перевели в Акатуй, в 1898 г. поселили в Чите, в 1906 г. он выехал в Россию, оттуда в Лондон, где и умер 30 августа 1923 г.

9. Женщины в команде.—С. А. Лешерн.

Необходимо еще сказать несколько слов о наших вольнокомандских женщинах. Кроме четырех вольных жен: А. М. Сухомлиной, В. В. Рехневской, К. А. Медведевой и Н. Д. Люри, с нами были выпущены П. С. Ивановская, А. П. Корба, Г. Н. Добрускина и С. А. Лешерн (в тюрьме пока оставались А. В. Якимова, Н. М. Салова и М. А. Ананьина). Кроме Медведевой, имевшей грудного ребенка, и Сухомлиной с двумя детьми, все они принимали посильное участие в работах. В сущности на их силы артель совсем не рассчитывала, она свободно могла обойтись без них, но уж такова товарищеская солидарность, что каждая из них рвалась на общую работу, выбирая то, что ей было по силам и что всегда оказывалось необходимым и полезным. Одна бралась за кухню и поварство, другая несла провизию на покос или дровосекам, кое-кто помогал выдаивать коров и т. д. Только С. А. Лешерн по слабости своего здоровья не могла брать на себя тяжелых обязанностей и ограничивалась доступными ей по ее силе.

Софья Александровна Лешерн-фон Герцфельд была первой женщиной, приговоренной к смертной казни, одной из первых осужденных на каторгу, заменившую казнь, и одной из первых же женщин, прибывших на Кару. Происходя из дворянской среды, она скоро прониклась идеями социализма, но, не сойдясь с более молодой, чем она, публикой, решила самостоятельно заняться просветительной деятельностью. В имении

своего отца она открыла образцовую школу, нашла себе деятельного помощника в лице известного Засодимского[1], организовала кооперативное товарищество и пр. и вела дело, пока на него не было обращено внимание властей, что повело за собой его ликвидацию. Тогда С. А. пошла на пропаганду, что кончилось для нее ссылкой по процессу 193. Вернувшись из ссылки, она целиком отдалась политической борьбе, найдя поддержку и руководство в Валериане Осинском и И. Волошенко, с которыми скоро, в 1879 г., и была арестована.

„Этот период террористической деятельности,— говорит ее биограф, — занял в жизни С. А. всего несколько месяцев, но по силе и яркости впечатлений и переживаний он равнялся годам".

Приговоренная к смерти, замененной вечной каторгой, С. А. негодовала на это помилование и тяжело пережила свое возвращение к жизни, так как предпочитала смерть продолжительному заключению.

Выйдя в вольную команду уже достаточно измученной и больной, при этом уже достаточно пожилой (она родилась в 1840 г), по своему состоянию С. А. не должна бы обходиться без тщательного ухода за собой. Но ее закаленняя натура, ее твердые принципы не позволяли ей становиться в какие-либо исключительные условия среди других товарищей и побуждали ее всеми способами приходить на помощь другим. И С. А. старалась всюду применить свои слабые силы, не отставая от других членов нашей артели, и часто помогала ей как своим трудом, так и внося в артель все получаемые ею деньги. Тихая, спокойная, С. А. привыкла жить в неволе замкнутой жизнью и только своим близким товарищам она была способна открывать весь запас своей сердечности и доброты. Но в то же время она была принципиально стойким и самостоятельным человеком и в случаях несогласия с решениями большинства она предпочитала оставаться в одиночестве при собственном мнении. Ее натура принадлежала к тому типу людей, которые могут сломаться, но не согнуться.

Довольно замкнутой жизнью С. А. прожила и в вольной команде, а в 1894 году она вышла на поселение вместе с Мирским в г. Селенгинск, где и умерла через 4 года.

Но самую главную, необходимую и существенную помощь наши женщины оказывали артели своими рукодельными рабо-

---

[1] Именно ее предприятия Засодимский описал в повести „Хроника села Смурина" и вывел в ней самую С. А.

тами. Вполне понятно, что белье и костюмы наши требовали либо капитального ремонта, либо полного восстановления. Это было замечено немедленно, как только мы очутились за стенами тюрьмы: одному потребовалась сорочка, другому кальсоны, чулки и пр. и почти для всех были нужны верхние блузы. (Только один Златопольский не нуждался в ремонте своего костюма: он еще несколько дней после нашего выхода оставался в тюрьме вплоть до отъезда акатуевцев, чтоб использовать нашу швейную машину, увозимую в Акатуй, и нашить из своих казенных запасов костюмы, задуманные им много раньше. И он экипировал себя столь странно, что не мог выйти из дома в своем новом костюме, так как возбуждал своим видом неудержимый лай всех встречных собак.)

Наши женщины взяли на себя всю заботу о нашей экипировке. Родные Ивановской, Корба и Лешерн прислали большое количество фланели и полотна, женщины открыли у себя настоящую швейную мастерскую, и скоро все нуждающиеся в белье и верхних рубашках были удовлетворены... Когда же явилась потребность в теплых вещах, чулках, рукавицах и пр., то та же мастерская начала изготовлять стеженые теплые рукавицы, гамаши, чулки и т. д.

Вообще присутствие среди нас этих женщин имело колоссальное значение, независимо от их материальной помощи. Они скрашивали нашу жизнь, делали ее менее монотонной, вносили элемент мягкости, некоторую идеальность во взаимоотношения, умеряли грубость и смягчали наши нравы. Нельзя не быть им благодарными за эти успокаивающие элементы в нашей жизни.

10. Г. Е. Батогов.—Подготовка к отъезду на поселение.—Отъезд.

Подошла пора для меня расстаться с людьми, с которыми успел сжиться за многие годы, которые стали для меня близкими братьями. Наступил срок моего выхода на поселение. Я оканчивал срок каторги одновременно с Батоговым и с ним вместе должен был отправиться в так называемую „обратную“ партию арестантов. С Батоговым меня связала судьба странным образом: мы с ним судились в один год, хотя в разных городах, получили одинаковый приговор, одновременно вышли в вольную команду, одновременно должны выехать на поселение, в одну и ту же область, впоследствии одновременно приписались в мещане и пр.

Галактион Емельянович Батогов, попросту Галась, был незаурядным типом русского рабочего-революционера. Происходил он из крестьянской семьи и в раннем детстве вынес на себе всю тяжесть крепостного режима. Отданный вдали от вдовы матери в пастухи гусей, он бежал со своего поста к матери в Кременчуг, а оттуда скоро перебрался в Одессу, где пристроился в науку к столяру. Впоследствии из него вышел великолепный столяр-лакировщик, не имевший себе равного за всю его жизнь на поселении. Как натура протестующая, Батогов, живя в Одессе, не мог не столкнуться с сознательными рабочими и скоро сам сделался убежденным и последовательным социалистом. „Народная Воля“ застала его уже совершенно готовым революционером, и он скоро становится одним из самых видных пропагандистов сперва в кружках Тригони, потом Дрея. Это и привело его в конце концов на каторгу. Очень способный от природы и умный, Галась сумел за годы тюрьмы настолько пополнить свое образование, что в своих суждениях почти ничем не отличался от товарищей интеллигентов. Морально чистый, душевно крепкий человек, несломленный репрессиями тюрьмы, он, к сожалению, не был крепок физически и неоднократно еще в тюрьме и здесь, на воле, был близок к могиле. Но здоровая в основе природа Галася выносила его во всех случаях без ущерба для его жизни, пока, наконец, через многие годы на поселении он не погиб от какой-то случайной болезни. Лучше всего характеризует Батогова его отношение к детям и детей к нему. Его врожденная душевная доброта привлекала к нему детей всех возрастов, он любил их и умел с ними ладить; не даром же не было ни одного ребенка у всех товарищей, который бы с самых ранних своих лет не встречал Галася с восторгом и радостью. Батогов и умер, окруженный многочисленной семьей чужих и своих детей разных возрастов, не выезжая из Читы, своего первого места поселения.

Итак, скоро я должен был оставить Кару. Я посетил всех своих пациентов, среди которых было много семейств офицеров. Эти последние предложили мне даже, ручаясь за успех, ходатайствовать перед высшей властью о том, чтобы меня оставили на Каре в качестве врача для их жен и детей. Только мое заявление, что этим путем они продлили бы срок моей каторги, так как, оставаясь на Каре, я ни в коем случае не мог быть выделен в какую-то особую категорию среди своих товарищей, заставило их покинуть эту мысль совершенно. Зато один из молодых офицеров конфиденциально сообщил

мне, что все офицерство предполагает почтить меня прощальным торжественным обедом. Эта идея до такой степени испугала меня, и я так решительно уклонился от этого чествования, что и она была оставлена. Взамен ее мои пациенты собрали значительную по тому времени сумму денег, часть которой в ближайшее время и помогла нам с Батоговым переехать на свой счет с конвоем на лошадях от Сретенска до Нерчинска, чтоб догнать успевшую уйти обратную партию. Без этого спасительного обстоятельства нам пришлось бы ожидать следующей партии обратных арестантов недели три в неотапливаемом Сретенском этапе.

Но пора было бы подумать о предстоящей новой полосе жизни. Оканчивалась каторга, начинались поселенческие скитания. Тяжело было уезжать, оставляя на неопределенное время на каторге старых приятелей и обстановку, с которой сжился за минувшие годы... С ними оставалось все, с чем до сих пор были связаны интересы и что многие годы питало умственную и душевную жизнь каждого из нас. Но в глубине души ощущалась некоторая двойственность: тяжело было покинуть привычное товарищество и в то же время тянуло на новые испытания в новой, еще неизведанной обстановке.

В таком настроении проходили последние дни, и при взгляде на каждого из остающихся друзей назойливо стучала в голове мысль: увидимся ли еще и когда?

Приготовления к отъезду постепенно заканчивались не без некоторого оживления как со стороны отъезжающих, так и со стороны остающихся; произведены все прощальные визиты к близким и отдаленным пациентам, и начальство, наконец, определило самый момент отъезда.

Все остающиеся на Каре товарищи собрались нас проводить. Тесная компания друзей окружила нас...

Морозный январский день был готов принять нас с Батоговым в свои холодные объятия.

Ожидающая группа обратных уголовных арестантов, к партии которых мы должны присоединиться, короткая и тяжелая сцена прощания с товарищами-братьями, их громкая прощальная хоровая песня:

«Прощай, прощай, старо товариство!»...—

и наши розвальни покатили по снежному, мягкому покрову хорошо укатанной зимней дороги, вслед за десятком-двумя плохо одетых, замерзающих и потому быстро шагающих арестантов...

Б. НА ПОСЕЛЕНИИ.

1. Путь по реке Шилке.—Шилкинский завод.— Сретенск.

Январские дни 1892 г. Трескучий мороз градусов 45—48. Впереди десятка два арестантов не идут, а буквально бегут со всех ног, как бы удирая от мороза. За ними едва поспевает наша подвода, где мы с Батоговым укутываемся в наши не очень теплые шубы. Дорога идет по льду р. Шилки, так как по берегу здесь есть только небольшая тропинка для пешеходов или верховой лошади. Время от времени вдоль по реке на встречу нам нет-нет да и подует легкий, но прямо леденящий ветерок—хилус. При этом все 20 человек бегущих впереди нас бросаются на лед, как-будто кто сразу подкосил им ноги. Это они почувствовали, что ледяной порыв ветра обжег их лица, и они натирают щеки, носы и уши снегом.

Этот терапевтический прием оказывается очень действительным. Но так как эти хилусы довольно часты и так как не все 20 человек успевают растереть достаточно ознобленные части, то многие из них оказываются с такими ранами и струпьями на лице, что потом, по приходе в Сретенск, этапный офицер обращается кое к кому с вопросом: „Это кто же тебя так изувечил?"

Усидеть на наших дровнях временами оказывается невозможно. Тогда мы соскакиваем с подводы и бежим в гущу нашей партии. Оказывается, что на народе, в общей куче бегущих, гораздо теплее, чем при неподвижном положении на дровнях. Но наших сил нехватает угнаться за бегущими; мы, согревшись, отстаем от партии и усаживаемся снова, чтоб через некоторое время опять вскочить и повторить старый маневр для согревания.

Первый этап — Шилкинский завод. Эта деревня мне знакома. Тайным образом от зорких глаз наших жандармов я приезжал сюда много раз, когда мои пациенты посылали за мной лошадей. Чаще всего я лечил здесь маленькую дочку купца Смирнова Милицу и хорошо знал этот гостеприимный дом. И сейчас мы проходим мимо этого дома, причем я не вижу никого из его обитателей: очень холодно сейчас, да и довольно уж темно. Мы пробираемся к этапу, находим себе укромный уголок и приступаем к обеду или ужину, как хотите. Но не успели мы проглотить первый кусок и выпить кружку чая, как к нам явились посетители. Это явилась жена Смирнова, про-

слышавшая, что в этой партии идем и мы с Галасем. Она принесла нам кое-какое угощение, но, не довольствуясь этим, настаивала, чтоб мы пошли ночевать в их дом. Начальник конвоя не выразил большого протеста на условии, чтобы с нами отправился хотя бы один из конвоиров. Батогова, незнакомого с семейством Смирновых, уломать было нетрудно, и на удобных санках, запряженных чудесной лошадью, мы быстро подкатили к дому Смирновых.

Здесь мы застали прямо праздничное настроение, несколько человек случайных гостей и самого хозяина в очень веселом, оживленном состоянии. Когда я позникомил его с моим товарищем и назвал его фамилию, он удивил меня вопросом:

— Батогов?—и тотчас же, не говоря больше ни слова, взял со стола книгу, которую, видимо, только-что читал, если не ошибаюсь, какой-то роман или повесть Каразина, быстро ее перелистал и показал нам страницу, говорившую что-то о персонаже, однофамильце моего товарища.

— Это вы?—коротко спросил он, и наша встреча приняла сразу веселый, добродушный характер.

Вечер прошел весело и оживленно, а на утро, проснувшись под пение многочисленных канареек, мы долго не могли прийти в себя и понять, каким образом мы очутились в такой культурной обстановке вместо грязного этапа. Затем, напившись чаю и закусив плотно, мы едва нашли нашего конвоира, тоже гостеприимно принятого и хорошо угостившегося, тепло распрощались с милыми хозяевами и отправились в путь. Наша партия уже поджидала нас.

Так, без каких-либо инцидентов в дальнейшем пути, мы двигались по льду Шилки до Сретенска. Лютый мороз не прекращался, все ртутные термометры позамерзали, большинство наших путников основательно поознобилось, а Сретенский этап оказался пустым и холодным, так как обратная партия, к которой мы спешили, не дождавшись нас, ушла. Этапный офицер не решился поместить нас в одном помещении с уголовными, где нам было бы теплее. Очевидно, он не знал или забыл, что мы были уже уравнены с ними в правах—нивеллированы. Поэтому нам было отведено небольшое отделение, совсем никогда не отапливаемое. Экономия на дровах давала ему хороший барыш. Комната или камера, предоставленная нам, была очень мала, и холодно нам было в ней, как на дворе. Но делать было нечего. Мы решили в ней переночевать, совсем не раздеваясь, в шубах и шапках. На утро оказалось, что Батогов всю ночь согреться не мог и большую ее

часть пробыл на ногах; я же был утомлен настолько, что спал, как убитый, и, проснувшись на утро, нашел целый сноп снега на своем лице, а мои закурживевшие волосы плотно примерзли к шубе.

Дальше так продолжаться не могло. Следующего обратного этапа раньше двух, а то и трех недель ждать было нечего, и наше положение было не из веселых. Делу помогли те деньги, которыми меня снабдили мои пациенты на Каре. Мы предложили офицеру отправить нас на лошадях с конвоиром на наш счет до Нерчинска, чтоб там присоединиться к ушедшей от нас партии. Офицеру это было наруку. Он избавляется от нас, ибо политические всегда бывали у него бельмом на глазу, да, кроме того, такой исход дела доставлял ему небольшой, но все же доход: он мог еще несколько дней кормить и отапливать две мертвых души...

Мы поехали, благополучно догнали партию в Нерчинске и вместе с ней через несколько недель добрались до Читы, считая ее конечным пунктом нашего путешествия.

2. Чита.— „Зимовье".— А. К. Кузнецов.— П. П. Валуев.— С. С. Синегуб и его история.

Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как я был в этой тюрьме. То было в мой первоначальный проезд на Кару, и тогда я прожил здесь целый месяц За 10 лет тюрьма значительно изменилась, но не могу сказать, что перемена произошла к лучшему: стало заметно еще грязнее, еще скученнее, и по-старому тюрьма была переполнена миазмами. К счастью, мы просидели здесь недолго: не прошло и трех дней, как нас отпустили на все четыре стороны.

Несмотря на то, что непродолжительное пребывание в „вольной команде" уже успело отучить нас от тюрьмы, уже приобщило к вольной жизни, все-таки контраст между Карой и Читой был колоссальный. Общим убежищем для всех вновь прибывших была столярная мастерская наших старых товарищей-карийцев: Союзова, Богданова и Валуева, и особенно небольшой домик при ней, выстроенный Богдановым и носивший название „зимовья". Здесь расположились и мы с Батоговым и тотчас же были отведены по соседству в семейную квартиру Фриденсона. Если „зимовье" поражало нас своими двумя комнатами, сравнительно с теми лачугами, где мы жили до сих пор на Каре, то квартира Фриденсонов показалась нам просто дворцом. Высокие комнаты, большие окна, чистые обои на стенах,

лепные карнизы на потолке и особенно рояль, — все это, начиная от приветливой, гостеприимной хозяйки и их домашней, семейной обстановки и кончая давно неслыханной музыкой, производило на нас чарующее впечатление, как на дикарей, как на выходцев из другого, какого-то мрачного мира.

Но такова человеческая природа, так крепки в ней навыки прежней до-тюремной жизни, что достоточно было для нас нескольких дней, и мы совершенно освоились с этой новой обстановкой.

Мы быстро вошли в общую жизнь всей группы читинских ссыльных товарищей. Здесь были семьи старого нечаевца А. К. Кузнецова, этого неутомимого собирателя и организатора музеев[1], семья основателя до сих пор существующей в Чите столярной мастерской И. О. Союзова, семья художника-маляра одессита Петра Прок. Валуева и, наконец, семья старого чайковца, пропагандиста Сергея Силыча Синегуба. Все эти семьи встречали нас, как родных, всюду мы видели неподдельную ласку и везде чувствовали себя, как дома. Ал. Кир. Кузнецов, прекрасный фотограф, не только исключительно живущий этим трудом, но добрую долю своего заработка тративший на собирание музейных редкостей, немедленно увековечил нас при помощи своего фотографического аппарата, а П. П. Валуев и его милая жена, именуемая нами „тетенькой", не замедлили угостить нас традиционными „взваром" и „кутьей", чего уж давно мы были лишены.

Не могу уклониться несколько в сторону при воспоминании о Сергее Силыче Синегубе и его семье. При всей личной обаятельности Синегуба и его жены Ларисы Васильевны, я не знаю другой семьи, судьба которой была бы столь же трагична. Сергей Силыч, один из первых и лучших пропагандистов 70-х годов, был осужден по процессу 193-х в 1878 г. и отбывал каторгу на Каре. Это была светлая личность по своему незлобивому характеру, идеальной честности и край-

[1] Известно, что Кузнецов, окончивший каторгу еще в 1876 году и поселенный в городе Нерчинске, основал здесь этнографический и археологический музей; затем он перебрался с семьей в Читу и собрал здесь новый, еще больший музей; в 1905 году, попав в карательную экспедицию Ренненкампфа и приговоренный сперва к смерти, а потом к каторге, по старости лет был отправлен на поселение в Якутск, где он основал новый якутский музей, и, наконец, в силу его научных заслуг, он вновь был переведен в г. Читу, где и занял место директора музея и где жил почти до самой смерти в 1928 г. В 1923 г. была отпразднована годовщина открытых им музея и отделения Географического общества и его собственного 70-летия. За последнее время он основал в Чите еще один музей — Музей революции.

ней чистоте и стойкости своих убеждений. Недюжинный литератор, не лишенный поэтического дарования, певец революционных настроений, он в то же время был великолепным, увлекательным рассказчиком и хорошим, вдумчивым педагогом. Чистота его души за все время его поселенческих лет не позволяла ему сколько-нибудь выдвинуться на служебном поприще, чтобы лучше обеспечить материально свою семью. Его щепетильность в этом отношении доходила до того, что он отказывался от очень выгодных предложений на том основании, что сомневался в своей пригодности принести делу ту пользу, какую требовало предлагаемое ему вознаграждение. Поэтому он брался только за такие обязанности, в которых был очень хорошо осведомлен, и не пытался ознакомиться с другими, более доходными, хотя был несомненно способен на много большее. Эту щепетильность в отношении к людям и их обязанностям разделяла с Сергеем Силычем и его жена, и поэтому семья эта никогда не выходила из состояния крайнего материального недостатка. Другой, еще более тяжелой стороной обернулась к ним их судьба. В 1895 или 1896 году их старший сын Сергей, крепкий, здоровый мальчик лет 17—18, в их собственной квартире застрелился наповал, нарочно или случайно, осталось невыясненным. Этот первый тяжелый случай страшно отразился на всей семье и прежде всего на родителях.

Не говоря о том, что физическое здоровье стариков было в корень подорвано этой неожиданной тяжелой утратой, моральное состояние их и особенно матери внушало окружающим серьезные опасения. Но и оставшиеся дети, подростки разных лет, были доведены этим ужасным фактом до серьезного нарушения их психического равновесия. С момента похорон своего старшего любимого брата вся эта молодежь 14—15 лет и ниже все свое внимание и все мысли сосредоточивали на этой трагической смерти и путем спиритических сеансов и вызова духов пытались познать причины непонятного им факта. Так продолжалось дело, пока вся семья не покинула Читу и не переехала в Благовещенск в 1896 году. Но и здесь стариков и всю семью постигло новое, еще горшее, потому что повторное несчастие: столь же неожиданно и столь же непонятно погибла, застрелившись, старшая, любимая дочь Синегубов. Это второе несчастие еще сильнее придавило стариков и заставляло думать, что или над всей семьей висит какой-то рок, или это стояло в зависимости от чрезмерной нервности и неуравновешенности детей. Последнее предположение заста-

вило родителей принять героическое решение. Они заявили своим детям, что если повторится что-либо подобное, то оставшимся в живых детям придется хоронить вместе с погибшим вновь и обоих их, родителей. Правдивость отца и матери для детей была несомненна, они знали, что за их словом всегда последует дело и... самоубийства в семье прекратились. Но не кончились несчастия Синегубов. Пришла война с китайцами, и в качестве офицера был призван второй их сын Анатолий. Он отправился в Манчжурию и не вернулся. Только спустя много месяцев родители узнали о гибели сына. Наступил новый век, но и он не принес благополучия этой трагической семье. Один из прекрасных юных сыновей Синегуба, Лев Синегуб, был арестован при несостоявшемся покушении на вел. кн. Николая Николаевича и на Щегловитова, и вместе с другими товарищами, выданный Азефом, казнен в 1908 г. Но это семейное несчастие уже не застало в живых Сергея Силыча. Он умер в г. Томске от разрыва сердца в октябре 1907 года, оставив свою неизменную подругу-жену Ларису Васильевну с дочерьми и сыном Владимиром. Но Ларисе Васильевне пришлось пережить еще одну потерю: на фронте против Колчака был убит и Владимир, оставивший жену и четырех малюток-детей. Из всех пятерых сыновей этой семьи сохранился только один Евгений, в высшей степени способный и талантливый человек, нашедший свою дорогу в литературе. В феврале 1923 года покончила свои расчеты с жизнью и сама Л. В. Синегуб, последовавшая за своими детьми и мужем.

Так жестоко и незаслуженно обрушились несчастия на этих двух способных, добрых и обаятельных людей, загубленных тяжелыми условиями далекой ссылки.

3. На службе.—Станица Мангут.—М. Б. Эйтнер.— В. П. Обнорский.

Оставаться долго в Чите я, к сожалению, не мог. Надо было позаботиться о заработке. Этому на первый раз помогло благорасположение ко мне полк. Томилина. Как я говорил выше, он взамен неудачных хлопот о вознаграждении меня за работу в карийском лазарете, повидимому, путем частных просьб устроил меня при врачебном управлении. Как бы то ни было, мне, как дипломированному ветеринарному врачу, предложено было заведывать скотопрогонным пунктом на границе Монголии. Несмотря на совершенную новость для меня этого дела, я не отказался, был зачислен в штат, получил

билет для бесплатных служебных разъездов, жалованье по 21 р. с копейками и должен был выехать в один из пограничных караулов—станицу Мангут или Ульхун. Я выбрал первую, прожил здесь 8 или 9 месяцев и не имел ни одного случая проявить свою деятельность по освидетельствованию гуртов скота, выведенного из Монголии. Объяснялось это тем, что гуртовщики, для которых продолжительный карантин обходился очень дорого, искали случая получить должное свидетельство без карантина, что обычно стоило им уплаты по 50 к. с головы в карман свидетельствующего. Обо мне кое-что они должны были знать, так как я официально состоял под надзором станичного атамана. И такова уже была репутация у политических даже в этом захолустном местечке, что ко мне не решился обратиться ни один гуртовщик, хотя несколько гуртов скота за это время кем-то были все-таки пропущены.

Станицы Мангут и Ульхун стоят на самом юге Забайкальского плоскогорья, в широкой богатой растительностью долине реки Онон. К северу от них возвышаются первые Забайкальские горы, в глубине которых разрабатываются золотые россыпи и рудное месторождение золота. Здесь я впервые познакомился с работами на золотых промыслах, с добычей и очисткой золота, а на Николаевском кабинетском прииске побывал в шахтах горы и ползал по узким ходам, прорытым в чистом граните. Здесь же я встретил двух товарищей, задолго до меня окончивших сроки своих каторжных работ. Это были Мих. Богд. Эйтнер, бывший учитель гимназии в Одессе, участник дела Заславского и судившийся по делу Чубарова и др. в 1879 г., и известный Обнорский, сподвижник Халтурина по организации Северно-русского рабочего союза.

Анекдотична была первоначальная, до встречи со мной, жизнь на поселении М. Б. Эйтнера. Поселенный в глухом Акшинском округе, он, по собственным рассказам, мог существовать, только неся разнообразную мелкую службу на золотых приисках. Он бывал и смотрителем бутары, и конторщиком, и всем, что ни предлагала ему его судьба. Бывал он и самостоятельным хозяином и владельцем прииска, арендуя таковой и ведя дело на свой собственный кошт. Любитель охоты и лошадей, он претерпел немало от этих привязанностей. Так, однажды при неудачном выстреле на охоте из плохого ружья осколком пистона он повредил себе глаз и на всю последующую жизнь остался кривым. Затем, едучи однажды верхом ночью по делам прииска, он не досмотрел одним своим глазом дороги и вместе с лошадью свалился в шурф, пролежал

там добрые полсуток и был извлечен с серьезным переломом двух или трех ребер, что не обошлось без продолжительной болезни и без операции. Будучи хозяином собственного прииска, М. Б. однажды при свалке с телеги бочки с капустой, запасенной для рабочих на его гроши и грозившей при падении лишить его хозяйство этой провизии, решил удержать ее от падения, подставив впопыхах собственную ногу. В результате этого приема нога получила тяжелый осложненный перелом, а бочка все-таки наполовину опрокинулась. Бурят, специалист-костоправ, исправил поломанную ногу. Но Мих. Богд. навеки остался сильно хромым.

И вот хромой, с поломанными ребрами, одноглазый, взлохмаченный Мих. Богд. пришел к убеждению, что „не добро жити едину“ и решил жениться. На беду он долго не мог на ком-нибудь остановить свой выбор, или, вернее, никак не мог подыскать себе соответственную пару. Наконец, едучи однажды на своем высоком белом коне на Николаевский кабинетский прииск, он решил во что бы то ни стало покончить с этим делом. Поднявшись на последний хребет перед прииском, с которого открывался красивый вид на все в порядке расположенные в междугорье приисковые постройки, он сказал себе: первая женщина, которая попадется мне навстречу, будет моей женой! — И действительно, гарцуя на своем коне по улице прииска, он встретил красивую молодую женщину с ведрами на плечах. Молодцевато подъехав к ней, Мих. Богд. смело предложил ей свою руку и сердце. Это категорическое предложение было ею принято, и они скоро поженились.

— Это было мое последнее несчастие, — с добродушной улыбкой говорил Мих. Богд., рассказывая мне все перипетии своей жизни.

Ныне Эйтнер, уже глубокий старик, живет в Чите, имеет взрослых, стоящих на своих ногах детей, которых я видел когда-то очень маленькими, и, как слышно, не жалуется на свою судьбу.

Виктор Павлович Обнорский, осужденный в 1880 г. на 10 лет каторжных работ, отбывал их на Каре и вышел на поселение в Забайкальскую область в 1884 году. Как опытный, знающий слесарь-механик, с заграничным техническим стажем, он всегда был желанным служащим на любом прииске в качестве механика. Но и он не избежал соблазна, подобно Эйтнеру, попытать счастья в поисках золота и одно время работал на собственном арендованном им участке золотоносной земли. Его попытка, сколько я знаю, окончилась так же не-

удачно, как и попытка Эйтнера. Обнорский был человеком серьезного, вдумчивого склада, не лишенным образования и в описываемое время мало-общительным, жил уединенно и одиноко. В силу своей специальности вынужденный жить на приисках по преимуществу, он не поддерживал близких отношений с товарищами и скоро как-то вышел из поля нашего зрения. Только недавно стало известно, что последние годы жизни Обнорский провел в Кузнецке, где и умер в 1920 (?) г.

Живя это время вблизи границы с Монголией, я нередко приходил в сношение с бурятскими ламами, соединявшими в своем лице священнослужителя и доктора, встречался и с представителями чистых монгол и поражался внешней солидности и интеллигентной выдержанности этой нации. При этом я вспоминал слова Элизе Реклю, характеризовавшего монгол, как одну из самых умных, способных восточных национальностей, и даже красивых по-европейски, особенно в ее женской половине.

Незадолго до моего приезда сюда в ст. Ульхун было совершено зверское убийство целой семьи китайцами — хунгузами. Делу был дан ход, и китайские власти были вынуждены проявить свое правосудие. Результат этого мне и пришлось видеть на самом пункте русско-китайской границы, где на высокой перекладине между столбами был повешен ящик с отрубленными головами трех или четырех китайцев, виновных в ульхунском убийстве. Суд был скорый, справедливый, но не милостивый.

Летом ко мне приезжал из Читы А. К. Кузнецов. Он, как фотограф, получал часто приглашения приехать на какой-нибудь прииск, чтобы сделать разные снимки, и этими поездками пользовался для сбора разных редкостей и случайных находок из остатков древних времен для своего музея. Нередко из таких поездок он привозил в Читу очень тяжелые, выточенные из камня древние памятники и присоединял их к другим музейным редкостям. Так и на этот раз его пригласил Николаевский прииск и хорошо оплатил ему эту поездку. Мы совершили с ним экспедицию в долину реки Мангут, впадающей в Онон, где находилась пещера Чингис-хана, о чем были указания в литературе. Пещеру эту мы нашли, в ней побывали, но ту надпись на камне, которая интересовала Кузнецова особенно, я нашел и скопировал уже в другой раз, много позднее отъезда Кузнецова. Зато в песчаном устье Мангута, в так называемых „булдурунах“, мы находили много осколков и частей орудий каменного века, которые и собирали при

помощи подростков-мальчиков, награждаемых за это незатейливыми конфектами.

Отсутствие какой-либо научной медицинской помощи населению, кроме бурятских лам, заставило меня вновь приняться за практику. Предвидя это заранее, я захватил с собой из Читы некоторый запас медикаментов, что и помогло мне несколько проявить себя в этом отношении. Очевидно, моя практика была достаточно успешна, и девятимесячное пребывание мое среди казачьего населения этих караулов ознакомило его со мной настолько, что незадолго до отъезда в Читу, я получил почти официальное предложение остаться у них надолго, если не навсегда, в качестве местного эскулапа... На мое возражение, что администрацией этот проект ни в каком случае утвержден быть не может в виду моей поднадзорности, я получил интересный ответ:

— Как это не утвердят, как не позволят, когда мы, народ, этого потребуем!

В этой фразе казака, живущего вдали от центра своей области, звучала самостоятельность, значение его личности и уверенность в уменьи устроить свою жизнь по-своему, не считаясь там с каким-то областным, а, может быть, и с более высоким начальством.

Однакоже я предпочел уклониться от этого лестного предложения и, достаточно наскучившись от однообразия жизни в Мангуте и от служебного бездействия, решил выехать в Читу, заручившись соответственным разрешением.

4. Снова Чита.—Аптека.—Казенная палата.

В Чите обстановка жизни заметно изменилась. В это время начались изыскания для будущей Забайкальской железной дороги, а потом и самая постройка ее. Кое-кто из наших товарищей уже пристроились к ее работам. Мне, как не-технику, пришлось подыскивать себе заработок иного рода... Прежде всего я устроился при местной аптеке в качестве фармацевта. Делать порошки, лепить пилюли и пр. было не новым для меня делом. Но этот бессмысленный, ежедневный труд с 9 утра до 9 вечера не мог быть мне по душе. Развлечением одно время служил следующий эпизод. В Чите организовалось общество местных врачей. Оно задумало устроить бесплатную амбулаторию для населения. Этому хорошему делу пошел навстречу хозяин нашей аптеки, некий Френкель. Он предложил обществу устроить при своей аптеке отдельную

комнату и снабдить ее всем необходимым для амбулатории инвентарем. Врачи, члены общества, должны были распределить между собой дни и в определенные часы принимать больных в этой новой амбулатории. Такое предложение было небезвыгодно для аптеки, и хозяин ее не был дураком и знал, что делал. Но врачи не оказались на высоте своего положения: с неделю или две они поработали немного, а потом забросили организованное ими дело. Только один врачебный инспектор, д-р Щеглов, еще посещал изредка в свои дни аптеку Френкеля и принимал редких больных.

Как раз к этому времени поступил на службу в аптеку и я. Больные, хотя изредка, но являются, а врачей нет, и с общего согласия с аптекарем я приступил к их приему. И получилось так, что в одной комнате я пишу рецепт, а в другой я же его и делаю.

Так продолжалось довольно долго, пока не явился на свой прием д-р Щеглов. Хозяин аптеки объяснил ему положение дел в амбулатории и не скрыл, что приемом больных ведаю я один.

— Вот и хорошо,— заявил врачебный инспектор,— пусть и меня он заменяет! — и после этого не показывался в амбулатории совсем.

Со Щегловым мы были уже знакомы. Он однажды приезжал для санитарного осмотра в нашу тюрьму и заинтересовался некоторыми моими терапевтическими приемами.

Прослужив в аптеке с полгода, я отряхнул ее прах от своих ног и больше никогда не возвращался к фармации.

К сожалению, жить без заработка нашему брату было невозможно. Нас было двое, так как жена к этому времени тоже кончила свой срок и выехала в Читу. Аптека кормила нас не жирно, но все же кормила. Надо было где-то устраиваться, и мне было предложено место в Казенной палате. Губернатор на вопрос, не будет ли он иметь чего-либо против этого, наоборот—выразил удовольствие и готовность, если будет нужно, ходатайствовать о разрешении мне занять предложенное место. Но не более как через две недели моей службы он получил из Петербурга распоряжение немедленно отстранить от службы в казенных учреждениях не только меня, но и всех других ссыльных, если таковые где-нибудь пристроились. И вылетел я из Казенной палаты, а за мной Фриденсон из суда, где он служил уже года два, если не больше, и еще кто-то откуда-то.

5. Фельдшером на приисках.—Опять Чита.— Собрания.

С этого времени в течение трех лет я блуждал по золотым приискам в Забайкальи, исполняя обязанности приискового фельдшера, сперва на небольшом прииске Жарча, близ Дарасунского прииска богатого нерчинского купца Бутина, потом два года на Илинском рудном месторождении.

Жарча отстояла от Дарасунского прииска всего верстах в 8—10, и мне нередко в течение лета приходилось туда ездить обычно верхом по вызову больных или приисковой администрации. Дарасунский прииск не разрабатывался самой администрацией, а сдавался по частям мелким предпринимателям, из которых многие перемывали только старые отвалы. Администрация же держала для всех арендаторов кладовые, лабазы и больницу с фельдшером.

Последний был крайне невежественный ротный фельдшер, имевший в своем распоряжении аптеку, небольшую больницу и получавший немалое по тому времени жалованье до 2500 р.

Однажды у меня с ним произошел небольшой инцидент, дорого стоивший больному. Как-то раз у одного из арендаторов рабочие слишком глубоко подрыли отвал. К этой мере прибегали очень часто. Отвалом назывались уже раз отмытые золотоносные пески, свезенные и сваленные в большие кучи, даже горы. Так как первоначальная промывка золота производилась очень примитивно, почти хищнически, то мелкие предприниматели брались за новую промывку этих песков, что нередко давало хорошие результаты в смысле добычи золота. Но рабочие в этих случаях старались сохранить свой труд и с большим риском для себя глубоко подрывали отвал снизу. Верхняя часть его тогда легко сваливалась вниз, почти без всякого труда. Но иногда рабочие увлекались и так глубоко подрывались под отвал, что он сваливался самостоятельно и, конечно, увечил рабочих, не успевших своевременно выбраться. Так произошло и в данном случае: огромная глыба отвала обвалилась и одного молодого рабочего, не успевшего выбраться, сильно изувечила. Арендатор послал за мной. Когда же я приехал, на что потребовалось немало времени, фельдшер заявил мне, что им сделано уже все, что требовалось, и мой приезд был совершенно лишним. Однакоже, осмотрев больного с переломом голени на одной ноге и голеностопного сустава на другой, я заметил и указал фельдшеру, что повязки

наложены неправильно, и там, где он предположил только вывих сустава, есть настоящий перелом малой берцовой кости, не замеченный им благодаря сильной опухоли, а перелом голени на другой ноге сложен неправильно. Когда фельдшер убедился в справедливости моего утверждения, мне пришлось при его помощи загипсовать обе ноги уже иначе. При этом я предупредил приискового эскулапа, что значительная опухоль на голеностопном суставе под повязкой скоро опадет и ее поэтому через неделю или раньше необходимо переменить, чтобы не получилось неправильного сращения. Но, очевидно, мое указание было сочтено им за ересь, повязку своевременно он не переменил, и нога больного была испорчена. Как я узнал позднее, неправильно сросшийся перелом пришлось искусственно сломать снова, чтоб сколько-нибудь исправить оплошность фельдшера. Случай этот в свое время попал в газеты.

Наша жизнь на Илинском прииске, где мы прожили с женой два года, ознаменовалась знакомством с некоторыми каторжанами-вилюйцами, как раз к этому времени амнистированными. Из них Михаил Рафаилович Гоц с женой одно лето провели на курорте Дарасуне, находившемся не очень далеко от нашего прииска. Само собой понятно, что знакомство не только с ним, но и с другими вилюйцами на Дарасуне доставило нам много удовольствия. Жена Гоца — моя знакомая еще со студенческих времен, а сам Гоц, умный, образованный и полный делового революционного энтузиазма, был приятным собеседником и хорошим товарищем, встрече с которым можно было радоваться.

Пребывание на этом прииске имело для нас еще ту хорошую сторону, что, кроме нас, тут состояли на службе еще несколько товарищей, а именно: П. П. Валуев, вместе с нами приехавший из Читы, и раньше нас вышедшие с Кары на поселение Ив. В. Турович и Юр. Ав. Тархов. Таким образом, мы не были одиноки, и частенько сходились для мирных бесед, в которых нередко принимали участие и хозяева прииска и их служащие. Мои медицинские дела, заведывание несколькими ближайшими приисками, шли благополучно; было даже несколько ответственных хирургических работ, как сложные переломы, поранения от взрыва динамитных патронов и пр., которые также проходили очень успешно, отчасти благодаря помощи опытной сестры милосердия—моей жены. Но все-таки к концу второй приисковой операции, т. е. через два года, мы решили покинуть Илинский прииск и перебраться в Читу,

где к этому времени уже вплотную было приступлено к постройке Забайкальской железной дороги.

Кстати, должен сказать, что все эти перемещения, как и многие в последующее время, совершались беспрепятственно только потому, что постоянным ходатаем перед губернским начальством за нас являлся А. К. Кузнецов. Он был уже старожилом в Забайкалье, уважаемым общественным деятелем и пользовался несомненным влиянием на губернатора. Как человек, кровно связанный с ссылкой и никогда не отрывавшийся от ее интересов, он охотно принимал на себя всякие хлопоты о каждом из нас и легко добивался успеха, умея убедить губернатора то разрешить кому-либо выехать в другое место для заработка, то занять какую-нибудь службу, то освободить от преследования за неразрешенную деятельность, и т. д. И я, в частности, благодаря именно его участию так легко передвигался с места на место в эти последние годы и не мог бы обосноваться в Чите, как это теперь случилось.

Несмотря на то, что А. К. был человеком очень занятым своими делами по музею и отделению Географического общества, что было его жизненным нервом и всецело занимало его ум и душу, а также своей фотографией, что обеспечивало его материально,—несмотря на это, он никогда не пропускал наших общих собраний или вечеров, предназначенных для чтений или бесед. Так, когда были организованы у нас вечерние собеседования для взаимного ознакомления с текущей литературой и пр., мы всегда видели А. К. сидящим за столом и разбирающим и сортирующим камушки — остатки орудий каменного века, которые он приносил каждый раз с собой в небольшом холщевом мешечке. Впоследствии, когда мы были уже в России в 1905 г., первая русская революция очень резко отозвалась и на Чите. Когда взволнованная городская общественность после митинга двинулась толпой к губернатору с требованием вручить ей ключи от областной кассы и отворить ворота тюрьмы, во главе этой толпы шел не кто другой, как А. К. Кузнецов. За то карательная экспедиция Ренненкамфа и обрушилась всей тяжестью на главу этого 60-летнего человака и приговорила его к смертной казни. Только благодаря своей популярности, чистоте своего имени и заступничеству центрального управления Географического общества, не раз награждавшего его дипломами и медалями, А. К. отделался непродолжительной каторгой и ссылкой в Якутскую область.

6. Работа на постройке железной дороги.

По приезде в Читу мы нашли уже многих из своих карийских товарищей, успевших к этому временн выйти на поселение. Тут были уже Сухомлин, Рехневский, вскоре приехали Люри, Преображенский, Чуйко, Старынкевич, Мартыновский и др. Почти все они тотчас же устроились на службе при постройке железной дороги, кто техником, кто письмоводителем, чертежником и даже до десятника включительно. Сколько я знаю, никто не оставался без заработка, благодаря этой постройке, и только М. М. Чернавский не прекращал своей педагогической деятельности. Фриденсон занял высокий пост начальника дистанции. Люри вскоре по приезде заделался инженером по постройке мостов на перевале Яблонового хребта. Но это были специалисты по технике, и занятие ими ответственных постов было вполне понятно. Впрочем, такими же специалистами оказались наши „Ванечки", устроившиеся при службе отчуждения и сразу же завоевавшие здесь по энергии и деловитости прекрасную репутацию. Ведь С. И. Мартыновский был учеником межевого училища и мог без труда свои технические познания передать легко и все воспринимающему И. Ю. Старынкевичу. Скоро оба они и стали ценными сотрудниками своего отдела.

Труднее было устроиться Рехневскому и Гуревичу. Первый занял место техника, второй десятника. Но Рехневский, юрист по образованию, решительно ничего не имел общего с техникой; притом же он был так близорук, что это страшно мешало ему при натуральных съемках площадей и высот, не говоря уже о чертежных работах. Подчас бывало забавно видеть этого чистого интеллигента, мешком сидящего на неоседланной лошади и мчавшегося крупной рысью с одного места съемки к другому, ежесекундно хватающегося за скользящее пенснэ и неумело подергивающего лошадь. Но Рехневский в своей деятельности не ударил лицом в грязь и до конца постройки дороги с честью нес свою службу. Другой— А. С. Гуревич, „Саша-ангел", как мы его звали, присоединился к нам уже тогда, когда все места технического отдела были заняты. Ему могли предложить только место десятника, и то потому, что не нашлось никого в это время в штате участка, кто мог бы заведывать взрывными динамитными работами. Гуревич же, будучи в Акатуе и работая в шахтах, имел некоторое касание к динамиту. Ему предложили эту должность, он

не отказался. Но зато, начав с десятника, он так себя проявил на деле, что через несколько лет, через 3 — 4 года, уже занимал где-то место начальника дистанции, с полным знанием этого дела и полным правом на него.

Кроме технических обязанностей, многие из нас брались за дела канцелярии, письмоводительства и бухгалтерии и всегда оказывались лучшими и добросовестными деятелями. Именно этим последним обстоятельством, этими исключительными качествами их и объяснялось то, что постройка Забайкальской дороги широко открыла двери для приема на службу политических, чего до сих пор не делало ни одно из казенных учреждений. И дорога не обманулась: это видно уже из того, что все перечисленные только-что служащие и многие другие из ссыльных оставались на своих постах не только до конца самой постройки дороги, но не покидали ее до конца отчетности, для чего и были переведены впоследствии в Иркутск, где эта отчетность заканчивалась.

Нельзя не отметить, что эта работа была очень интенсивной, требующей большого напряжения сил, подчас чрезвычайно утомительной, и потому каждый из нас относился к ней со всей серьезностью, с чувством строгой ответственности, принятой на себя. Но эта же интенсивность труда, это здоровое напряжение сил на полезной и, видимо, продуктивной работе действовала очень благотворно на всю нашу братию. Все с головой уходили в интересы своей работы, обсуждали сообща ее детали, делились впечатлениями и неудачами и тем способствовали ее дальнейшим успехам.

По приезде в Читу и я начал искать себе заработка и, конечно, на той же железной дороге. Первое, что мне представилось, это место делопроизводителя при участке. По необходимости пришлось удовольствоваться этим, и я скоро познал всю мудрость делопроизводства настолько, что когда через месяц вздумал перейти на другую службу, я видел в очередной ведомости по жалованью, что оно наполовину мне повышено. Но случилось так, что на месте службы я встретился с врачом участка, Ясенским. Мы разговорились и узнали друг друга, как почти однокурсники, и особенно как товарищи по одной студенческой демонстрации, окончившейся для нас обоих совместным непродолжительным арестом в Московских казармах в Петербурге в 1878 г. Этого было совершенно достаточно для того, чтоб я забросил письмоводительство и перешел на службу в больницу участка в качестве фельдшера. Попытка начальника участка инж. Егорова удержать меня на старом

месте, несмотря на розовые перспективы, развиваемые им, не убедили меня, и я, чувствуя, что соскучился по медицине, перешел на службу к Ясенскому. Последний скоро был назначен старшим врачом всей дороги и тотчас же сделал меня своим счетоводом с совмещением должности старшего фельдшера. Таким образом, мое положение значительно упрочилось на несколько лет, но о моих отношениях с докторами и о своей деятельности кратко сообщу немного позднее.

7. Собеседования.—Марксисты.—Народники.

Все только-что описанное, вся эта интенсивная работа на железной дороге, поглощавшая немало сил и энергии,—все это не мешало течению нашей общей, кружковой жизни. Мы часто собирались на какой-либо квартире, нередко в „зимовье", полной группой нашей колонии и проводили время в беседах или чтениях чего-либо общеинтересного из текущей литературы. Я уже упоминал выше о наших еженедельных вечерах, организованных для общих чтений. Это вызывалось необходимостью ознакомиться с новинками литературы для людей, не имеющих свободного времени для просмотра газет и журналов. Вечера эти устраивались разно. То мы просто сходились в определенный вечер и, просматривая журналы, останавливались на какой-либо всем интересной статье, читали ее громко и затем подвергали легкому обсуждению; то для ознакомления с газетами поручали разным лицам просматривать ежедневно какой-нибудь отдел за неделю и на собрании докладывать результат просмотренного. Получалась еженедельная полная устная газета, которую по отделам докладывали отдельные лица. Один сообщал все интересное по внутренней хронике, другой—иностранное обозрение, третий—передовые статьи и т. д., вплоть до отделов фельетонов. Получался подчас живой и интересный обмен новостей, а часто и мнений по разным вопросам. Иногда публика с жаром набрасывалась и на чисто политические темы, для чего пищу доставляло новое революционное настроение—развивающийся и крепнувший на русской почве марксизм, и большинство из нас не уклонялось от того, чтоб скрестить наши словесные копья, чтоб пустить жало нашего остроумия то против народнических идей, то против марксизма. Но у нас все это шло мирно и гладко, не нарушая наших товарищеских отношений, не возбуждая никогда ни ссор, ни дрязг, как это бывало, по слухам в других ссыльных колониях Сибири.

Выше я говорил, что значительное большинство заключенных карийской тюрьмы были народниками. Это совершенно естественно, если принять во внимание историю Кары и ее населения. Начиная с 1873—77 гг., на Кару отправляли нечаевцев, южных бунтарей, чистых народников-пропагандистов, наконец, народовольцев, и только в 1886 г. туда прибыли „пролетариатцы“ и представители некоторых отдельных процессов. Именно за это последнее время в тюрьму стали проникать идеи чистого марксизма, как отголоски деятельности группы Плеханова (группа „Освобождение Труда“). Ко времени нашего выхода в вольную команду, к 1890 и 1891 годам, среди нас было уже несколько человек, проникшихся этим новым учением и горячо его отстаивающих. Но то было еще время несмелого выступления русских марксистов на защиту их миросозерцания; то было только периодом кружковых собеседований, выработки и укрепления своих убеждений, приобщения к идеям западно-европейских, преимущественно немецких социал-демократов. Об этом я говорил выше; не то теперь.

К 1894—95 гг., и особенно несколько позже, соответственно тому, как русский марксизм пережил все стадии своего развития, сперва сумел выступить на арену легальной литературы, затем из кружкового фазиса перешел постепенно в фазис агитационный и через ряд своих организаций, начиная с „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, „Рабочего Знамени“, „Рабочего Дела“ и „Искры“, достиг, наконец, своего полного роста и зрелости и закончил образованием Р.С.Д.Р. партии,—по мере всего этого и сибирские колонии ссыльных не могли оставаться равнодушными перед лицом совершавшихся фактов. Их состав неизбежно должен был разделиться, так сказать, на два лагеря—народников и социал-демократов.

Такая эволюция марксистов должна была произойти и в нашей колонии, и она шла здесь, если можно так выразиться, по типу развития идей марксизма в России, по типу развития русской социал-демократии. По мере того, как идеи этого нового направления проникали к нам, многие из нас от простого знакомства с немецкой социал-демократией („Neue Zeit“ и др. издания) перешли к чтению русской социал-демократической литературы („Наши разногласия“, „Новое Слово“, „Начало“ и пр.). К тому же времени постепенно стали появляться и сторонники того же направления извне, из России. Первоначально приехала в Читу Ц. С. Гуревич, сестра нашего товарища „Саши-ангела“. Это была последовательная, настойчивая социал-демократка, вполне сформировавшаяся марксистка

обладающая значительной энергией и очень способная пропагандистка. С ее приездом наш старый немногочисленный штаб будущих социал-демократов, с Рехневским во главе, значительно окреп. Вскоре не замедлили появиться и молодые марксисты, отчасти приезжие студенты, проникнутые духом нового учения, воспринявшие его в своих alma mater, отчасти доморощенные, воспитанные под общим революционным влиянием группы ссыльных и легко воспринявшие новые веяния.

Собрания старых ссыльных охотно посещались этой молодежью, и старики с интересом приглядывались к этому новому революционному поколению, желая найти в нем былой энтузиазм и действенность. Все более и более появляющаяся литература способствовавала объединению стариков как между собой, так и с этим новым поколением. С захватывающим вниманием прочитывалась полемика Михайловского и Бельтова и обсуждалась совместно сторониками и противниками новой идеологии; не прекращались споры об экономическом материализме, о значении личности в истории, о классовый борьбе и производственных отношениях, об идеологических „надстройках“ и пр., и решались вопросы о судьбах дальнейшего развития революционного движения.

Необходимо сказать, что эти собеседования и теоретические споры происходили не на каких-либо специальных собраниях, созванных с определенной целью политических дебатов; нет, это были обычные товарищеские вечеринки, сопровождавшиеся и пением, и балагурством, с политическими спорами и беседами в промежутках. Тут каждый выявлял себя по-своему. Вот экспансивный Ванечка Старынкевич, как задорный петух, наскакивал на своего теоретического противника; а вот рассудительный Тадеуш Рехневский обстоятельной речью парировал насмешливые выпады на него остроумного Волошенки или недолго пребывавших у нас О. С. Минора и Л. Я. Штернберга; тут и беспокойный террорист А. А. Спандони-Басманджи, и уже марксиствующий С. И. Мартыновский—все пытаются вставить свое слово и заявить свое мнение в деле решения этих сложных и в то же время насущных вопросов.

Но такое идиллическое настроение скоро должно было притти к концу, прошел год—другой, и в нашей колонии восторжествовали чисто кружковые интересы: оба идеологически разно настроенные лагери—народники и марксисты—должны были обособиться и зажить, по крайней мере в области своих частных интересов, отдельно, друг от друга изолированно. Но и теперь не чувствовалось еще никакой розни в товарище-

ской среде нашей колонии; теоретические разногласия не шли дальше, правда, горячих, споров, но споров, не оставляющих после себя горьких осадков недовольства: ведь почва общей политической солидарности оставалась та же, и общность умственных интересов продолжала связывать еще идеологически уже расходящихся людей. Но настоящего разрыва отношений, полного и резкого разобщения двух групп пока еще не происходило. Оно появилось позднее, на рубеже двух веков, когда меня в Чите уже не было.

Гораздо позднее, еще через год или два, когда я снова довольно часто наездом бывал в Чите, я застал уже значительное расслоение всего состава колонии. Ее социал-демократическая часть обособилась, пережила уже свой кружковой фазис и постепенно переходила в фазис агитационный. Кадры обоих лагерей увеличивались; от идеологических построений, теоретических обосновок марксисты перешли к пропаганде, к организации рабочих кружков, что положило начало будущему „Сибирскому союзу социал-демократов". А народники к тому времени тоже успели объединиться вокруг создавшейся в начале нового столетия партии „социалистов-революционеров", что в свою очередь явилось началом будущего „Сибирского союза социалистов-революционеров".

Чтобы обрисовать кратко ход разделения на два лагеря, как неизбежный результат исторического хода развития русской общественной мысли, хотя в очень малом масштабе нашей колонии, я вынужден был зайти много вперед и уклониться от своей основной темы.

Возвращаясь к последней, остановлюсь пока на эпизоде, связанном с концом моего пребывания в звании поселенца из ссыльно-каторжных.

8. Мещанская управа.—Врачи и отношения с ними.

Не припомню, в какой период моего пребывания в Чите кончились четыре года после выхода моего на поселение. Во всяком случае, когда эти четыре года миновали и мы с Батовым получили право приписаться к какому-либо сословию, мы оба решили, не откладывая дела в долгий ящик, приписаться в мещане г. Читы. Начались хлопоты. Нужно было подать соответствующие заявления в Мещанскую управу и ждать, когда она решит разобрать наши заявления и назначит день нашей баллотировки. Тут мы натолкнулись на недобро-

желательство мещанского старосты. Надо было много раз приходить к нему и просить о представлении нашего заявления управе, и только после довольно крупного разговора с ним, не лишенного некоторой угрозы, удалось, наконец, добиться назначения дня общего собрания мещан и для нашей баллотировки. Надо сказать, что Батогов, живя уже четыре года в Чите, снискал здесь некоторую популярность, как хороший столяр и честный работник. Его знал весь город и все извозчики, являвшиеся главным контингентом мещанства. Меня же хотя кое-кто и знал в городе, но для большинства я был неведомой величиной.

Явившись в помещение управы, мы застали там многолюдное собрание. Среди членов мещанского общества (казалось, что тут собрались все извозчики города) было немало таких же, как мы, новых аспирантов, тоже жаждущих вступления в члены этого „высокого" сословия. Это по преимуществу были окончившие срок поселения уголовные ссыльные, нередко уже оперившиеся, с капитальцем в кармане мелкие лавочники и пр.

Пока управа занималась своими текущими делами, мы с Батоговым приютились в уголке и с интересом ожидали, что будет дальше, так как совершенно не были знакомы с процедурой приема в члены общества Все это тянулось довольно долго: очевидно, у управы накопилось немало дел. Уголовные аспиранты довольно свободно разгуливали по зале и громко переговаривались: они были смелее нас или ближе были знакомы с читинскими мещанами и их управой. Тем временем управа кончила свои дела и приступила к баллотировке новых членов.

Один за другим подходят к старосте жаждущие стать членами мещанского сословия, староста информирует собравшихся о социальном положении аспиранта, о его семейном положении и пр. и предоставляет слово ему самому. Этот кланяется всему собранию, просит о его приеме и, как бы в обеспечение возможных в будущем убытков, обещает внести в кассу общества какую-либо сумму. Собрание просит прибавить что-нибудь к цифре, происходит нечто в роде торга, наконец, дело улаживается, и начинается баллотировка шарами.

Так дефилирует перед собранием много лиц, одних принимают, других забаллотировывают, и причины этих решений остаются для нас совершенно непонятными.

Наступила и наша очередь. Первым вышел Батогов. Староста отметил, что он хорошо известен собранию, что он самостоятельный ремесленник, независимый человек и пр.

Батогов рекомендовался как простой рабочий, живущий собственным трудом, что он не ляжет бременем на общество и что может внести в кассу его рублей 20—25, не больше. Сочувственный гул прошел по собранию:

— Как же! Мы его знаем, это наш человек и пр.,—и Батогов единогласно избирается в члены общества.

Выхожу и я, малоизвестный собранию, на это в своем роде лобное место. Староста находит нужным указать, что я тоже из политических, и что он, староста, имеет особое основание рекомендовать меня собранию; затем он предоставляет слово мне. Я стараюсь охарактеризовать себя, как человека малосемейного, живущего собственным трудом, указываю на свою специальность, полезную для общества вообще, а, быть может, и для мещанского в частности, и что ни сейчас, ни позже ни в каком случае не могу чем-либо обременить общество, если буду принят членом его. Далее я заявил, что, как человек безденежный, я могу сделать сейчас только очень небольшой взнос в кассу общества, но что со временем я, быть может, смогу внести несколько больше.

Новый сочувственный гул собрания и редкие, но твердые выкрики:

— Не в деньгах дело, дело в человеке!

— Хороший человек дороже денег!—и пр.

Следя за баллотировкой глазами, я успел заметить, что только один из членов собрания, тоже извозчик, которого я несколько знал, все же положил мне черняка. Видно, я где-то обидел этого человека, или моя наружность пришлась ему не по душе. Как бы то ни было, я тоже прошел в читинские мещане почти единогласно, при единственном черном шаре.

С этого момента я становлюсь не безличным поселенцем, а членом кое-какого сословия, хотя и опороченным (из ссыльно-каторжан), каковым и оставался вплоть до уничтожения всех сословий.

Тем временем наша читинская компания все увеличивалась. На поселение сюда же выходили новые товарищи: Златопольский, Зунделевич, Спандони, Салова, Яцевич и др.; приезжали поселенцы из других мест Забайкалья: Геккер, Волошенко, Ивановская и т. д. Словом, в сравнительно небольшом городе, каким была тогда Чита, наша колония была заметной величиной, тем больше, что никто из нас не уклонялся от частных знакомств и некоторых связей с другими членами городского общества В частности, у меня завязались знакомства с местными докторами через моего земляка д-ра С. Г. Пономарева,

уже давно заведующего здесь родильным приютом и скоро ставшего солидным гинекологом-акушером, единственным в городе. Другой мой земляк—доктор С. А. Курбатов—был, несомненно, выдающимся, инициативным врачом-хирургом и, как первый, был хорошим товарищем.

С моими железнодорожными врачами Ясенским и Лихтанским, при которых я состоял на положении фельдшера, а потом счетовода, отношения не укладывались в рамки чистого товарищества. Этому, конечно, мешали прежде всего разница нашего социального положения и прямая моя зависимость от них, как от начальства. Тем не менее никаких неприятностей и столкновений у нас не происходило, но нередко улавливалось со стороны Ясенского некоторое недоговоренное недовольство своим фельдшером. Помню, например, такой случай. Кроме нашей больницы для двух смежных участков — 8-го и 9-го,— больницы, которая предназначалась, конечно, не для высших или даже мало-мало высоких чинов, было немало больных и вне ее. К больным служащим или их семьям вызывали обыкновенно доктора. Но доктора неохотно посещали своих больных, и заменять их нередко приходилось мне, особенно у чинов невысокого, среднего ранга. Понятно поэтому, что такие больные иногда и обращались ко мне, минуя доктора.

Вот и случилось однажды, что как раз перед обходом больницы по палатам к ее крыльцу подъехал дышловой выезд одного из начальников дистанции по постройке дороги. Привезенная записка оказалась адресована мне, вопреки ожиданию доктора Ясенского, с приглашением приехать к больному. Я показал записку доктору и получил разрешение отправиться. И получился курьез: доктора без фельдшера совершают обход больных, делают назначения и кое-какие манипуляции в роде перемены повязки и пр., а фельдшер на стороне осматривает больного, к счастью, очень легкого, беседует, даже гостеприимно угощается и пр. Зато по возвращении в больницу я принужден был испытать несовсем доброжелательный взгляд старшего врача и его недовольство, явно сказавшееся в кинутой им фразе:

— Скажите, А. В., почему это обращаются к вам, избегая медицинской помощи?

Впрочем, и этот инцендент, как и многие другие в том же роде, не нарушали наших добрых отношений, тем более, что я в Ясенском ценил его солидные теоретические знания и уменье их проявлять подчас там, где другим приходилось те-

ряться. Но как человек Ясенский мало заслуживал уважения. Это был сибарит высокой марки, эгоист до корня волос, так лелеявший свое благополучие, что не решился даже разделить его с кем-либо ему близким, и потому остался до старости холостяком. Впоследствии он сумел устроиться в какой-то экспедиции, кажется, принца Ольденбургского, объехал всю Европу, жил довольно долго в Индии на чуме и вернулся в Сибирь уже на Манчжурскую железную дорогу.

Другой же наш доктор, Лихтанский, был добродушнейший хохол, не сильно сведущий в медицине, но и не пытающийся становиться на пьедестал, не мнящий о себе, как о значительной величине. Он довольствовался своим обеспеченным положением и очень ценил его. С ним и его красавицей женой, к сожалению, не очень умной и частенько устраивающей мужу семейные сцены, мы были в добрых, хороших отношениях вплоть до конца моей службы на железной дороге.

А случилось это последнее следующим образом. Были мы в хороших отношениях, между прочим, с семьей старого агента отчуждения, юриста А. И. Туманова. Его жена происходила из семьи, когда-то облагодетельствованной семьей моей жены, и потому родные обязали ее непременно познакомиться с нами. У Туманова был помощник, второй агент отчуждения, некто Смирнов. Эти оба юриста, никогда не сталкивавшиеся с техническими работами, получив назначение в Забайкалье, поехали туда вместе. Дорогой они знакомились с делами по отчуждению, перечитывали разные бумаги, нередко касающиеся описания почвы, грунта. Оба приятеля были настолько несведущи в делении грунтов, что пометка на полях читаемой ими бумаги — „лопата“ — повергла их в большое недоумение. Долго бились они над решением вопроса, что же означает эта „лопата“, и только когда какой-то техник указал им, что это означает грунт, снимающийся простой лопатой, они ударили себя по лбу и тут же поклялись, что если они, два приятеля, когда-нибудь повздорят, будет достаточно сказать слово „лопата“, чтобы всякое неудовольствие друг другом немедленно было забыто. Вот эти-то два приятеля, агенты отчуждения, по всем известным мне данным оба прекрасные, честные люди и усердные, добросовестные работники в своей области, проникнутые самыми лучшими намерениями, вдруг поссорились не на живот, а на смерть. Не берусь решать вопрос, где была зарыта собака в этой их ссоре, похожей на ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и кто был из них прав, кто виноват, — только за-

быта была „лопата“, и кто-либо из двух должен был пострадать. Вскоре восторжествовал Туманов, и Смирнов был уволен со службы.

Казалось бы, какое это имело отношение ко мне, а между тем это было поворотным пунктам в моем положении. Дело в том, что доктор Ясенский резко стал на сторону Смирнова по совершенно для меня неизвестным побуждением и категорически порвал отношения с Тумановым.

А когда еще дело не было закончено, он взял на себя обязанность повернуть его в пользу Смирнова. Он надеялся на свое влияние у начальника постройки, инженера Пушечникова. Когда его просьбы у последнего не имели успеха, он пригрозил отставкой от службы. Пушечников, ничто же сумняшеся, эту отставку принял. Тогда, чтоб поддержать доктора Ясенского, большинство врачей всей железной дороги, желая воздействовать на начальника коллективом, также подали прошения об отставке с соответствующими мотивами. Эту же глупость сделал и я. Но не такой дурак был Пушечников, чтоб устрашиться этого беззубого коллективного напора. Он принял все отставки врачей, заявив, что немедленно найдет вдвое больше и не хуже их.

Понятно, что собственная шкура господ врачей была дороже им какого бы то ни было Ясенского, и все они тотчас взяли свои отставки назад с низким поклоном по адресу начальника дороги и его непоколебимой стойкости.

Остались в накладе и вылетели со службы только доктор Ясенскай да я, ни сном ни духом не ожидавший такого нелепого исхода всей затеи, поднятой моим старшим врачом.

Обстоятельство это заставило меня, во-первых, на очень долго оторваться от медицины и, во-вторых, покинуть Забайкалье и перебраться в Амурскую область, в гор. Благовещенск. Случилось это таким образом. Неблагоразумно получив отставку от службы на железной дороге, я уже не мог рассчитывать найти для себя что-либо подходящее в Чите. Поездка на прииска, как несколько лет тому назад, мне уже не улыбалась, выехать куда-либо на запад без определенной цели не было ни денег, ни разрешения. Выручило неожиданное обстоятельство.

В качестве практиканта на нашей постройке был один студент Института путей сообщения, П. А. Маковский, близко познакомившийся и сдружившийся с нами. К нему приехала повидаться с ним его матушка из Благовещенска, жена директора товарищества Амурского пароходства Н. А. Зиновьева.

Вот в этом-то обстоятельстве и заключался корень моего последующего, если можно его так назвать, благополучия. Оба они, сын и мать, решили увезти меня с женой в Благовещенск, устроив там для меня какую-нибудь службу. Они списались быстро с Благовещенском, выхлопотали мне разрешение туда перебраться (было необходимо согласие на это обоих губернаторов—забайкальского и амурского), обеспечили проезд, и в конце 1897 года мы оказались на новом месте.

9. Благовещенск.—Н. А. Зиновьев.—„Амурский Край".—Л. Г. Дейч.

После обширного, дружеского товарищества, с теплым, братским отношением к нам в Чите, на новом месте мы очутились значительно изолированными. Даже в высшей степени сердечное отношение к нам семьи Зиновьева не могло на первых порах скрасить нам этот переход от шумной деятельной читинской жизни к одиночеству в Благовещенске. Правда, здесь уже жила семья Синегубов и часть семьи Бибергаля, с которым мы тотчас же и сошлись; кроме того, вскоре сюда же переехала из Иркутска семья Хлусевичей, еще немного погодя с Сахалина прибыл Э. А. Плосский с женой, а еще через некоторое время перекочевал к нам и Л. Г. Дейч из Сретенска. Так постепенно и здесь образовалась у нас своя компания, хотя и не столь тесная, как в Чите, благодаря тому, что это не были люди, перед тем совместно пережившие долгие годы тюрьмы и сросшиеся друг с другом своими привычками, как там. Все же и здесь образовался тесный кружок, и объединяющим элементом его явилась местная газета „Амурский Край, о чем я скажу несколько слов ниже.

Мое новое начальство, Николай Алексеевич Зиновьев, был человек, на котором стоит остановиться на некоторое время. Капитан гвардейской артиллерии, Николай Алексеевич происходил из аристократического рода Зиновьевых, дворян, кажется, Орловской губернии. Человек неглупый от природы, он получил в свое время хорошее образование в Артеллерийской академии и затем был начальником механической мастерской Патронного завода в С.-Петербурге. Связанный в конце 70-х годов с землевольцами, в частности с Клеменцом, Тихомировым, Иванчиным-Писаревым и др., он в 1878 г. привлекался по делу Гутуевской типографии, а в 1880 и в начале 1881 г. при участии Рогачева, Дегаева и других лиц примкнул к военно-офицерской организации партии „Народная

Воля“, в частности к артиллерийскому центральному кружку. В феврале 1879 г. Зиновьев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость по обвинению в хранении у себя шрифта тайной типографии, взятой на Гутуевском острове, и в принадлежности к преступному сообществу, и был таким образом привлечен по делу 58-ми лиц (дело Ненсберга). Однакоже обвинение Зиновьева в хранении типографии не подтвердилось, по его собственным словам, вот почему. Лица, прикосновенные к сохранявшейся типографии, быть может не без участия и указаний Н. В. Клеточникова, решились на попытку спасти и ящик со шрифтом, и самого Зиновьева. То были еще героические времена смелых, отважных попыток, увенчивавшихся успехом! Результатом было то, что при конечном следствии, уже перед судом, следственная комиссия, чтоб уличить и привести к сознанию Зиновьева, решила при нем же вскрыть инкриминируемую ему типографию. И вот на вопрос, обращенный к нему, что находится в этом ящике, последовал ответ Зиновьева, что в нем, сколько он помнит, лежит железо-лом. Председатель комиссии вызывающе заявил:

— А вот мы посмотрим, какой это лом!— и приказал ящик вскрыть.

Изумление комиссии было неописуемо, когда во вскрытом ящике, заблаговременно опорожненном конспираторами, оказалось только никому ненужное железо!

Не могло состояться никакого суда, военная организация „Народной Воли“ еще не была открыта, новых обвинений против Зиновьева не было, и он был административно сослан лишь в Орловскую губернию уже в 1881 году.

Прожив здесь несколько лет, утратив связи с революционным миром за гибелью большинства своих знакомых, он воспользовался предложением занять место агента пароходства на Амуре, куда и выехал со своей семьей. Администрация понимала, что чем дальше будет он от центров, тем он будет безвреднее, и благосклонно согласилась на его переселение. Первоначально Зиновьев и занял место агента т-ва Амурского пароходства в ст. Сретенской в Забайкалье, а еще через несколько лет он сделался и директором этого же товарищества и поселился в Благовещенске.

Как человек безусловно культурный, очень общительный, достаточно образованный и умный, он был чрезвычайно симпатичен, очень мягок, в то же время очень настойчив в проведении своих намерений. В своем новом положении он скоро завоевал репутацию делового и влиятельного человека и не-

редко оказывал давление в лучшую сторону даже на управление всей областью через губернатора. Прекрасный собеседник, недурной рассказчик, Николай Алексеевич группировал около себя все культурное общество города и, кроме того, умел подбирать себе сотрудников, которые работали у него не за страх, а за совесть.

Конечно, ему нетрудно было добиться у губернатора согласия на мой переезд из Забайкалья в качестве его будущего сослуживца, а самого его в мою пользу подкупала, конечно, некоторая общность его и моей биографии. И я, принятый им не только доброжелательно и ласково, но прямо дружески, скоро стал одним из служащих товарищества, в силу моего собственного выбора, по материальной части. А мои дружеские отношения с этим замечательным человеком, отнюдь не утратившим и своей революционности и своей ненависти к абсолютизму, продолжались и после, вплоть до его смерти.

За три года нашего пребывания в Благовещенске я не могу здесь не отметить двух эпизодов, характерных для нашей общей жизни.

Выше я указал, что объединяющим элементом для нашего кружка служила местная газета „Амурский Край".

Один общий наш знакомый, близко стоявший к нашему кружку и небезызвестный деятель в крае, Г. Ив. Клитчоглу, уже имел разрешение на издание газеты. Но у него не было еще ни типографии, ни редакции. Оборудовать первую помог тоже небезызвестный в крае золотопромышленник, бывший ссыльный 60-х годов, П. Д. Баллод[1], увлекшийся идеей иметь собственную газету, а редакцию должны были составить мы, о чем немедленно и начались переговоры. Однако наметить фактического редактора было не так-то легко. Пригодный для этого человека был А. И. Комов, наш старый кариец, уже редактировавший одно время такую же газету в том же Благовещенске, но приходилось его забраковать в виду слишком усиленной его склонности к алкоголю. Мог бы взять это дело на себя Синегуб, но он не мог бросить службу, так как вся работа в газете предполагалась бесплатной, и ему с семьей нечем было бы существовать. Переговоры тянулись, да торопиться было и нечего, так как типография еще была в пути и даже квартиры редакция еще не имела.

---

[1] О нем см. „Каторга и Ссылка" за 1924 г., № 3.

Однажды в Благовещенск приехал Л. Г. Дейч, живший в это время в Сретенске, где он занимался частными уроками. Сюда он привез своего ученика для поступления в гимназию. Мы, конечно, привлекли и его к нашим беседам о газете, и весь антураж нашей жизни в Благовещенске ему так приглянулся, что через какой-нибудь месяц по возвращении в Сретенск он ликвидировал там все свои дела и неожиданно для всех нас появился в Благовещенске. Это совпало с тем моментом, когда и новая типография уже становилась на ноги.

Хотя Дейч и изъявил свое согласие стоять во главе нашей газеты, но, во-первых, он ставил непременным условием уплату ему жалованья не меньше 250 р., а во-вторых, его способности для предстоящего дела всеми нами ставились под вопрос.

В таком неустойчивом состоянии находились наши дела, пока окончательно устраивалась типография; при отсутствии еще фактического редактора у нас был только один работник, будущий секретарь газеты — С. П. Богданов; на него пока и были возложены все заботы и хлопоты как по найму квартиры и установке машин, так и по найму рабочих.

Шли разговоры о будущем редакторе, но наметить его так и не удавалось, никто из предполагаемых бесплатных сотрудников газеты, очень заинтересованных в успехе предприятия, не мог взять на себя этой обязанности как по недостатку свободного от службы времени, так и по излишней, быть может, скромности. Но вот однажды ко мне пришел Дейч и заявил, что он покончил с Клитчоглу и становится редактором „Амурского Края". Я удивленно спросил его, когда это случилось, почему без участия всей коллегии и какое он назначил себе жалованье. Дейч ответил, что это было дело Клитчоглу, как хозяина всего предприятия, и что выговорил себе или сошелся к Клитчоглу на жалованьи в 250 р. С состоявшимся фактом пришлось примириться. Однако эти 250 р. в месяц ложились на все предприятие, как это будет видно далее, слишком непосильным бременем, по существу не обеспечивая для газеты сколько-нибудь приличного содержания за весь период редактирования ее Дейчем.

Так газета и начала выходить под единоличным руководством Дейча по два раза в неделю. Первые же номера „Амурского Края" были настолько бесцветны, что вызвали справедливую отповедь со стороны „Восточного Обозрения", влиятельного иркутского органа, а потом и других сибирских газет. Кроме того, в течение первого месяца А. И. Комову пришлось уплатить построчной платы 250 р., так как газета была пере-

полнена его заметками; передовых редакторских статей не появлялось вовсе, и наш редактор скоро почувствовал себя через меру утомленным. Все это потребовало какой-то реорганизации, в результате чего было решено конструировать редакторскую коллегию из всех участников, бесплатных писателей, которые собирались еженедельно и составляли номера на неделю. В нее вошел Синегуб с женой, Дейч, Плосский, я, моя жена Анна Павловна, Богданов и по временам Баллод, субсидирующий все издание.

Дело немного поправилось, но газета все-таки хирела, наш сосед — „Амурская Газета“ — пользовалась каждым случаем, чтоб поднять нас насмех, зато „Восточное Обозрение“ помаленьку и главным образом благодаря моему частному письму в редакцию признало нас за своего младшего брата. Все-таки дело подвигалось плохо, ляпсусов в газете было так много, ее бесцветность так била в глаза, что пользоваться каким-нибудь влиянием или успехом она не могла. В конце концов это было признано и редакционной коллегией и самим фактическим редактором, и он вышел в отставку[1].

К этому времени мне жестоко надоела моя служба в Товариществе, я тяготился ею настолько, что решил искать себе что-нибудь более для меня пригодное. Происшедший крах в редакции нашей газеты и поставил меня во главе ее, тем более, что на несколько месяцев я вовсе не нуждался в жалованьи. Я и занял в ней место фактического редактора как-раз незадолго до восстания „Большого Кулака“ — китайцев, ознаменовавшегося вскоре бомбардировкой Благовещинска со стороны Сахаляна, китайской деревни на другом берегу Амура, как раз против Благовещенска. За это время нам пришлось поработать в газете основательно, и мало-по-малу уда-

[1] Это сухое и краткое изложение фактического участия Л. Г. Дейча в нашей газете в 1899 и 1900 гг., проверенное свидетельством других знающих лиц, значительно не сходится с описанием самого Дейча („16 лет в Сибири“, 1924 г., стр. 291, 296, 307 и 308). Это разногласие следует, очевидно, отнести к ошибкам памяти автора, что за давностью времени становится вполне понятным. Однако же то, что товарищи Дейча не предлагали и не просили его взять на себя функции редактора газеты и что со времени ухода его из редакции он больше уже в газете никакого участия не принимал, по крайней мере, вплоть до моего отъезда в январе 1901 г., — остается фактами, не подлежащими сомнению. А так как восстание китайцев и его ликвидация происходили летом 1900 г. и газете приходилось бороться с цензурой именно в это время и по поводу этого восстания, то все ухищрения редакции и ловкие обходы цензуры, о которых писал Дейч, не могли быть делом его рук.

лось поставить ее на кое-какую высоту. Этому помогли наши нередко очень смелые статьи, как-то удачно обманывавшие цензуру. Такова, например, была статья о ненужности для нас Манчжурии, вызвавшая живой интерес и сочувствие местной публики. Затем обнаружение излишних жестокостей в войне с китайцами и особенно систематическое подчеркивание злоупотреблений местной власти по отношению к китайцам, оставшимся в городе, и, наконец, изобличение властей в жестоком потоплении этих китайцев в волнах Амура в количестве многих сотен. Кроме этого, за все время существования газеты в ней велись очень недурные иностранные обзоры, которые составлялись Анной Павловной. Синегуб говорил, например, что за время редактирования газеты Дейчем в ней только и стоило читать одно иностранное обозрение.

При моей работе в газете существенную помощь оказывал Э. А. Плосский. Это был очень умный и притом очень скромный человек, и его перу принадлежало много ценных статей, между прочим и статья о Манчжурии. Впоследствии, уже в 1905 г., он играл заметную, выдающуюся роль в революционном движении в Благовещенске и был вынужден скрыться после разгрома его сперва в Японию, а потом в Западную Европу.

Так дело с нашей газетой и тянулось до тех пор, пока я не получил предложения от Зиновьева взять место агента Товарищества пароходства в Сретенске. Но это было уже в январе 1901 г. А предшествовавшее лето было чревато событиями благодаря упомянутой мною войне „Большого Кулака".

10. „Большой Кулак" и осада Благовещенска.— Усмирение китайцев.

В один прекрасный день, сидя в редакции, мы неожиданно услыхали орудийную пальбу. До тех пор ходили только глухие слухи о восстании китайцев, о сборе их войск в Сахаляне и др. приамурских селениях, и только совсем незадолго до этого появились слухи об обстреле пароходов в Айгуне. Таким образом, услышанная нами бомбардировка была для нас полной неожиданностью. Помню, что я тотчас же поспешил пойти на берег и, выходя на переулок, ведущий прямо на реку, увидал знакомый мне пароход „Гражданин", поворачивающий ход вниз по течению реки, вблизи китайского берега. Со стороны Сахаляна в него сыпались снопы огня при громе пушечных выстрелов. Неустрашимый командир парохода,

осыпаемый огнем, суетливо бегал по рубке, делая соответственные распоряжения в машину. И пока пароход поворачивал, в него было немало выпущено зарядов, но все же он без особо сильных повреждений успел пробраться вниз по реке.

Было ясно, что началось серьезное дело, что китайцы не шутя и основательно угрожают городу. Следует принять во внимание, что Благовещенск, единственный город Амурской области в то время, стоит на степном берегу реки совершенно одиноко, в значительной дали от каких-либо селений. Укрыться населению в случае надобности решительно было бы негде, с запада и севера от города беспредельная степь, с востока — р. Зея и за ней китайские деревни, и с юга — Амур, а за ним вооруженный Сахалян. Если бы китайцам вздумалось и если бы у них хватило смелости высадить десант на наш берег, от Благовещенска не осталось бы живой души. Естественно, что горожане, собравшись в городской думе, решили защищаться сами, тем более, что, как выяснилось тотчас же, единственный гарнизон города незадолго до того был предусмотрительным начальством отправлен в экспедицию против тех же китайцев в далекие от города деревни. Решено было все население, способное носить оружие, мобилизовать, разделить на участки, выбрать соответственных начальников в каждом, окопаться на берегу в ложементах, вооружиться и дежурить денно и нощно, охраняя город и не допуская попыток врага произвести вылазку на наш берег.

Все это организовалось быстро, вдоль всего берега были выкопаны ложементы, и под их прикрытием толпы жителей не спускали глаз с вражеского берега. Наша редакция в полном составе примкнула к обороне, и, так как существенная опасность со стороны китайцев предполагалась главным образом ночью, то все мы в течение дня работали в редакции, по стенам и крыше которой ежеминутно постукивали пули, а по ночам отправлялись на свои посты в ложементы. Китайцы метко стреляли не только из ружей, но частенько бросали в нас и снаряды, разрывающиеся перед нашим носом, а иногда и шрапнели, рвущиеся в воздухе. Были и поранения обывателей, были и смертные случаи. По берегу проходить было опасно, так как по мере нашего быстрого хода за нами следовали ружейные пули, ударяющие в стену домов позади нас. По ночам требовался бдительный надзор за рекой, так как в темноте было бы трудно увидеть приближающуюся вылазку врага. В то же время и ночью были слышны постоянные выстрелы в неведомом направлении и нередко шальные пули делали

свое дело, выбивая из строя защитников города. На рассвете, когда было уже достаточно светло, мы уходили домой, сдавши свои караулы следующей смене.

Не помню сейчас, в какой день осады, в одно туманное утро мы увидали плывущие по реке какие-то бесформенные массы. Поначалу подумалось, не есть ли это одиночные попытки китайцев проникнуть в наш город, и даже некоторые из нас посылали в них ружейные пули. Но это оказались мертвые тела китайцев, утонувших в реке при насильственной их переправе через реку, устроенной нашими властями. Дело в том, что неожиданное для нас нападение китайцев на Благовещенск было столько же неожиданным и для мирных китайцев, постоянно или временно проживающих в городе. Когда началась перестрелка, они попрятались в разных укромных уголках, из которых наша полицейская власть постепенно их извлекала и собирала в каком-то загоне. Когда их собралось очень много, по одним сведениям, до тысячи, по другим — до 5000, их всех препроводили вверх по Амуру в самое ближайшее село и там по распоряжению властей заставили насильно переправляться на противоположный берег. Известно, что китайцы боятся воды, не умеют плавать и, попавши в воду, идут ко дну, как топор. Такая переправа стольких людей была для них равносильна смерти, и все они, насильно втолкнутые в реку, потонули. Этот акт невероятной жестокости, по словам очевидцев, сопровождался раздирающими душу сценами, могущими тронуть самое закоснелое сердце, но власть была неумолима, и вся толпа мирных китайцев, чрезвычайно в общем полезных для города, погибла. Именно их трупы, уже всплывшие на поверхность воды, мы и усматривали в описываемое утро, принимая их то за неопределенные массы, то за китайцев-разведчиков.

И много, много этих мертвых тел проплыло за день-другой перед нашими глазами!

Но китайцы, даже и „Большой Кулак“, в числе которых было немало хунхузов, привыкших к риску, и мингрельцев — лучших китайских стрелков,— были трусливы и недальновидны. Они и ограничивались стрельбой по городу, не осмелившись на вылазку.

Так дело тянулось 19 дней и ночей, пока однажды в темную ночь не поднялась сильнейшая перестрелка, сопровождаемая невероятным грохотом и общей кутерьмой на всем пространстве реки. Это сверху приплыла первая эскадра наших

войск на освобождение города и на усмирение бунтующих китайских мятежников.

От выстрелов русских орудий то и дело загорались постройки Сахаляна; там поднималась видимая издали суета, и постепенно замолкала китайская стрельба.

Ну, а дальше: заканчивалась наша охрана города и сиденье в ложементах, и началось обычное усмирение не наших, чужих бунтовщиков, сопровождавшееся сжиганием китайских деревень, уничтожением имущества мирных китайских граждан и их самих, и не только в пограничных с нами местах, а и далеко в глубь Манчжурии, до городов Цицикара и Мукдена включительно.

Окончилась война, наступила мирная тишина, и продолжалась наша газетная работа с неизбежными стычками с цензурой и с выпадами против властей за их злоупотребления, с обличениями китайского похода Ренненкампфа и пр., и пр.

Так наступила и стала проходить зима, и я начал уже собираться покинуть Благовещенск, а в первых числах января и выехал на новое место своего жительства в ст. Сретенскую в качестве агента пароходства — моя последняя служебная деятельность в Сибири.

11. Сретенск. — Обыватели и чиновники. — Красный Крест. — Барон Будберг. — Трепов. — Отъезд из Сибири.

Здесь, в Сретенске, я прожил ровно 4 года, занимаясь своими служебными делами, отнимавшими у меня много забот и времени, и поддерживая связи с товарищами в Чите и в Благовещенске. Но эти четыре года нашей жизни, в значительной мере поглощенной служебными делами, мне нечем отметить в смысле общей характеристики жизни политических ссыльных. Впрочем, несколько штрихов всплывают в моей памяти, небезынтересных с этой же точки зрения, и я постараюсь их кратко отметить.

Материально наша жизнь была обставлена великолепно. Ведь я являлся представителем большого коммерческого предприятия и в небольшой станице вынужден был быть на виду. Со всей знатью местечка, начиная с купцов и кончая чиновничеством, мне приходилось быть или в деловых или в обывательских отношениях. С докторами у меня быстро по старым связям завязались не только отношения, но и близкие связи. Этому помогли мои бывшие пациенты, оказавшиеся

здесь на солидных ответственных постах. Например, агент другого „Нового“ товарищества амурского пароходства, конкурирующего с нашим, некогда на прииске Жарча был моим пациентом и, очевидно, не мог не говорить об этом.

Словом, связи с местным врачебным миром установились у меня быстро, и начавшиеся при мне собрания врачей, быть может, зачатки будущего врачебного общества, не обходились без моего участия. Дело дошло даже до того, что при одном недоразумении, возникшем между двумя старыми врачами, из которых один был доктором медицины, а другой давним старшим врачом (оба военные), обеими сторонами я был выбран непременным членом их третейского суда.

Знакомство с мировым судьей даже было не бесполезно. Так, например, приблизительно через полгода моего пребывания в Сретенске мировой судья позвал меня к себе и в мирной беседе спросил, между прочим, где я предпочел бы вместе с женой отбыть причитающееся для нас недельное заключение якобы за самовольную отлучку. Оказалось, что мы действительно как-будто зазнались и забыли о нашей поднадзорности: мы выехали из Благовещенска, совершенно утратив представление о том, что всякое наше передвижение должно было сопровождаться должным разрешением полицейской власти. И благовещенская полиция предала нас мировому суду по месту нашего нового жительства за самовольную отлучку.

Мировой судья, по его словам, готов был бы как-нибудь обойтись без наложения на нас этого наказания, но не видит другого исхода и спрашивает, где бы нам было лучше „отсидеть“, здесь ли, в Сретенске, что может вызвать только некоторую сенсацию в обществе, или в Нерчинске.

Я же попробовал указать ему, что в данном случае можно было бы обойтись только штрафом, и привел ему в доказательство следующий факт. Как мне доподлинно было известно, в Минусинске был административно-ссыльный, некто Лаппо, который затем там же был и мировым судьей. Ему часто приходилось судить нашего брата за самовольные отлучки, и он всегда их кончал вопросом: „Какое вы получаете пособие и сколько времени были в отлучке?“ — и оштрафовывал отлучавшегося на ту сумму, какая причиталась на время отлучки из его месячного пособия.

— Если б это было возможно! — говорит мой судья и берет устав мирового суда, вглядывается в него и с удовлетворением восклицает: — Правда! Можно! Так я вас оштрафую на

5 рублей и закончу все дело; вы можете и не приходить по повестке.

Тем дело и кончилось на этот раз. Но за четыре года пребывания в Сретенске мне несколько раз приходилось выезжать и в Читу и в Иркутск, и каждый раз это вызывало один и тот же результат. Полиция дознавалась о моей отлучке, передавала дело мировому судье, тот спрашивал меня, буду ли я отрицать таковую, и на мой отрицательный ответ ограничивался штрафом в 5 рублей. Только один судья по новости для него дела и по незнакомству (он только-что приехал в Сретенск) оштрафовал меня на 50 рублей, чем вызвал протест со стороны всех сретенцев. Я это решение опротестовал, дело перешло в нерчинский суд, который и уменьшил штраф опять до 5 рублей. Но эти 5 рублей так мне и не пришлось уплатить, ибо за волокитой судебных дел я успел выехать из Сретенска.

Оригинальные отношения установились у меня с местным частным приставом. Ему всячески хотелось дать мне почувствовать его власть, но, с одной стороны, не к чему было придраться, а с другой — он побаивался связываться со мной в виду моего служебного положения и явного расположения ко мне всего общества. Однакоже он несколько раз пытался вызвать меня к себе повестками в участок, но я на них не обращал внимания, и он эти попытки оставил.

Случился однажды какой-то воинский праздник, куда был приглашен официально и я. Там я встретил этого пристава впервые, да и он лично видел меня в первый раз. Мы сошлись с ним случайно у буфета. Так как я был не один и мы пили по рюмке водки за здоровье друг друга, то и он присоединился к нам и спросил мою фамилию. Когда я назвал себя, пристав экспансивно воскликнул: „Так это вы тот Прибылев, который так много испортил мне крови!“

Общий хохот покрыл его восклицание, что тоже, очевидно, не было ему приятно.

Однакож, раз ему удалось устроить мне какую-то пакость. Не помню уже сейчас, в чем она заключалась, но было что-то с его стороны явно недобросовестное, чисто полицейское. И вот при моем посещении одного очень богатого местного купца, во время нашей беседы является пристав, здоровается со всеми и любезно подает руку мне. Я заявил ему, что человеку, явно меня преследующему и любезному только в частном доме, я руки не подаю. Пристав немного сконфузился, сконфузились и мои хозяева, но я выдер-

жал позицию, отвернулся от пристава и продолжал деловую беседу. И этот случай не остался в местечке неизвестным и комментировался в публике на разные лады.

Трудно удержаться от указания здесь еще на два эпизода, связанные с моим пребыванием в Сретенске. В 1904 г. началась трагическая война с Японией. Наша станица была не очень далека от театров военных действий, и все частные и казенные учреждения должны были неизбежно соприкасаться с войной и с военными нуждами. Так, бывший переселенческий пункт был превращен отчасти в госпиталь, отчасти в средоточие военно-санитарных запасов, а его заведующий— в чиновника военного ведомства. Так и наше пароходство было занято исключительно военными перевозками людей, оружия и других военных припасов.

Однажды бывший заведующий переселенческим пунктом в случайной беседе со мной выразил недоумение, каким образом приступить к созданию в нашем Сретенске отделения Красного Креста, на что он получил распоряжение от своего начальства. Не думая долго, я посоветовал ему пригласить несколько именитых граждан, создать из них нечто в роде комитета и предоставить ему всю дальнейшую организацию Красного Креста. Мой совет упал на благодарную почву, и не прошло двух дней, как я оказался одним из этих именитых граждан и получил приглашение на собрание такого комитета. В конце концов дело кончилось тем, что я же и был выбран в президиум этого местного отделения Красного Креста, вместе с женой одного доктора и молодым, интеллигентным сыном купца. Это вызвало остроту со стороны обывателей: „Выбрали в Красный Крест одного православного, да и тот не настоящий, а только „право славный!“ Двое других были евреи.

В другой раз, придя домой из своей конторы, я неожиданно увидел мою жену оживленно беседующей по-немецки с каким-то человеком. Он оказался профессором акушерства Варшавского университета бароном Будбергом, командированным в Сретенск для оборудования пловучих госпиталей для раненых из двух или трех казенных железных барж. Баржи эти были арендованы нашим товариществом и потому находились в моем распоряжении. Вот почему барон Будберг прежде всего направился к нам. Моя помощь ограничилась немногим: в виду крайней неосведомленности профессора акушерства с техническими вопросами, а также с местными условиями найма рабочих и приобретения материалов, мне

пришлось быть его руководителем и советником в этой области, и только. Но и это было оценено Будбергом в такой мере, что при встрече с заведующим тыловым Красным Крестом (кажется, это был один из нескольких генералов Треповых) он вынужден был указать, что без моей помощи вряд ли он смог бы что-нибудь сделать. Это вызвало будто бы между ними сожаление, что они не в состоянии чем-либо меня отблагодарить (не материально, конечно); они могли бы хлопотать о сокращении моей ссылки, напр., но оказывается, что и без того я был почти накануне возвращения в Россию. Дело и кончилось лишь выражением благодарности на словах со стороны генерала Трепова.

Все это, конечно, сущие пустяки и показывает только, что жизнь в Сретенске, за исключением ее деловой стороны, была достаточно бессодержательна, лишена какой-либо идейной подкладки и потому мало привлекательна. Только более или менее частые поездки в Читу и Иркутск, встречи там со старыми товарищами встряхивали нас и давали возможность вновь чувствовать себя тем, чем сделала нас вся наша предшествовавшая жизнь. Иногда и к нам приезжали кое-кто из товарищей повидаться с нами, побеседовать и поделиться теми или иными новостями, интересующими всю нашу компанию. Только эти случаи, редкие приезды гостей и не менее редкие поездки в Читу и Иркутск разнообразили жизнь и окрыляли на будущее.

А о будущем уже пора была позаботиться, ибо к концу четвертого года жизни здесь подходил и конец моего обязательного пребывания в Сибири, т. е. тех 14 лет, которые я должен был пробыть на поселении по окончании каторги. К сожалению, этот срок не истек еще для моей жены, ей оставался еще целый год обязательной жизни в Сибири. Меня не остановило и это обстоятельство, и я решил ликвидировать сибирскую жизнь.

Несмотря на то, что за двадцать с лишним лет мы не только успели свыкнуться с Сибирью, не только хорошо познали лучшие качества сибирского обывателя, всегда проявлявшего к нам самое благожелательное отношение, мы успели полюбить эту страну, ставшую для каждого из нас второй родиной. Мы узнали, что в суровом, часто трудно переносимом климате этой страны было можно отогреться душой и телом. Помимо близких товарищей, проведших с нами долгие годы в тюремных застенках, мы встретили здесь открытые сердца сибиряков-обывателей, душевно нам сочувствующих и всегда нас понимающих; а яркое солнце, всегда светящее с небосклона

Забайкалья, обливало нас такими теплыми, радостными лучами, что смягчались и естественная тоска по родине, и суровость зимних морозов. Мы знали, кроме того, что все тяжелое, все злое, что выпадало нам на долю в эти долгие годы, исходило не от Сибири, а имело своей исходной точкой далекий центр, всегда обусловливалось предписанием свыше, издалека...

И все же... нас тянуло скорее вырваться на волю, хотелось встретиться с близкими нам людьми, от которых мы уже были оторваны четверть века, и главное хотелось окунуться в нарастающее новое настроение в России. Это был конец 1904 года. Для нас не было тайной, что революционные партии, предвидя конец тягостной реакции, поднимают голову, что действует уже новое революционное направление, по своей идеологии и тактике близкое к заветам безвременно погибшей „Народной Воли“, что кое-кто из нас уже не выдержал и, не выждав срока, покинул границы Сибири, чтоб своими старыми костями принять участие в готовой вспыхнуть борьбе. Наконец, почти на наших глазах развертывающаяся война с Японией не обещала ничего хорошего доживающему свой век русскому абсолютизму, и нам могло казаться, что начинают пошатываться ступени трона нашего самодержавия.

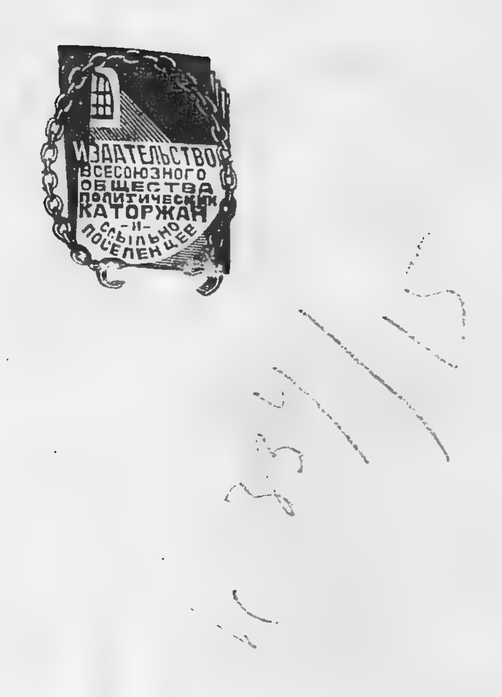
Становилось стыдно оставаться в полном бездействии в такое время... И мы решили покинуть Сибирь.

Закончить свое служебное поприще не представляло большой трудности. Откровенное объяснение с Зиновьевым, знакомым с моим настроением и даже поддерживающим его, помогло мне быстро отделаться от своих обязанностей. Оставалось выждать приезда моего заместителя, который явился с первым же пароходом, и, сдавши ему все дела, я выехал в Читу. Почти на целый год оставив здесь свою семью под защитой еще немногих оставшихся здесь товарищей, я быстро свернулся и уехал в Россию.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 2 р. 60 к.



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1) Правлению Издательства политкаторжан—Москва ГСП-10. Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.

2) Магазину Издательства политкаторжан „МАЯК"— Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.

